

МАЙЯ ЛУНДЕ

История Пчел

РОМАН

Annotation

Роман норвежки Майи Лунде — антиутопия, скрещенная с семейной сагой. 1852-й год, Англия. Любитель-естествоиспытатель Уильям Сэведж, отягощенный большой семьей и денежными затруднениями, впадает в депрессию, потому что отказался от мечты своей юности — занятий наукой. Вынырнув из душевной трясины, он решает изобрести новый улей, который прославит его имя и даст достаток его семье. 2007-й год, Америка. Потомственный пасечник Джордж Сэведж мечтает, что его дело продолжит сын, но у того другие планы. В конфликт сына и отца неожиданно вмешивается совсем иная трагедия, куда большего масштаба, чем семейный раздор. 2098-й, Китай. Тао опыляет фруктовые деревья. Пчелы давно исчезли с лица планеты, как и прочие насекомые. Землю накрыл голод. Роль опылителей исполняют бесчисленные тысячи людей, заменившие пчел. Предсказуемую жизнь Тао и ее семьи взрывает несчастье, за которым стоит какая-то тайна. «История пчел» — роман о необратимых изменениях, что человек вносит в окружающий мир. Но не менее важная тема — отношения родителей и детей, связь людей на микроуровне. Что движет человеком в его стремлении изменить мир? Ответ прост: забота о детях. Мы подобны пчелам, что собирают пыльцу исключительно для потомства. Вот только люди, в отличие от пчел, разобщены и не могут ограничивать себя. И возможно, однажды наши стремления к лучшему окажутся фатальными. Роман Майи Лунде о месте человека в мироздании и хрупкости баланса нашей цивилизации — одна из самых ярких книг в норвежской литературе, собравшая множество премий.

- [Майя Лунде](#)
 -
 -
 - [Тао](#)
 - [Уильям](#)
 - [Джордж](#)
 - [Тао](#)
 - [Уильям](#)
 - [Джордж](#)
 - [Тао](#)
 - [Уильям](#)

- [Джордж](#)
- [Тао](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Уильям](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Джордж](#)
- [Тао](#)
- [Уильям](#)
- [Джордж](#)
- [Уильям](#)
- [Тао](#)
- [Уильям](#)
- [Джордж](#)

- [Тао](#)
 - [Уильям](#)
 - [Тао](#)
 - [Джордж](#)
 - [Уильям](#)
 - [Джордж](#)
 - [Тао](#)
 - [Уильям](#)
 - [Джордж](#)
 - [Тао](#)
 - [Джордж](#)
 - [Тао](#)
 - [Джордж](#)
 - [Тао](#)
 - [Уильям](#)
 - [Джордж](#)
 - [Тао](#)
 - [Благодарности](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Майя Лунде

История пчел

УДК 821.111

ББК 84.(4)

Maja Lunde

Bienes historie

Впервые опубликовано Н. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS в 2015 году по договоренности с Oslo Literary Agency

Перевод этой книги опубликован при финансовой поддержке NORLA
Публикация на русском языке осуществлена при содействии Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency

© Maja Lunde

© Анастасия Наумова, перевод, 2018

© Андрей Бондаренко, оформление обложки, макет, 2018

© «Фантом Пресс», издание, 2018

* * *

Посвящается Йесперу, Йенсу и Линусу

Тао

ОКРУГ 242,

ШИРОНГ, ПРОВИНЦИЯ СЫЧУАНЬ,

2098 ГОД

Подобно птицам-переросткам, мы топтались на ветке, сжимая в одной руке пластмассовую миску, а в другой — кисточку из перьев. Медленно, со всей осторожностью, я перебралась на следующую ветку, чуть выше. К этой работе мне, в отличие от моих подруг, никак не удавалось приспособиться: чересчур неуклюжая, я не обладала ни четкостью движений, ни ловкостью, ни усердием. Природа создала мое тело не для этого, однако именно здесь я проводила по двенадцать часов ежедневно.

Возраст деревьев примерно соответствовал возрасту человека, ветви были хрупкими, словно тонкое стекло, и похрустывали под нами. Чтобы не повредить дерево, двигаться приходилось осторожно. Я поставила правую ногу на ветку повыше, а потом медленно подтянула следом и левую. Наконец-то я отыскала удачное место, пусть неудобное, зато отсюда не упадешь и можно дотянуться до самых верхних цветов.

Маленькая пластмассовая миска у меня в руке была полна легкой, почти невесомой пыльцы. Ее тщательно взвешивали и выдавали нам по утрам, перед началом работы — ровно столько, сколько уходило за один день. Я опускала кисточку в миску и переносила невидимые частицы пыльцы на соцветия. К каждому цветку нужно было притронуться крохотной кисточкой из перьев — их ощипали с кур, которых вывели специально для этих целей. Как оказалось, кисточки из искусственных волокон опыляют намного хуже. А экспериментов проводилось множество, ведь у нас в запасе имелось достаточно времени. В моем округе эта традиция зародилась более ста лет назад. Пчелы здесь исчезли еще в 1980-х, задолго до Коллапса. Их уничтожили химикаты. Спустя несколько лет после того, как мы перестали использовать химикаты, пчелы вернулись, но к тому моменту мы уже научились опылять вручную, причем и результаты были намного лучше, хотя рабочих рук требовалось невероятно много. А

потом, когда мир пережил Коллапс, мы оказались в выигрыше. Мы меньше других заботились об экологии, но это лишь сыграло нам на руку. По уровню загрязнения мы опережали всех, а теперь оказались лучшими в навыках искусственного опыления. Невероятно, но наша небрежность спасла нас.

Как я ни тянулась вверх, а один цветок все равно не достала. Я уже решила бросить это дело, но испугалась, что меня накажут, поэтому попыталась еще раз. Нас штрафовали, когда пыльца в миске заканчивалась чересчур быстро. И если мы не могли израсходовать всю выданную нам пыльцу, нас тоже штрафовали. Результатов нашей работы все равно никто не мог оценить. Когда мы в конце дня слезали с деревьев, то красным мелом рисовали на стволе крестик, и таких крестиков должно было быть не менее сорока. Других результатов никто не видел до осени — тогда по веткам, которые клонились вниз под тяжестью плодов, становилось ясно, кто из нас поработал как следует. Вот только к тому времени мы уже забывали, кто какие деревья опылял.

Сегодня я работала на Участке 748. Сколько их всего? Не знаю. Моя группа была одной из сотен. Одетые в бежевые рабочие костюмы, мы представляли собой отдельный биологический вид, как и деревья, которые опыляли. И, подобно цветкам в соцветии, всегда находились рядом друг с другом. Никогда по отдельности, вечно вместе — здесь, на ветках или внизу, когда брели с одного участка на другой. Только оказавшись дома, в наших собственных тесных квартирках, мы на несколько часов становились собой. Основная жизнь проходила здесь, среди деревьев.

Вокруг было тихо. Разговаривать во время работы запрещалось. Тишину нарушало лишь шарканье ног и негромкое покашливание. Еще иногда кто-то зевал или цеплялся одеждой за сучок. А порой раздавался звук, который мы все ненавидели, — треск ветки. А в худшем случае ветка ломалась. А это означало меньше фруктов и еще один повод вычесть у нас из зарплаты. Впрочем, обычно до нас доносился только ветер — он шелестел листвой, касался цветов на деревьях, приглаживал траву на земле.

Ветер дул с юга, со стороны леса. По сравнению с цветущими деревьями лес казался темным и угрюмым, но через несколько недель и он превратится в яркую зеленую полосу. Туда нас никогда не посылали — работы там не было. Впрочем, недавно поползли слухи, что вскоре лес вырубят, а пустошь засадят фруктовыми деревьями.

Рядом зажужжала муха — она прилетела откуда-то с той стороны. Настоящая редкость. Я уже несколько дней не видела ни одной птицы — их количество заметно сократилось. Они охотились на насекомых, но тех

осталось совсем мало, и птицы, как и весь мир, голодали.

Вскоре тишину разорвала пронзительная мелодия. Флейта. Так нам сообщали, что пора сделать второй — и последний — перерыв. Я тотчас же почувствовала, что во рту совсем пересохло.

Мы спустились с деревьев, словно осев единой неделимой массой на землю. Женщины, зная, что теперь их не накажут, сразу принялись переговариваться, и воздух наполнился гулом голосов.

Я слезла с дерева молча, стараясь не сломать ни одной ветки. И у меня получилось. Просто повезло. Нескладная и неуклюжая, я проработала уже достаточно, чтобы понять, что по-настоящему хорошим опылителем мне никогда не стать.

Под деревом стояла поцарапанная металлическая фляжка. Я поднесла ее к губам и принялась жадно глотать воду. Вода была теплая, с привкусом алюминия, и я поставила фляжку на землю, так толком и не утолив жажду.

Двое парнишек из Пищевого блока раздавали коробочки с едой — второй раз за день. Я села, привалившись к стволу дерева, и открыла коробку. Сегодня в ней был рис вперемешку с кукурузой. Я отправила в рот несколько рисинок. Как обычно, пересоленный, а еще в нем ароматизаторы со вкусом сои и чили. Мяса я уже давно не ела. Кормовые культуры можно выращивать только на хорошо обработанной земле и на больших территориях. И многие виды кормовых культур необходимо опылять. А кто согласился бы на такой изнуряющий труд ради скота?

Коробочка опустела, но сытости я не чувствовала. Я встала, положила коробочку в контейнер и побежала обратно. От неподвижности ноги быстро уставали и затекали. Кожу точно кололи тысячи иголочек, и я попыталась размяться.

Но безуспешно. Я быстро огляделась. Никто из начальства не обращал на меня ни малейшего внимания. Я улеглась на землю — старалась успокоить ноющую спину.

Закрыла на миг глаза, силясь заглушить в голове слова, которыми перебрасывались женщины вокруг, и прислушиваясь лишь к интонации. Странное желание болтать целой толпой — откуда оно взялось? Женщины приобретают эту склонность еще в детстве. Они сбиваются в кучки и по несколько часов подряд обсуждают какие-то пустяки, а что-нибудь серьезное — никогда. Возможно, лишь в тех случаях, когда они перебивают косточки тому, кого в этот момент среди них нет.

Сама я больше любила беседовать с кем-то одним. Или вообще ограничивалась собственным обществом. На работе я часто предпочитала последнее. А дома у меня был Куань, мой муж. Впрочем, мы любили друг в

друге вовсе не способность вести долгие беседы. Куань не стремился докопаться до сути, он говорил лишь о том, что видел, и был не мастер пофилософствовать. Но, прижимаясь к нему, я ощущала покой. И у нас был Вей-Вень, наш трехлетний малыш. *О нем* мы любили поговорить.

Когда я, убаюканная болтовней, задремала, женщины вдруг замолчали. Наступила тишина.

Я резко встала. Все остальные смотрели на дорогу. Детям было лет восемь, не больше, и некоторых я узнала — они ходили в ту же школу, что и Вей-Вень. На всех была одинаковая рабочая одежда, такие же бежевые синтетические комбинезоны, как у нас. И дети направлялись к нам, настолько быстро, насколько позволяли их короткие ножки. Они шли в связке, управляемой двумя взрослыми. Один шагал спереди, другой сзади. И оба громко давали детям указания. Нет, они не ругались, в их голосах звучали сочувствие и нежность, ведь если дети еще не осознали, что ждет их в конце пути, то уж взрослым это было отлично известно.

Дети держались за руки, но по парам их явно не расставляли: высокие шли рядом с низенькими, а пухлые — рядом с худышками. Шагали они не в ногу, за руки держались крепко, как приклеенные. Возможно, им строго-настрого запретили выпускать руку напарника.

Они во все глаза смотрели на нас и на деревья. Их распирало любопытство. Некоторые наклоняли головы вбок и прищуривались. Дети будто оказались здесь впервые, хотя на самом деле все они выросли тут и знали лишь этот пейзаж — уходящие вдаль ряды фруктовых деревьев, на которые с юга наступает тень дремучего леса. Одна низенькая девочка долго не сводила с меня взгляда. Глаза у нее были большие и близко посаженные. Она несколько раз моргнула, а потом громко чихнула. За руку она держала худенького мальчика. Тот широко зевнул, ничуть не смущаясь, не прикрывая рукой рта и не зная, что его лицо на миг превратилось в один огромный зевок. Он зевал не от скуки — до этого он еще не дорос, а от усталости, вызванной недоеданием. Другая девочка, высокая и тощая, шла в паре с низкорослым мальчиком. Нос у того был заложен, поэтому он шел, приоткрыв беззубый рот. Девочка тащила его за собой, а сама шагала, подставив лицо солнцу. Она щурилась и морщилась, но не отворачивалась — должно быть, хотела загореть или набраться сил.

Новые дети. Они приходили каждую весну. Неужели они и прежде были такими маленькими? Или эти дети просто младше?

Нет. Им было по восемь лет. Как всегда. Школа окончена. Впрочем, назвать это школой... Хотя цифры они знали, и некоторые буквы тоже, но в остальном школьные годы были временем созревания. Созревания и

подготовки к жизни среди деревьев. Дети учились долго неподвижно сидеть. «Сиди спокойно. Не двигайся. Вот так, да». И отрабатывали мелкую моторику. С трехлетнего возраста они плели ковры. Их маленькие пальчики прекрасно подходили для создания сложных узоров. И вот они доросли до работы здесь.

Дети прошли мимо, направляясь дальше, к следующему участку. Беззубый мальчик споткнулся, но высокая девочка крепко держала его и не дала упасть. Дети скрылись за деревьями.

— Куда они идут? — спросила одна женщина из моей группы.

— Наверное, на сорок девятый или пятидесятый, — ответила другая. — Там еще никто не начинал.

Внутри у меня все сжалось. Какая разница, на какой участок их ведут? Главное — что именно они будут...

Тишину разорвал звук флейты, и мы побрели к деревьям. Я лезла медленно и осторожно, а сердце сильно колотилось. Пусть даже этим детям по-прежнему восемь... Вей-Вень. Через пять лет ему тоже исполнится восемь. Всего пять лет — и настанет его черед. Здесь рабочие руки ценились дороже, чем где-то еще. Его маленькие пальцы уже подготовлены для такой работы.

Восьмилетки — и уже здесь, на деревьях. День за днем, такие маленькие. У них даже детства не будет, в отличие от меня и моих ровесников. Мы ходили в школу до пятнадцати лет.

Не-жизнь.

Руки дрожали. Я подняла пластиковую миску с драгоценной пылью. Нам всем надо трудиться, чтобы еды хватило на всех, — так нам говорили. Мы должны сами вырастить себе еду. И работать обязаны все, даже дети. Кому нужно образование, если зернохранилища опустеют? Если порции выдаваемой еды с каждым месяцем уменьшаются? Если мы по вечерам будем засыпать голодными?

Я повернулась и потянулась к цветам позади меня, но на этот раз поторопилась и наткнулась на ветку, которую не заметила. Потеряв равновесие, я тяжело навалилась на нее.

И услышала его — ужасный звук, который все мы со временем стали ненавидеть. Треск ломающейся ветки.

Ко мне тут же подошла начальница смены. Она посмотрела вверх, на дерево, оценивая ущерб, но ничего не сказала, а лишь быстро записала что-то в блокноте и вновь ушла.

Ветка была короткой и чахлой, и тем не менее я знала, что со сбережениями за этот месяц придется попрощаться. Я ничего не положу в

копилку на кухне, куда мы старались откладывать каждый сэкономленный юань.

Я вздохнула. Нельзя думать об этом. Надо работать. Поднимать руку, окунать кисточку в пыльцу, аккуратно подносить ее к цветам и осыпать их пыльцой. Как пчела.

Я старалась не смотреть на часы. Знала, что это не поможет. Я просто помнила, что с каждым цветком, по которому я провожу кисточкой, вечер становится ближе. И приближается час, который я проведу с моим малышом. Один час в день — это все, что у меня есть, но, возможно, за этот час мне удастся что-то изменить. Посеять зерно, и впоследствии оно даст ему возможности, которых сама я была лишена.

Уильям

МЭРИВИЛЬ, ХЕРФОРДШИР, АНГЛИЯ, 1852

Все вокруг было желтым, бескрайняя желтизна — надо мною, подо мною и вокруг меня — она ослепляла. Но этот желтый цвет был настоящим, он существовал не только в моей голове, им сияли плотные парчовые обои, которыми моя жена Тильда отделала стены, когда мы только переехали. В те времена здесь было просторнее. Мой маленький магазинчик на главной улице Мервиля, торговавший семенами, процветал. Меня переполнял энтузиазм, и я все еще верил, что мне удастся совмещать торговлю с занятием, которое для меня действительно много значило, — исследованиями в области естественных наук. Впрочем, это было давно — задолго до рождения наших дочерей и до последнего, окончательного разговора с профессором Рахмом.

Знай я тогда, какие мучения будут доставлять мне эти обои, я бы никогда не согласился на них. Желтый цвет преследовал меня, не покидая, даже когда я закрывал глаза. Пробирался в мои сны и не отпускал, будто он и был болезнью. Мой недуг не получил диагноза, но названий у него имелось множество: пессимизм, печаль, меланхолия, пусть вокруг никто и не осмеливался произнести вслух ни одного из них. Наш семейный врач делал вид, будто не понимает, и пускался в длинные объяснения, жонглируя научными терминами. Он разглагольствовал о дискразии, неправильном распределении жидкостей в моем теле и избытке черной желчи. В самом начале болезни он прибег к кровопусканию, а потом прописал мне слабительное, превращавшее меня в беспомощного ребенка, однако теперь я надоел даже доктору. По всей видимости, он считал лечение пустой тратой времени, и когда Тильда поднимала эту тему, доктор лишь качал головой, а если она не сдавалась, он принимался что-то быстро шептать ей в ответ. Порой я даже различал обрывки фраз. «Слишком слаб... не выдержит... улучшений нет». В последнее время он приходил все реже — возможно, оттого, что я оставался прикованным к кровати.

Близился вечер, дом жил — там, на первом этаже, подо мною. Из комнат девочек звуки сквозь пол и стены просачивались в мою спальню. Я разобрал голос двенадцатилетней, не по годам сообразительной Доротеи. Она читала вслух Библию, одновременно отрывисто и немного нараспев,

однако по дороге слова застревали где-то на полпути, так что слово Божье не могло пробиться ко мне. Чтение прервал вдруг звонкий голосок малышки Джорджианы, и Тильда сердито шикнула на нее. Вскоре Доротея умолкла и ее сменили другие девочки. Марта, Оливия, Элизабет, Кэролайн. Кто из них кто? Отличить их друг от дружки по голосу я был не в силах.

Одна из них рассмеялась, и ее смех откликнулся у меня в голове смехом профессора Рахма, раз и навсегда положившим конец нашей беседе. Словно удар плетью по спине.

А потом раздался голос Эдмунда. Звучал он учтиво, глубже, чем прежде, совсем по-взрослому. Эдмунду исполнилось шестнадцать. Мой старший и единственный сын. Я ухватился за отзвуки его голоса, силясь разобрать слова. Если бы только он навестил меня! Возможно, его присутствие взбодрило бы меня, придало сил и помогло выбраться из постели. Но он никогда не приходил, и я не знал почему.

На кухне загремели кастрюлями. Кухонные звуки пробудили к жизни желудок. Его вдруг свело, и я скрючился, подтянув колени к животу.

Я огляделся. На тумбочке возле кровати увидел тарелку с нетронутым ломтиком хлеба и высохшим кусочком ветчины. Рядом стоял наполовину пустой стакан воды. Когда я в последний раз ел? И когда пил?

Привстав, я схватил стакан. Жидкость наполнила рот и потекла в горло, смывая привкус старости. Соленая ветчина слегка разъедала язык, потемневший хлеб был жестким, но желудок, слава Господу, не отверг эту пищу. Тем не менее я не находил себе места, спина обратилась в одну гигантскую мозоль, а кожа на ляжках совсем истончилась от долгого лежания.

Ногам больше не хотелось неподвижности.

Внезапно все звуки смолкли. Куда все делись? Ушли? Я слышал лишь тихое шипение угля в камине.

А затем они вдруг запели. Из сада доносились их чистые голоса:

*Вести ангельской внемли,
Царь родился всей земли!*

Разве скоро Рождество?

Последние несколько лет перед Рождеством участники местного хора обходят дома, распевая перед дверью песни, — нет, они не просят ни денег, ни подарков, а просто славят Рождество и поют на радость ближним. В свое время это казалось мне истинным чудом, пение пробуждало во мне

огонек, который, как казалось, уже давно угас. Наверное, с тех пор прошла целая вечность.

Тоненькие голоски талой водой омывали меня:

*Милость, мир Он всем дарит,
Грешных с Богом примирит.*

Я спустил ноги с кровати на голый пол. Я снова был младенцем, новорожденным, чьи стопы еще не привыкли к поверхности, так что ноги поначалу лишь касались пола пальцами. Такими мне запомнились ноги маленького Эдмунда — стопы с высоким подъемом, подошвы мягкие, пухлые. Я подолгу тискал их, рассматривал, ощупывал, я любовался сыном, как любят первенцем, и думал, что с ним я буду другим, не таким, каким был со мною мой отец. Я курлыкал над малышом, пока Тильда не отнимала его у меня под предлогом, что ребенка надо покормить или перепеленать.

Медленно переставляя младенческие безвольные ноги, я побрел к окну. Каждый шаг причинял боль. Я взглянул вниз, в сад, и увидел их. Всех семерых — не певчих-чужаков, а моих собственных дочерей.

Четверо, те, что повыше, стояли сзади, а трое пониже — впереди, все в темной зимней одежде: шерстяные пальто, тесные, короткие, мешковатые и залатанные, истершиеся до прозрачности, с нашитыми на дыры карманами и дешевыми бантиками. Из коричневых, темно-синих и черных шерстяных чепцов, отороченных белыми кружевами, выглядывали худенькие, по-зимнему бледные лица. Девочки открывали рты, и песня превращалась в пар.

Как они все исхудали!

В глубоком снегу виднелась тропинка, цепочка их следов. Должно быть, они по колено проваливались в сугробы и наверняка промокли. Я почувствовал, как мокрые шерстяные чулки трутся о кожу, как холод медленно ползет вверх по ногам, пробравшись сквозь тоненькие башмаки — другой обуви ни у одной из них не имелось.

Я подошел поближе к окну, ожидая увидеть в саду еще кого-нибудь. Зрителей. Тильду или, может, кого-то из соседей. Но в саду было пусто. Мои дочери пели не для кого-то. Они пели для меня.

*Ты для нас сошел с небес,
К исцеленью всех воскрес.*

Их взгляды были прикованы к моему окну, но меня они пока еще не увидели. Я стоял в тени, а стекло отсвечивало, поэтому они, вероятнее всего, видели лишь отражение неба и деревьев.

*Родился, чтоб нас поднять,
Нам рожденье свыше дать.*

Я сделал еще один шаг к окну.

Чуть в стороне стояла четырнадцатилетняя Шарлотта, моя старшая дочь. Казалось, будто поет все ее тело, грудь поднималась и опускалась в такт мелодии. Возможно, именно она все это придумала. Она всегда любила петь. Будучи совсем маленькой, склонившись над тетрадью или моя посуду, она постоянно напевала что-то себе под нос, точно вплетая тихую мелодию в движения.

Шарлотта заметила меня первой. Ее лицо озарилось радостью, и она толкнула рассудительную двенадцатилетнюю Доротею, та быстро кивнула Оливии, которая была на год младше Доротеи, а Оливия, в свою очередь, переглянулась со своей близняшкой Элизабет. Внешне эти двое были довольно разными и сходились лишь в характерах. Их, ласковых и милых, отличала поразительная бестолковость: лишь ценой бесконечной зубрежки мы вбили в их головки цифры, которых они, впрочем, так и не поняли. Волнение перекинулось на первый ряд — теперь и малыши меня заметили. Девятилетняя Марта осторожно дернула за руку семилетнюю Кэролайн, которая вечно ныла, потому что хотела остаться младшей, а Кэролайн с силой ткнула в бок крошку Джорджиану, которой хотелось поскорее вырасти. Никакого ликования не последовало, на это у них не хватало смелости. Пока не хватало. О том, что девочки увидели меня, свидетельствовали едва заметная заминка да еще робкие попытки улыбнуться, насколько открытые в пении рты вообще позволяли улыбаться.

Меня охватила какая-то детская радость. Пели девочки не плохо, вовсе нет. Их впалые щеки покраснелись, глаза горели. Все это они затеяли ради меня, только ради меня, и сейчас им казалось, что все получилось — их отец встал с кровати. Закончив петь, они дадут волю радости, помчатся в дом и примутся рассказывать о чуде, которое сотворили. Песней мы излечили его! — воскликнут они. Мы излечили его песней! Коридоры наполнятся счастливыми голосами: он скоро вернется! Он скоро будет с

нами! Мы показали ему Господа, младенца Иисуса. *Вести ангельской внемли — Царь родился всей земли.* Какая чудесная, да просто изумительная идея — спеть для него, напомнить о прекрасном, о Рождестве, обо всем, что он позабыл из-за своего недуга, который мы называем болезнью, но на самом деле это нечто совершенно иное, пусть даже мама и запрещает об этом говорить. Бедный отец, ему тяжело пришлось, какой же он стал бледный, прямо как привидение, мы сами видели, заглядывали в дверь, когда проходили мимо. А какой тощий — кожа да кости, и борода отросла, вылитый распятый Иисус, его вообще не узнать. Но скоро он вновь будет с нами, скоро сможет работать, мы будем есть хлеб с маслом, и у нас появятся новые зимние пальто. Настоящее рождественское чудо! *Ты для нас сошел с небес, к исцелению всех воскрес!*

Однако они ошибались, я не был способен на такие дары, их ликования я был недостоин. Кровать манила меня, ноги дрожали, младенческие ноги отказывались удерживать мое взрослое тело, желудок опять свело, я стиснул зубы, словно чтобы помешать невидимому комку, подбиравшемуся к горлу, а песня снаружи смолкла. Сегодня чуда не произошло.

Джордж

ОТИМ-ХИЛЛ, ОГАЙО, США

2007

Я встретил Тома на вокзале в Отиме. С прошлого лета домой он не приезжал. Почему — этого я уж не знаю, не спрашивал. Может, я просто боялся услышать ответ. До фермы мы домчали за полчаса, но по дороге особо не разговаривали. Он сидел, положив на колени руки — что-то уж очень тонкие и белые. В ногах стояла изгвазданная сумка. Я как купил грузовичок, так с тех пор ни разу не мыл там пол. Комья прошлогодней или позапрошлогодней земли за зиму превращались в пыль. Снег, который Том натащил в машину на сапогах, стекал грязной водой и смешивался с землей.

Сумка была новая. Такая плотная и жесткая. Он ее наверняка в городе купил. И еще тяжеленная. Я аж крикнул, когда поднял — там, на вокзале. Том сам было к ней потянулся, но я его опередил. Что-то хиловат он был и спорт явно не жаловал. Собственно говоря, когда приезжаешь на каникулы домой, тебе, кроме одежды, ничего и не надо. А одежда его — та, без которой на ферме не обойтись, — уже висела дома, при входе. Комбинезон, сапоги и ушанка. Но парень, похоже, набрал с собой кучу книг. Видать, думал, что у него будет время их читать.

Когда я приехал за ним, он уже стоял и ждал меня. Может, автобус раньше пришел, а может, это я припозднился. Вообще-то я снег во дворе чистил, поэтому мог и опоздать.

— Джордж, да брось ты это дело. Он все равно в облаках витает и ничего вокруг не видит, — сказала Эмма, стоя на пороге. Она дрожала и, чтобы согреться, обхватила себя руками.

Я не ответил и лишь молча разбрасывал лопатой снег. Снег только нападал, был легкий и рыхлый. У меня даже спина не взмокла.

Она смотрела на меня.

— Ты что же это, президента Буша в гости ждешь, что ли?

— Сугробы-то надо разгрести. Ты вот что-то не рвешься снег убирать.

Я поднял голову. Перед глазами мелькали белые точки. Эмма

усмехнулась, и я в ответ расплылся в улыбке. Мы знали друг дружку со школы, и, по-моему, дня не проходило, чтобы мы вот так не улыбались друг другу.

И все ж она была права. Со снегом — это я, конечно, лишнего хватил. Снег все равно стоял бы, у нас уже потеплело, солнце набирало силу, и повсюду текли ручьи. Этим снегопадом зима вроде как напоследок плюнула в нас, и через пару дней от этого снега и следа не осталось бы. И с туалетом — это я тоже хватил. Туалет помыл, даже за унитазом, а такое вообще на меня не похоже. Мне просто хотелось, чтобы, когда он наконец явится домой, все выглядело по первому классу. Чтобы он увидел чистый двор и вымытый туалет. И тогда, может, он не заметит, что краска на южной стене облупилась, а с крыши ветром оторвало пару досок.

Уезжая в прошлый раз, он был сильным, загорелым и бодрым. В кои-то веки он тогда крепко обнял меня, и я почувствовал, что руки у него налились силой. Говорят, что когда с детьми надолго расстаеться, то с каждой встречей они кажутся тебе больше и больше. Но с Томом все было наоборот. Он вроде как даже скукожился. Нос покраснел, щеки побелели, а плечи стали уже. А еще он ссутулился и был похож на грушу-дичок. Дрожать он перестал, только когда мы въехали во двор, но и тогда выглядел заморышем.

— А как вас там кормят? — спросил я.

— Кормят? В колледже?

— Нет, на Марсе.

— Что-что?

— Ну ясен перец, в колледже. Тебя что, еще где-то кормят?

Он слегка приподнял голову над плечами.

— Я просто... Ты с виду истощенный какой-то, — пояснил я.

— Истощенный? Папа, ты хоть значение этого слова понимаешь?

— В прошлый раз мне показалось, что твою учебу оплачиваю я, поэтому мог бы и повежливей ответить.

Мы замолчали.

Надолго.

— Но, видать, у тебя хорошо все, — сказал я наконец.

— Да, все хорошо.

— Значит, за мои деньжата мне хороший товар продают?

Я было засмеялся, но краем глаза заметил, что он даже не улыбнулся. Почему же он не смеется? Мог хотя бы притвориться, что моя шутка ему по душе, мы посмеялись бы вместе и, глядишь, так и проболтали бы душевно всю дорогу до дома.

— Если уж за еду все равно заплачено, мог бы питаться получше. — Я решил не сдаваться.

— Да, — только и дождался я в ответ.

Я начал закипать. Мне просто хотелось, чтобы он улыбнулся, а у него такой вид был, словно он на похоронах. Мне бы удержаться и смолчать. Но оно как-то само вырвалось:

— Тебе вот непременно надо было прямо в такое время уехать, да? Подождать ты не мог?

Интересно, он хоть сейчас рассердится? Опять? Но нет, он лишь вздохнул:

— Папа...

— Ладно-ладно. Я ж шучу опять.

Все остальные слова я оставил при себе: понимал, что продолжи говорить — и вывалю такое, о чем потом сильно пожалею. Не так я представлял себе его приезд.

— Ну, мне просто показалось, — я старался говорить мягче, — что когда ты уезжал, то радовался больше.

— Я радуюсь. Ясно?

— Да.

Вот тебе на. Радуетса он. Прямо прыгает от радости. Никак не мог дожждаться, когда ж нас опять увидит. И ферму. Неделями ни о чем другом думать не мог. Ну да.

Я кашлянул, хотя в горле у меня вовсе и не першило. Том молча сидел рядом, положив руки на колени. В горле у меня будто вырос комок, и я сглотнул его. На что я вообще надеялся? Что мы проведем несколько месяцев в разлуке и станем лучшими друзьями?

Эмма долго сжимала Тома в объятьях. Между ними все было по-старому, она могла обнимать и тискать его — похоже, это его не раздражало.

На расчищенный от снега двор он не обратил внимания. Тут Эмма оказалась права. А вот облупившуюся краску на южной стене углядел — хоть это хорошо...

Впрочем, нет. Потому что на самом деле мне хотелось, чтобы он заметил и то и другое. И принялся бы за дело, коли уж он явился наконец домой. Почувствовал бы ответственность.

Эмма приготовила мясной пудинг с кукурузой и разложила по зеленым тарелкам громадные порции. Желтые кукурузные зернышки весело блестели, а от сливочного соуса шел пар. Харчи получились знатные, но

Том съел только половину, а к мясу вообще не притронулся. Видать, вообще аппетит потерял. Небось на свежем воздухе почти не бывает. Ну мы это исправим.

Эмма все расспрашивала и допытывалась. Про учебу. Преподавателей. Предметы. Друзей. Девушек... На вот эту, последнюю, тему он особо не распространялся, но болтали они довольно живо — впрочем, как обычно. Хотя вопросов у нее было больше, чем у него ответов. Они всегда так болтали — не останавливаясь. Сидели, разговаривали, и, похоже, давалось им это безо всякого труда. Но оно и понятно — она все ж его мать.

Эмме было приятно, щеки у нее разругались, с Тома она глаз не сводила и все хваталась за него руками. Как будто в руках поселилась вся ее долгая тоска.

Я больше молчал. Пытался улыбаться, когда они улыбались, и смеялся, когда смеялись они. После нашей стычки в машине лучше было не рисковать. Отложим отцовские наставления до лучших времен. Как придет время — так и поговорим. Том ведь на целую неделю приехал.

Я с наслаждением съел все до последнего кусочка — ну, хоть кто-то в этом доме ценит вкусную еду. Собрав кусочком хлеба соус, я положил приборы крест-накрест на тарелку и поднялся.

В этот момент Том тоже встал из-за стола, хотя на его тарелке еще лежала целая гора еды.

— Очень вкусно, — сказал он.

— Ты бы хоть доел. Мама старалась, готовила, — сказал я вроде как добродушно, но вышло резковато.

— Он уже и так много съел, — влезла Эмма.

— Она несколько часов у плиты простояла.

Строго говоря, это я, конечно, хватил. Том вновь сел за стол и взял вилку.

— Джордж, ну какие несколько часов! — не унималась Эмма. — Это всего лишь пудинг.

Я уперся. Она старалась — с этим никто бы не поспорил, и она так радовалась, что Том приехал домой. Пускай мальчишка это ценит.

— Я в автобусе сэндвич съел, — сказал Том, уставившись в тарелку.

— Ты что же, досыта наелся, хотя знал, что мама дома тебе чего только не наготовила? Ты вообще по домашней стряпне не соскучился, что ли? Может, тебя где-то кормят мясным пудингом получше нашего?

— Нет, папа. Просто дело в том, что...

Он запнулся.

На Эмму я старался не смотреть — знал, что она поджала губы и

взглядом пытается заставить меня замолчать.

— И в чем же оно — дело-то?

Том вилок подвинул кусочек мяса.

— Я больше не ем мяса.

— Чего-о?!

— Ладно, ладно, — быстро проговорила Эмма и принялась убирать со стола.

Я сел. Теперь мне все стало ясно.

— Ну тогда понятно, почему ты такой тщедушный, — сказал я.

— Если бы все были вегетарианцами, в мире хватало бы еды на всех, — заявил Том.

— Если бы все были вегетарианцами! — передразнил я Тома, глядя на него поверх стакана с водой. — Люди во все времена ели мясо!

Эмма составила тарелки и блюда в стопку, так что теперь посреди стола опасно покачивалась высокая башня.

— Будет тебе! Том наверняка не с потолка это взял, — проговорила она.

— Очень сомневаюсь.

— Вообще-то нас, вегетарианцев, довольно много, — сказал Том.

— У нас дома едят мясо! — отрезал я и вскочил, да так резко, что уронил стул.

— Ладно, ладно. — Эмма вновь взялась за посуду и опять взглянула на меня. На этот раз ее взгляд не просил меня замолчать — он приказывал мне заткнуться.

— Но ты же не свиной разводишь, — выдал вдруг Том.

— А это ты к чему?

— Какая тебе разница, ем я мясо или нет? Ведь от меда-то я пока не отказываюсь.

Он усмехнулся. Миролюбиво? Нет. Нагло вато.

— Знай я, в кого ты превратишься в колледже, сроду бы не отправил тебя туда! — Слова бежали впереди меня, но мне все равно было их не сдержать.

— Неужели тебе не ясно, что ему надо учиться? — встряла Эмма.

Ну естественно! Ясно как божий день, яснее не бывает! Всем на свете надо учиться!

— Все, что нужно было мне, я выучил вот здесь. — И я махнул рукой, вроде как хотел на восток — именно там был луг, где стояли ульи, — но не успел сообразить и показал на запад.

На этот раз он даже до ответа не снизошел.

— Спасибо за обед.

Он быстро убрал за собой посуду и повернулся к Эмме:

— Все остальное я тоже уберу. А ты посиди.

Она улыбнулась ему. А мне никто ничего не сказал. Оба они обходили меня стороной. Эмма взяла газету и исчезла в гостиной, Том повязал фартук — да-да, он и впрямь фартук напялил — и принялся драить кастрюлю.

У меня отчего-то совсем пересох язык. Я глотнул воды, но и это не помогло.

Они обходили меня стороной, а я стал вдруг громадным, как слон. Впрочем, слоном я не был. Я был мамонтом. Тем, кто вымер.

Tao

— Смотри, у меня есть три рисовых зернышка, а у тебя — еще два. Тогда сколько у нас с тобой всего зернышек? Я взяла со своей тарелки две рисинки и положила их на уже опустевшую тарелку Вей-Веня. Те детские лица — у меня никак не получалось забыть их. Высокую девочку, подставляющую лицо солнцу, широко зевающего мальчика. Такие маленькие. А Вей-Вень показался мне вдруг совсем взрослым. Скоро ему исполнится столько же, сколько им. В других регионах страны имелись школы, правда, ходили в них лишь немногие избранные. Те, кто впоследствии занимал руководящие должности, и те, кто должен был научиться принимать решения. То есть те, кто в саду не работал. Если только он окажется особенно талантливым и будет намного способнее всех остальных...

— А почему у тебя три, а у меня только две? — спросил Вей-Вень, скорчив гримаску.

— Ну хорошо, пусть две будет у меня, а у тебя три. Вот так, — я переложила ему на тарелку одно зернышко со своей, — сколько всего получается?

Вей-Вень положил пухлую ладошку прямо на тарелку и принялся возить по ней пальцами, будто раскрашивая невидимой краской.

— Хочу еще кетчупа.

— Вей-Вень. — Я решительно убрала его руку с тарелки; она была липкой и влажной. — Как надо сказать? Пожалуйста, дай мне еще кетчупа. — Я вздохнула и опять показала на зернышки риса: — У меня два. И у тебя три. Давай посчитаем: один, два, три, четыре, пять.

Вей-Вень потер рукой лицо, оставив на щеке красную полоску от кетчупа. Потом потянулся к бутылочке:

— Пожалуйста, дай мне еще кетчупа.

Надо было раньше начинать... Ежедневно вместе мы проводили всего час. И нередко я тратила это время впустую — играла с малышом или подольше кормила его. Сейчас он уже мог бы уметь намного больше...

— Пять, — сказала я, — пять зернышек. Правильно? Он понял, что до кетчупа ему не дотянуться, и с силой откинулся на спинку стула, так что стул подскочил. Вей-Вень часто делал что-то, не рассчитав силы. С самого рождения он был крепким и сильным мальчиком. И довольным. Ходить он начал поздно — словно никуда не спешил. Ему достаточно было сидеть на

земле и улыбаться всем, кому вздумалось поболтать с ним. А таких находилось немало, потому что Вей-Вень был очень улыбчивым ребенком.

Я взяла бутылку и выдавила ему на тарелку немного красной химической жидкости. Может, он хоть сейчас начнет меня слушаться?

— Вот, пожалуйста.

— Да! Кетчуп!

Я вытащила из миски еще две рисинки.

— Смотри, у нас появилось еще две. Сколько их теперь всего? — Но Вей-Вень был поглощен едой. Кетчупом он измазал всю мордашку. — Вей-Вень? Сколько получится?

Тарелка вновь опустела, он внимательно посмотрел на нее, а затем поднял вверх и начал рычать, прямо как самолет в прежние времена. Вей-Вень обожал всякий старый транспорт — вертолеты, автомобили, автобусы. Мог часами ползать по полу и строить дороги, аэродромы и систему путей сообщения.

— Вей-Вень, перестань. — Я отняла у него тарелку, отставила ее в сторону, так чтобы он ее больше не видел, и опять показала на засохшие зернышки риса: — Смотри же. Пять плюс два. Сколько у нас получается?

Голос у меня дрогнул, но я улыбнулась. Впрочем, моей улыбки Вей-Вень все равно не заметил, потому что потянулся за тарелкой:

— Дай! Мой самолет! Мой!

Куань в гостинной кашлянул и укоризненно посмотрел на меня. Он сидел на диване с чашкой чая в руках, положив ноги на журнальный столик, и делал вид, что отдыхает.

Я притворилась, что никого из них не слышу, и начала считать:

— Один, два, три, четыре, пять, шесть и... семь! — Я улыбнулась Вей-Веню, точно мы с ним сделали великое открытие. — Всего получается семь, верно? Видишь? Семь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Хоть бы он понял это — этого пока достаточно, и я отстану, отпущу его поиграть. Крошечные шаги, каждый день.

— Мой! Отдай! — Он изо всех сил пытался дотянуться до тарелки.

— Дружок, не надо ее трогать. — В моем голосе зазвучали металлические нотки. — Сейчас мы с тобой считаем.

Едва слышно вздохнув, Куань поднялся с дивана, подошел к нам и положил руку мне на плечо:

— Уже восемь.

Я стряхнула его руку:

— Посидит еще пятнадцать минут — ничего с ним не станется. — Я упрямо смотрела на мужа.

— Тао...

— Пятнадцать минут — ничего с ним не случится. — Я не сводила с него взгляда.

Куань отступил:

— Но зачем?

Я отвела глаза. Объяснять и рассказывать про детей мне не хотелось. Что он скажет, я и так прекрасно знала. Что меньше они не стали. Что они всегда такими были. В прошлом году приводили тоже восьмилеток. Но так уж оно сложилось. Что такой порядок и что началось это много лет назад. А потом он заговорил бы высокими словами, которые совершенно не подходили ему: мы должны радоваться, что живем здесь. Все могло быть хуже. Мы могли бы жить в Пекине. Или в Европе. Надо видеть преимущества в нашем положении. Жить сегодняшним днем. Разумно использовать каждую секунду. Эти фразы были совершенно не похожи на то, как Куань обычно разговаривал, — он словно прочел их где-то и заучил, но произносил их с таким пылом, будто действительно во все это верил.

Куань погладил Вей-Веня по жестким волосам.

— Я с ним поиграть хочу, — тихо проговорил он.

Вей-Вень повернулся на стуле — вообще-то из этого детского стульчика он уже вырос, но на нем имелись ремни и застежка, так что для моих уроков лучше парты и не придумаешь. Мальчуган вновь потянулся к тарелке:

— Отдай! Мой самолет!

Не глядя на меня, Куань, по-прежнему спокойно, произнес:

— Нет, с тарелкой играть нельзя, но вот что я тебе скажу: зубные щетки тоже умеют летать. — А потом вытащил Вей-Веня из стульчика и направился с ним в ванную.

— Куань... Но я...

По дороге в ванную он легко перекинул Вей-Веня из одной руки в другую и, делая вид, что не слышит меня, продолжал болтать с малышом. Куань нес его так, будто Вей-Вень был легким как перышко, а вот я поднимала его уже с трудом.

Я не сдвинулась с места. Но и слов не находила. Он прав. Вей-Вень устал. И день близился к концу. Малыша надо укладывать, иначе он перевозбудится и вообще откажется ложиться. И тогда нам придется несладко, я это прекрасно знала. В таких случаях Вей-Вень мог до поздней ночи не уснуть. Сперва он вылезет из кровати, распахнет дверь в нашу комнату и, звонко смеясь, примется играть с нами в догонялки. Потом, устав, станет кричать, плакать и капризничать. Такой у него характер.

Наверное, все трехлетки такие.

Впрочем... насколько помню, я в детстве так себя не вела. Когда мне было три года, я научилась читать. Сама освоила иероглифы и поразила учителя, бойко прочитав вслух сказку. Я читала ее для себя, а не для других детей — от них я старалась держаться подальше. Мои родители лишь наблюдали за мной со стороны, позволяя читать сказки и коротенькие детские рассказы, но других книг мне не давали. Зато учителя относились ко мне с пониманием. Они дарили мне возможность просиживать над книгами, когда остальные отправлялись гулять, показывали мне фильмы и запускали для меня взломанные обучающие программы. Многие из этих материалов появились еще до Коллапса, до падения демократии, до начавшейся после этого мировой войны, когда пища превратилась в роскошь, доступную лишь единицам. В те времена информационный поток был огромным, практически необозримым. Слова складывались в цепочки длиной с Млечный Путь. Всеми существующими фотографиями, картами и изображениями можно было покрыть несколько поверхностей Солнца. Чтобы пересмотреть все фильмы, требовалось время, в миллионы раз превышающее продолжительность человеческой жизни. И технология сделала все это доступным. В те времена доступность была девизом человечества. При помощи сложных изобретений люди в любой момент могли подключиться к информационному потоку.

Однако Коллапс разрушил цифровые информационные системы. Всего за три года они полностью погибли. У людей остались лишь книги, пиратские копии фильмов, поцарапанные диски с программным обеспечением и древняя, чудом не сгнившая сеть телефонных кабелей.

Я буквально заглатывала старые, полуистлевшие книги и пиратские видеофильмы, читала и запоминала все, будто впечатывая эти книги и фильмы в свою память.

Своих знаний я стыдилась, потому что из-за них становилась иной. Многие учителя пытались побеседовать с моими родителями, называли меня одаренной и говорили, что у меня есть талант, однако родители лишь смущенно улыбались и спрашивали про обычное — дружу ли я с кем-нибудь, быстро ли бегаю, ловко ли карабкаюсь по деревьям и старательно ли плету коврики. Здесь мне похвастаться было нечем. Однако со временем жажда учиться поглотила стыд. Я познакомилась с устройством языка и поняла, что для обозначения каждой вещи или чувства существует не одно слово, а много. И я познакомилась с историей планеты. Узнала о том, как вымерли насекомые-опылители и как вырос уровень Мирового океана, о потеплении и об атомных катастрофах, прочитала про то, как США и

Европа всего за несколько лет потеряли все, чем владели, как скатились вниз, за черту бедности, как их население сократилось до ничтожной доли от прежнего количества, а производство пищи ограничилось зерном и кукурузой. Нам же, жителям Китая, повезло. Комитет, высшая ячейка Партии и правительство нашей страны, твердой рукой провел нас через эпоху Коллапса. Ряд принятых Комитетом решений не получил поддержки у народа, но оспаривать их народ не имел возможности. Я узнала обо всем этом. И мне хотелось двигаться дальше. Получать все больше и больше, чтобы знания переполняли меня. Я ни секунды не обдумывала то, о чем узнала.

Пока мне в руки не попало потрепанное издание «Слепого пасечника». Тогда я словно замерла. Беспомощно переведенный с английского текст дался мне нелегко, однако книга затягивала. Она была издана в 2037 году, всего за несколько лет до Коллапса, когда насекомые-опылители окончательно прекратили свое существование. Я принесла книгу учительнице и показала ей фотографии различных типов ульев и подробные изображения пчел. Именно пчелы привлекали меня сильнее всего. Матка и ее дети, прячущиеся в сотах личинки и царство золотистого меда.

Учительница увидела эту книгу впервые, но, как и я, пришла в восторг. Некоторые особенно удачные пассажи она зачитывала вслух. Те, где рассказывалось о знаниях. О том, как действовать вопреки инстинктам, потому что человеческие знания сильнее их. И чтобы жить с природой, в природе, необходимо отстраниться от природы внутри нас. Еще там рассказывалось о ценности образования, потому что суть его заключается именно в том, чтобы контролировать природу в самом себе.

Мне тогда было восемь лет, и я поняла лишь самую малость. Но я разделяла восхищение учительницы. И то, что автор говорил про образование, я тоже понимала. Без знаний мы ничто. Без знаний мы животные.

Эта книга добавила мне целеустремленности. Теперь в обучении меня привлекал не только процесс — мне захотелось научиться понимать. Совсем скоро я опередила своих одноклассников и была самой юной из всех школьников, ставших Юными пионерами Партии и получивших разрешение носить Галстук. Это переполняло меня гордостью. Даже родители улыбались, когда мне на шею повязали эту красную тряпицу. Однако в первую очередь знания делали меня богаче. Богаче всех остальных детей. Ни красивой, ни спортивной я не была, усидчивостью и физической силой не отличалась. Ни в каких других сферах мне тоже не

удавалось себя проявить. Девочка, смотревшая на меня из зеркала, была нескладной, с чересчур маленькими глазами и слишком крупным носом. Совершенно обычная внешность умалчивала о сокровищах, спрятанных внутри. О кладе, благодаря которому каждый день обретал особую ценность. И который мог открыть для девочки совершенно иной путь.

Я все рассчитала, когда мне было десять. В других регионах, там, куда добираться придется целые сутки, имелись школы, и когда мне исполнится пятнадцать, я не выйду на работу, а поступлю в одну из них. Директриса показала, как заполнить вступительную анкету. По ее словам, у меня были все шансы поступить. Но обучение в таких школах стоило денег. Я попыталась объяснить все родителям, но тщетно: мои разговоры испугали их, они смотрели на меня, словно на существо с другой планеты, непонятное и нелюбимое. Директриса старалась мне помочь и вызвала их на беседу. О чем именно они говорили, я так никогда и не узнала, но после этого разговора родители лишь сильнее заупрямились. Денег у них не было, и откладывать они не хотели.

Мне следует образумиться — так они считали. Успокоиться, прекратить «витать в облаках». Но у меня не получалось. Такой у меня был склад, и такой я осталась на всю жизнь.

Вей-Вень рассмеялся, и я вздрогнула. Акустика в ванной усиливала звуки, и его смех звоном колокольчика разлетался по квартире.

— Нет, папа! Не-ет! — Вей-Вень хохотал, а Куань щекотал его и дул в живот.

Я встала, составила тарелки в раковину, подошла к двери в ванную. Надо бы мне записать смех Вей-Веня, сделать аудиозапись, а потом, когда малыш вырастет и его голос сломается и огрубеет, дать ему послушать.

И тем не менее в тот вечер я даже не улыбнулась.

Я толкнула дверь. Вей-Вень лежал на полу, а Куань стаскивал с него штанину, притворяясь, будто воюет с брюками и никак не может их снять.

— Давай быстрее, — сказала я Куаню.

— Быстрее? Но эти штаны такие упрямые — никакого сладу с ними нет! — заявил Куань, а Вей-Вень расхохотался.

— Ты сейчас его раззадоришь.

— Так, штаны, прекратить ваши штучки!

Вей-Вень засмеялся еще громче.

— Он перевозбудится, — продолжала я, — и не заснет. Куань не ответил, но послушался. Я вышла из ванной и прикрыла дверь. Помыла посуду.

Потом я достала прописи. Всего пятнадцать минут — ничего с ним не

станется.

Уильям

Она подолгу просиживала возле моей кровати, склонившись над книгой, медленно перелистывая страницы, с головой погружившись в чтение. Шарлотта, моя четырнадцатилетняя дочь, которой следовало бы найти себе занятие повеселее, нежели часами терпеть мое молчаливое общество. Тем не менее она навещала меня все чаще и чаще, и благодаря Шарлотте с ее вечной книгой день для меня отличался от ночи.

Сегодня Тильда ко мне не заходила, теперь она вообще реже меня навещала и даже нашего семейного врача больше не приводила. Вероятно, деньги и впрямь закончились.

О профессоре Рахме она ни разу не обмолвилась ни словом. Иначе я бы непременно узнал — его имя, произнесенное в этом доме, вырвало бы меня из самого глубокого сна, добралось бы до моих ушей даже на том свете. Видимо, Тильда так и не догадалась о существовании взаимосвязи, не поняла, что сюда, в эту комнату и на эту кровать, меня привела наша последняя беседа и его смех.

Он сам попросил меня тогда прийти. Почему ему вздумалось со мной встретиться, я не знал. Я уже много лет не заходил к нему, а во время редких случайных встреч в городе ограничивался парой вежливых фраз, которые он резко обрывал.

Я отправился к нему в гости в самый разгар осеннего увядания, когда деревья окрасились ярко-желтым, охрой, кроваво-красным, а ветер еще не сорвал листья и не обрек их на гниение. Это было время урожая, тяжелых яблок, сочных слив, сладких груш, ядреной моркови, тыкв, лука, душистых трав — земля готовилась избавиться от всего этого, подарить плоды человеку. А люди могли жить, не зная забот, как в Райском саду. Легко шагая по дороге, я прошел по заросшей темно-зеленым плющом опушке леса и направился к дому Рахма. Этой встречи я ждал с радостью: наконец-то мы обстоятельно побеседуем, как в былые времена, до внушительного прибавления в моем семействе, до магазинчика, который теперь отнимал все мое время.

Профессор, как обычно, встретил меня на пороге, наголо бритый, худощавый, жилистый и сильный. Он быстро улыбнулся — он вечно улыбался как-то вскользь, и тем не менее его улыбки обладали способностью согревать. Он провел меня в кабинет, царство склянок и растений. В некоторых из склянок я разглядел амфибий, взрослых лягушек

и жаб. Он принес их сюда головастиками и вырастил сам — догадался я. Именно эта сфера естественных наук занимала его думы. Восемнадцать лет назад, сдав экзамен, я пришел к нему в надежде, что займусь изучением насекомых, из которых больше всего меня завораживали общественные, существующие как единый гигантский организм. Шмели, осы, перепончатокрылые, термиты и пчелы — они были моей научной страстью. И еще муравьи. Однако профессор считал, что это подождет, поэтому вскоре я тоже начал заниматься этими странными промежуточными существами, заполонившими его кабинет, — существами, которые не похожи были ни на насекомых, ни на рыб, ни на млекопитающих. Я был всего лишь его ассистентом и поэтому не смел возражать, почитая за счастье саму возможность работать с ним. Я старался перенять его восхищение и ждал, что, когда придет время, когда я созрею, он разрешит мне заняться собственными исследованиями. Этому дню так и не суждено было настать, и я довольно скоро понял, что мне придется отдать исследованиям свободное время, начать с чистого листа и постепенно двигаться вперед. Впрочем, на это у меня тоже не хватало времени — ни до появления Тильды, ни после.

Экономка подала нам чай с кексами. Мы пили из крошечных чашек, таких хрупких, что они грозили рассыпаться прямо в руках. Этот сервиз он приобрел во время одной из своих многочисленных поездок в страны Дальнего Востока, задолго до того, как поселился здесь, в деревне.

Мы прихлебывали чай, и он рассказывал о работе — о новом исследовании, о своих последних научных докладах, о следующей статье, которую готовил к изданию. Я слушал, кивал, задавал вопросы, высказывая суждения, прибегал к научной терминологии и вновь слушал. Я смотрел на него, стараясь поймать его взгляд. Однако он на меня почти не смотрел, его глаза перебегали с одного предмета на другой, будто это к ним он обращался.

Потом он умолк, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом коричневатой пожухлой листвы за окном. Я отхлебнул чая, и этот звук словно проник в каждый уголок того безмолвия. Кровь бросилась мне в лицо, я быстро поставил чашку на столик, но профессор, похоже, ничего не заметил и лишь молча сидел, не обращая на меня никакого внимания.

— У меня сегодня день рожденья, — проговорил он наконец.

— Ох, я и не знал! Прошу простить меня... и примите мои сердечные поздравления!

— Вам известно, сколько мне исполнилось? — Его взгляд упал наконец на меня.

Я замялся. Сколько же ему может быть? Он, должно быть, очень стар. Ему далеко за пятьдесят. Возможно, около шестидесяти? Я заерзал. Мне вдруг показалось, что в комнате ужасно жарко. Я кашлянул. Какого же ответа он ждет?

Я не ответил, и профессор опустил глаза.

— Это не имеет никакого значения.

Разочарование? Я разочаровал его? Вновь?

Лицо его оставалось бесстрастным. Отставив чашку, профессор взял кекс — самый обычный, самый будничный кекс. Сейчас, во время нашей странной беседы, этот кекс был удивительно не к месту.

Он положил кекс на блюдце, но есть не стал. Тишина становилась гнетущей. Пришла моя очередь нарушить ее.

— Вы собираетесь устраивать празднование? — спросил я и тут же пожалел об этом. Бессмысленный, жалкий вопрос — ведь профессор не ребенок.

Впрочем, до ответа он не снизошел, он лишь молча сидел напротив меня, зажав в руке блюдце и глядя на маленький засохший кекс. Он слегка наклонил блюдце, кекс съехал на самый краешек, но профессор в последнюю секунду опомнился и отставил блюдце в сторону.

— Студентом вы подавали надежды, — произнес он наконец и сделал глубокий вдох, точно желая что-то добавить, но больше ничего не сказал.

Я прокашлялся.

— Вы так считаете? Он переменил позу.

— Когда вы явились ко мне, я возлагал на вас немалые надежды. — Он опустил руки, и они повисли безжизненными плетями. — Ваш неизбывный энтузиазм и ваша страсть — вот что меня подкупило. Вообще-то я тогда не планировал брать ассистента.

— Благодарю вас, профессор, я очень ценю вашу похвалу.

Он выпрямился, словно аршин проглотил, и теперь сам напоминал ученика.

— Но что же с вами... что случилось? (У меня кольнуло в груди. Он задал мне вопрос, но как на него ответить?) Это произошло еще тогда, когда вы работали над докладом о Сваммердаме? — Он вновь быстро взглянул на меня, но отвел глаза, что ему было несвойственно.

— О Сваммердаме? Но с тех пор уже столько лет прошло, — ответил я.

— Да. Вот именно. Все это было много лет назад. Именно тогда вы с ней и познакомились, верно?

— Вы о... моей жене?

Его молчание подсказало, что я правильно его понял. Да, с Тильдой я познакомился там, после доклада. Или, точнее, обстоятельства привели меня к ней. Обстоятельства... нет, к ней меня привел сам Рахм. Его смех, его насмешки заставили меня посмотреть в другую сторону, в ее сторону.

Мне захотелось сказать что-нибудь об этом, но слов я не находил. Я молчал, и поэтому он быстро наклонился вперед и тихо кашлянул.

— Ну а сейчас?

— Сейчас?

— Зачем вы нарожали детей? — Этот вопрос он задал громче, почти сорвавшись на крик, и теперь смотрел на меня в упор, не отводя взгляда, ставшего внезапно ледяным. — Почему?

Я отвел глаза, не выдержав жесткости в его взгляде.

— Ну... Так уж заведено...

Он положил руки на колени, униженно, но в то же время требовательно.

— Заведено? Хм, возможно, это действительно так. Но почему вы? Что вы дадите им?

— Что я им дам? Пищу и одежду...

— Не вздумайте приплести сюда еще и эту вашу паршивую лавочку! — выкрикнул вдруг он.

Профессор резко откинулся на спинку стула — ему будто захотелось оказаться от меня подальше — и нервно потер руки.

— Ну... — Я пытался заглушить в себе подростка, которого третируют взрослые, пытался взять себя в руки, но заметил, что дрожу. Когда мне в конце концов удалось выдавить из себя еще несколько слов, голос мой зазвучал предательски пискляво: — Я старался, но просто... профессор, без сомнения, понимает... время не позволяло мне.

— Вы ждете утешения? — Он вскочил. — Я должен сказать, что это приемлемо? Так, по-вашему? — Он уже и так стоял рядом, а сейчас сделал еще один шаг, его темная фигура нависла надо мной. — Вы до сих пор не написали ни одной научной статьи — это приемлемо? У вас шкафы ломятся от книг, которые вы так и не прочли, — это приемлемо? Я впустую потратил на вас столько времени, а вы — да вы просто посредственность!

Это последнее слово точно повисло в воздухе между нами.

Посредственность. Вот кем я был для него. Посредственностью.

Я хотел было возразить. В действительности он уделял мне вовсе не так много времени. Или же профессор считал меня своим преемником? Возможно, ему хотелось, чтобы я продолжил его исследования, не позволил им умереть. Не позволил умереть ему. Однако я проглотил все

возражения.

— Вы это желаете услышать, верно? — Глаза у него стали пустыми, будто у амфибий, наблюдающих за нами из склянок. — Что так уж оно заведено? По-вашему, я сейчас должен сказать, что, мол, такова жизнь: мы встаем на ноги, обзаводимся потомством, и тогда наши инстинкты заставляют нас заботиться о нем, мы превращаемся в добытчиков, а перед природой интеллект пасует. Это не ваша вина, и еще не поздно все изменить, — он буравил меня взглядом, — вы это желаете услышать, да? Что еще не поздно? И что ваш час обязательно настанет?

Он резко рассмеялся — его смех, жесткий и отрывистый, был полон издевки. Он быстро стих, но прочно засел у меня в голове. Тот же смех, что и прежде.

Профессор замолчал, но не оттого что ждал моего ответа. Он прекрасно понимал, что я едва ли наберусь смелости сказать что-нибудь. Он подошел к двери и открыл ее:

— Сожалею, но вынужден просить вас покинуть мой дом. Мне нужно работать.

Он вышел из комнаты, не попрощавшись, а до порога меня проводила экономка. Я побрел домой, к книгам, но не взял в руки ни одной из них. Не в силах даже смотреть на них, я забрался в постель, да там и остался. Остался здесь, позволив книгам пылиться на полках... Всем тем текстам, которые я когда-то так хотел прочесть и понять...

Они до сих пор стояли там, бессистемно рассованные в книжных шкафах, корешки некоторых выдавались вперед, отчего полки напоминали некрасивую челюсть с неровно торчащими зубами. Смотреть на них у меня не было сил, и я отвернулся.

Шарлотта подняла голову и, заметив, что я не сплю, отложила книгу:

— Хочешь пить?

Она встала и протянула мне кружку с водой, но я отвернулся:

— Нет. — Мне показалось, что прозвучало это грубо, и поэтому я поспешно добавил: — Спасибо.

— Может, тебе еще что-нибудь нужно? Доктор сказал...

— Нет, ничего.

Она опустила на стул и внимательно, даже пристально взгляделась в меня.

— Ты лучше выглядишь. Слово сон наконец покинул тебя.

— Глупости.

— Нет, правда. — Она улыбнулась. — Во всяком случае, теперь ты мне отвечаешь.

Чтобы не обнадеживать ее, на этот раз я промолчал, в надежде, что тишина докажет обратное. Я отвел глаза, притворившись, будто больше не замечаю ее.

Тем не менее она не сдавалась — стоя возле моей постели, она потерла руки, затем опустила их, а потом наконец задала мучивший ее вопрос:

— Отец, неужели Всевышний покинул тебя?

О, если бы только все было так просто! Если бы дело было во Всевышнем! Для тех, кто утратил веру, существует одно-единственное лекарство — вновь обрести ее.

Во время штудий я постоянно обращался к Библии, она сопровождала меня повсюду, а по вечерам я ложился с ней в постель. Я непрестанно пытался усмотреть связь между ней и предметом моих исследований, между крошечными чудесами природы и великими, написанными на бумаге словами. Особенно меня занимали труды апостола Павла. Нет счета часам, которые я провел, с головой окунувшись в послание Павла римлянам, ведь именно в нем нашли отражение основные идеи его теологии. *Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.* Каков смысл этих слов? Что лишь тот, кто связан, обретает настоящую свободу? Вершить праведные деяния — значит заключить себя в тюрьму, обречь на плен, но путь нам указали. Отчего же тогда мы не смогли пройти его? Даже встретившись с творением Господним, от величия которого захватывало дух, человек не способен был выбрать правильный путь.

Мне так и не удалось отыскать ответ, и я все реже брал в руки небольшую книгу в черном переплете. Сейчас она пылилась на полке, среди своих собратьев. Так что же мне теперь сказать дочери? Что для Всевышнего моя так называемая болезнь была чересчур банальной и приземленной? Что единственный, кто виноват в этом, — я сам, мой выбор и прожитая мною жизнь?

Нет, возможно, когда-нибудь потом, но не сегодня. Я не ответил ей, а лишь слабо качнул головой и сделал вид, будто заснул.

* * *

Она просидела у меня до тех пор, пока не стихли звуки на первом этаже. Читала она быстро, и я вслушивался в шелест переворачиваемых страниц и в шорох ее муслинового платья. Вероятно, книги пленили ее подобно тому, как меня самого пленила кровать, хотя Шарлотта была достаточно умна и ей следовало бы заранее понимать всю обреченность

своего положения. Ученость представляла собой излишнюю роскошь для нее, а добытым знаниям все равно не суждено найти применение просто-напросто оттого, что она была дочерью, а не сыном.

В этот момент ее прервали. Дверь распахнулась, и я услышал быстрый стук шагов.

— Так вот ты где сидишь. — Тильда строго посмотрела на Шарлотту. — Пора спать. — Она будто отдавала приказ: — Помой посуду после ужина. И приготовь Эдмунду чай, у него разболелась голова.

— Хорошо, мама.

Шарканье ног. Шарлотта поднялась и положила книгу на тумбочку. Ее легкие шаги по направлению к двери.

— Доброй ночи, отец.

Она исчезла. Тильда принялась расхаживать по комнате, раздавив принесенный Шарлоттой покой. Она подошла к печке и подбросила угля. Сейчас ей все приходилось делать самой, служанку давно уже переманили, и теперь Тильда взяла на себя ежедневные заботы по растопке огня. Она не пыталась скрыть страданий, которые доставляли ей эти хлопоты, скорее наоборот: громкими вздохами и тихими стонами она постоянно подчеркивала это.

Покончив с углем, Тильда замерла, однако едва тишина вновь начала обволакивать меня, как жена привела в действие свой вечный оркестр. Мне даже глаза не требовалось открывать, я и так знал, что она, встав возле печки, дала волю слезам. Прежде я уже неоднократно становился свидетелем подобного, а звук этот ни с чем не спутаешь. Аккомпанементом ее рыданиям было веселое потрескивание угля. Я повернулся набок и вжался ухом в подушку, в надежде приглушить звуки, но тщетно.

Прошла минута. Вторая. Третья.

Наконец она сдалась и в завершение своей скорбной серенады принялась громко сморкаться. По всей видимости, Тильда поняла, что и сегодня ей ничего не добиться. Теплая слизь с громким, почти механическим фырканием вытекала у нее из носа. Тильда всегда была такой — ее тело всегда выделяло много жидкости, причем не только слез. Лишь там, внизу, она оставалась прискорбно сухой и прохладной. И тем не менее она родила мне восьмерых детей.

Я накинул одеяло на голову: мне хотелось спрятаться от этих звуков.

— Уильям, — сухо проговорила она, — я вижу, что ты не спишь.

Я старался дышать по возможности ровно.

— Я вижу это. — Она заговорила громче, но двигаться мне не хотелось. — Тебе придется меня выслушать. — Она особенно громко

шмыгнула носом. — Я была вынуждена рассчитать Альберту. В магазине пусто. И мне пришлось закрыть его.

Нет. Я дернулся. Магазин закрыт? Пустой. Темный. Магазин, который должен был кормить всех моих детей?

Должно быть, от ее взгляда не укрылось, что я пошевелился, потому что она подошла ближе.

— Сегодня мне пришлось взять у лавочника в долг. — Голос по-прежнему звучал сдавленно, словно она в любой момент вновь готова была зарыдать. — Я все купила в долг. И он так смотрел на меня... как будто жалел. Но ничего не сказал. Он все же джентльмен. — Последнее слово утонуло во всхлипах.

Джентльмен. В отличие от меня. Который не вызывал особого восхищения ни у окружающих, ни у собственной супруги. Который просто лежал в постели, позабыв о шляпе, трости, монокле и манерах. Вы только представьте — у него такие ужасные манеры, что он позволил собственной семье скатиться на самое дно.

Сейчас все резко изменилось к худшему. Магазин закрыт, вести дело без меня оказалось им не под силу, несмотря на то что именно от магазина зависело их существование. Еда у них на столе появлялась благодаря семенам, рассаде и луковицам.

Мне следовало подняться, но я не мог, я больше не знал, как это сделать. Кровать обездвижила меня.

Тильде пришлось отступить — сегодня тоже. Она глубоко, прерывисто вздохнула, а потом громко высморкалась напоследок, видимо чтобы убедиться, что в носоглотке не осталось ни капли слизи.

Когда она улеглась в кровать, матрас заскрипел. Почему она до сих пор соглашалась делить постель с моим потным немывтым телом, было выше моего понимания. По сути, это говорило лишь о ее великом упрямстве.

Ее дыхание мало-помалу выравнилось, и немного погодя она уже дышала глубоко и ровно. В отличие от меня.

Я повернулся. Отсветы пламени плясали на ее лице, длинные косы, освобожденные от шпилек, разметались по подушке, верхняя губа наползала на нижнюю, придавая лицу Тильды скорбное выражение, свойственное беззубым старикам. Я рассматривал ее, пытаюсь отыскать то, что когда-то любил и когда-то вождедел, но сон захватил меня прежде, чем мне это удалось.

Джордж

Насчет снега Эмма оказалась права. Уже на следующий день, как ни в чем не бывало, потекли ручьи и закапала капель. Солнце припекало, и краска на южной стене выгорала еще сильнее. Становилось все жарче — температура уже была вполне подходящей для весеннего облета. Пчелы — насекомые чистоплотные, прямо в улей они не гадят, а дожидаются тепла и лишь тогда вылетают на волю, чтобы опорожнить кишечник. Вообще-то мне самому хотелось, чтобы зима отступила именно сейчас, когда Том был дома. Теперь я возьму его с собой на пасеку, и он поможет мне почистить донья. Я даже отпустил Джимми и Рика, чтобы мы с Томом спокойно поработали вдвоем. Но поехали мы туда только в четверг, за три дня до его отъезда.

Неделя прошла спокойно. Больше мы с ним друг дружку не задирали. Эмма следила за нами, смеялась и болтала. Ей, видать, вздумалось непременно угодить своей стряпней Тому, потому что она умудрилась приготовить столько рыбных блюд, что я со счета сбился, а если ей верить, то в магазин вдруг завезли целый вагон всякой «питательной» и «полезной» рыбы. Ну а Том — что ж, он благодарил, улыбался и говорил, что «еда — ну просто объеденье». Проглотив очередное рыбное блюдо, он чаще всего оставался сидеть на кухне — все читал страшноватые толстенные книжки, настукивал чего-то на компьютере или ломал голову над какими-то японскими кроссвордами, которые называл «судоку». Ему, видно, и в голову не приходило пойти прогуляться. Он не замечал, что там, снаружи, солнце жарит так, словно в нем заменили лампочку.

У меня дел хватало — я-то себе занятие всегда найду. Однажды я даже съездил в Отим за краской для дома. Я водил кистью по южной стене, чувствуя, как солнце припекает мне прямо в затылок, и думал, что пора нам, пожалуй, навестить ульи. Донья чистить было еще рано, но иначе Том вообще до них не доберется, так что несколько ульев можно и почистить. В самые жаркие дни пчелы уже вылетали из ульев за пылью.

Прежде ему это нравилось. Он всегда ходил со мной к ульям. Зимой мы с Джимми несколько раз чистили летки, но больше пчел не тревожили, и поэтому осматривать ульи весной всегда было особенно радостно. Вновь увидеть пчел, услышать знакомое жужжание — это все равно что повстречать старого друга.

— Я хочу почистить донья, и мне нужна помощь, — сказал я.

Я уже надел комбинезон, сапоги и стоял на пороге и от радости едва не приплясывал. Маску я поднял, иначе она сильно мешалась. Я приготовил дополнительный комплект одежды и теперь протягивал ее Тому.

— Что, прямо сейчас? — Он даже не взглянул на меня. Его движения были медленными и вязкими, прямо как мед, а сам он, бледнющий, сидел за компьютером, положив руки на клавиатуру.

Я вдруг заметил, что как-то чересчур торжественно протягиваю ему спецодежду, точно предлагаю подарок, который ему не хочется брать. Я сунул одежду под мышку, оттопырив локоть.

— Донья за зиму начинают гнить, и ты об этом знаешь. В дерьме жить никому не хочется. Ты тоже вряд ли в восторг пришел бы, хотя ваши студенческие общежития — та еще дыра.

Я было засмеялся, но вышло лишь какое-то сдавленное кваканье. К тому же рука у меня неестественно упиралась в бедро, я опустил ее, и она безжизненно повисла. Я все никак не мог придумать, куда ее девать, и поэтому принялся чесать ею лоб.

— А не рано еще? Ты же обычно их чистишь недели на две позже, разве нет? — Он оторвался от компьютера и теперь смотрел своими ясными глазами на меня.

— Нет.

— Папа...

Он видел, что я хитрю, одна бровь его поползла вверх, отчего в нем появилось что-то ехидное.

— Уже жарко, — поспешно добавил я, — и я только парочку собирался почистить. А остальное уж потом, когда ты уедешь. Попрошу тогда Джимми и Рика мне помочь.

Я опять протянул ему костюм и шляпу, но Том их не взял, да и вообще особо не рвался. Он лишь кивнул на экран:

— Мне надо одно здание сделать, по учебе кое-что.

— А ты разве не на каникулах?

Я свалил одежду на стол прямо перед ним и посмотрел на него. Я надеялся, что мои глаза говорят: приходи и помоги мне, когда тебе будет удобно.

— Жди меня на улице — через пять минут буду.

* * *

Всего ульев было 324. И 324 матки — каждая со своим роем. У

каждого улья имелось свое место, причем больше двадцати рядом я редко ставил. А живи мы в другом штате, нам и семьдесят ульев в ряд можно было бы выставить. Я когда-то знал одного пчеловода в Монтане, так у него почти сто ульев на одной поляне стояло. Всего в десяти метрах от улья пчелы находили все, что им требовалось, — столько там было вокруг всякой растительности. Но здесь, в Огайо, сельское хозяйство отличалось завидным однообразием: на многие мили тянулись поля кукурузы и соевых бобов. Нектара у них мало, а когда нектара мало, то и питаться пчелам нечем.

Вот уже много лет Эмма красила ульи в яркие леденцовые цвета — розовый, бирюзовый, лимонный и ядовито-салатовый, такой же искусственный, как конфеты со всякими усилителями вкуса. Эмма считала, что этак веселее смотреться. По мне, лучше б они оставались белыми, как прежде. Мой отец всегда красил их в белый, а до этого так делали его отец и дед. Главное — это то, что внутри, в самом улье, — так все они говорили. Но Эмма вбила себе в голову, что веселые расцветки пчелам понравятся больше — у каждого роя особенный улей. Хотя кто ее знает — может, она и права. И, признаюсь, на сердце у меня теплело, когда я видел вдали на лугу огромные разноцветные кубики, похожие на рассыпанные великаном леденцы.

Мы отправились на луг, зажатый между фермой Ментонов, шоссе и узенькой рекой Алабаст-Ривер, которая, несмотря на красивое название, здесь, на юге, представляла собой всего лишь тонкий ручеек. Тут обитало мое главное богатство. Двадцать шесть пчелиных роев. Начать мы решили с улья, выкрашенного в ярко-розовый. Все-таки хорошо работать вдвоем. Том поднимал ульи, а я вытаскивал донья и менял старые, полные зимней грязи и дохлых пчел, на новые, чистые. В прошлом году мы раскошались на современные донья с сеткой и вкладышем. Обошлись они нам недешево, но того стоили — улей с таким дном лучше проветривался и чистить его было проще. Большинство пчеловодов в те времена считали сменные донья роскошью, но мне хотелось, чтобы мои пчелы жили и радовались.

После зимы донья были совсем грязными, но в остальном все шло неплохо. Работали мы быстро, а пчелы вели себя спокойно и почти не вылетали из ульев. На Тома было приятно посмотреть, так уверенно он двигался. К этой работе сын с детства привык. Иногда он забывался и нагибался, но я тут же одергивал его:

— Ногами! Присел и поднял!

Среди моих знакомых немало было тех, кто полжизни поднимал тяжести не так, как следовало бы, а оставшиеся полжизни мучился от

пролапса, прострела и боли в спине. А Тому придется в жизни немало тяжестей потаскать, поэтому спину нужно беречь смолоду.

До обеда мы работали без перерыва, разговаривали мало, едва парой слов перебросились, и только по делу.

— Перехвати вон там, ага, спасибо.

Я все ждал, когда он решит передохнуть, но он про отдых и не вспоминал. А в половине двенадцатого в животе у меня заурчало и я сам предложил перекусить.

Мы уселись с краю на кузов грузовичка, пили кофе из термоса, жевали бутерброды и болтали ногами. Пористый, похожий на губку хлеб насквозь пропитался арахисовым маслом, намок и лип к рукам, но, когда поработаешь хорошенько, да еще и на свежем воздухе, тебе все вкусно. Том молчал. Мой сын не мастер просто поболтать. Ну что ж, если ему так больше нравится, то я не против. Главное, мне удалось вытащить его сюда, и я надеялся, что ему все это тоже по душе.

Наевшись, я спрыгнул на землю и уже собрался было вернуться к ульям, но Том что-то замешкался — все никак не мог последний бутерброд осилить, откусывал по крошке и время от времени подозрительно вглядывался в него.

А потом он вдруг выдал:

— У меня очень хороший преподаватель по английскому.

— Вон оно что. — Я замер и попытался улыбнуться, вот только внутри у меня все сжалось, хотя, казалось бы, чего он такого сказал. — Это ж отлично.

Том откусил еще кусок. Жевал его, жевал и никак не мог проглотить.

— Он говорит, чтобы я больше писал.

— Больше? И что же ты должен писать?

— Говорит, что... — Том отложил бутерброд, взял кружку с кофе, но пить не стал. Я заметил, что рука у него слегка подрагивает. — Он говорит, что у меня есть голос.

Голос? Что за чушь. Я ухмыльнулся. Нельзя же воспринимать подобное всерьез.

— Я это всю дорогу знал, — сказал я, — особенно когда ты совсем маленький был. У тебя такой голос был, что оглохнуть можно. Хорошо, что он у тебя вовремя сломался.

Но моя шутка его не развеселила. Том ничего не ответил.

Ухмылка сползла с моего лица. Том явно силился что-то сказать, его просто распирало, но во мне росла уверенность, что слышать этого я не хочу.

— Значит, учителя тебя хвалят. Это хорошо, — сказал наконец я.

— Он очень рекомендует мне писать больше, — тихо проговорил Том, особо выделив слово «очень». — И еще сказал, что я могу получить стипендию и двигаться дальше.

— Дальше?

— Над диссертацией работать.

Грудь у меня сдавило, горло перехватило, а во рту появился тошнотворный привкус арахисового масла. Я попробовал сглотнуть, но у меня не вышло.

— Ясно. Вот, значит, что он сказал... — Том кивнул. Я попробовал говорить спокойно: — А сколько лет уйдет на такую диссертацию? — Он сидел молча, уставившись на собственные ботинки. — Я-то ведь не молодею, — продолжал я, — а работа тут сама не делается.

— Да, я знаю, — тихо проговорил он, — но у тебя же есть помощники?

— Джимми и Рик — они сами по себе, приходят и уходят, когда хотят. Это не их пасека. К тому же они на меня не бесплатно работают.

Я вернулся к ульям, собрал грязные донья и положил их в кузов. Деревянные донья глухо ударились о металл. Учителя и прежде говорили нам, что пишет Том неплохо. По английскому он всегда ходил в отличниках, так что с головой у него все было в порядке. Вот только, отправляя его в колледж, про английский мы особо не задумывались. Нам хотелось, чтобы его обучили экономике, маркетингу, еще чему-нибудь наподобие, чтобы в будущем ферма не вылетела в трубу. Чтобы Том расширил дело и наладил хозяйство. И, возможно, сделал бы хороший сайт в интернете. Вот этому его должны были научить. Для этого мы откладывали ему на колледж с тех самых времен, когда он еще под стол пешком ходил. За все эти годы мы ни разу толком в отпуск не съездили — все свободные деньги складывали на специальный счет для колледжа.

Этот учитель английского — что он вообще знает? Сидит небось в пыльном кабинете, забитом книжками, которые он якобы прочитал, пьет чай и рассказывает в шарфе, а бороду подстригать ходит в парикмахерскую. Раздает «добрые» советы молодым паренькам, которые совершенно случайно что-то неплохо написали, а на последствия ему плевать.

— Потом об этом поговорим, — сказал я.

Но до отъезда Тома мы так и не поговорили. Я решил, что до «потом» у нас еще уйма времени. Или, может, это он сам так решил. Или Эмма. Пока он был дома, мы с ним ни разу не остались наедине, Эмма все хлопотала и суежилась вокруг нас, точь-в-точь бешеная наседка, кормила,

накрывала на стол, убиралась и все болтала и болтала.

Я за эти дни что-то совсем умаялся. Даже засыпать стал прямо на диване. Дел было невпроворот: старые ульи требовали ремонта, заказы сыпались со всех сторон. Но силы вдруг куда-то подевались, а ощущение было такое, словно у меня жар. Но на самом деле не было у меня никакого жара, я даже температуру померил — заперся в ванной и отыскал в аптечке термометр. Голубой, с нарисованными на нем медвежатами. Эмма купила его давным-давно для Тома, когда тот был совсем крохой. В инструкции я прочитал, что, мол, такой термометр очень быстрый и ребенок не будет мучиться дольше положенного. Однако у меня с термометром не заладилось и ждать пришлось довольно долго. До меня доносилось приглушенное воркование Эммы и голос отвечавшего ей Тома. А я стоял враскоряку в ванной с металлическим градусником в заднице, который до этого по меньшей мере раз сто побывал в попе моего малолетнего сына. Эмма, вообще, чуть что — сразу бросалась мерить температуру. Меня вдруг охватило отчаяние, а потом запищал градусник, сообщивший на своем электронном языке, что с моим телом все в порядке, хотя чувствовал я себя так, будто пробежал марафон. Или, по крайней мере, мне казалось, что у бегунов именно такое ощущение и бывает.

Хотя температуры у меня не было, я пошел и лег, никому ничего не сказав. Обойдусь как-нибудь без меня.

Эмма не умолкала, пока Том не сел в автобус на станции и не помахал нам в окно рукой. Физиономия у него прямо-таки светилась от радости. Ну а Эмма наконец успокоилась.

Мы махали ему руками, точно заводные куклы, руку вверх — вниз, вверх — вниз, одновременно. Глаза у Эммы заблестели, впрочем, может, и от ветра, но она, к счастью, не разревелась.

Автобус свернул на шоссе, а лицо Тома постепенно сделалось совсем маленьким. Я вспомнил вдруг тот, другой раз, когда он уезжал от меня на автобусе. Тогда на его лице тоже читалось облегчение. И еще страх.

Я помотал головой, отгоняя это воспоминание.

Автобус наконец скрылся за поворотом. Мы одновременно опустили руки, не сводя глаз с того места, где его не стало видно, будто по глупости ожидая, что он вдруг появится вновь.

— Да, — проговорила Эмма, — ну вот и все.

— Все? Это ты о чем?

— Жизнь дает нам их взаймы. — Она вытерла слезу, которую ветер смахнул с ее левого глаза на щеку.

Меня так и подмывало сказать что-нибудь едкое, но я смолчал,

проникшись к той слезе нешуточным уважением. Я просто развернулся и зашагал к машине. Эмма заспешила следом, тоже слегка понурившись.

Я уселся за руль, но больше ничего сделать не смог. Я так долго махал рукой, что теперь она совсем ослабела.

Эмма пристегнулась — с этим у нее было строго — и повернулась ко мне:

— А чего мы не едем?

Я попытался поднять руку, но не вышло.

— Он с тобой об этом говорил? — спросил я, глядя на руль.

— О чем?

— О том, чего ему хочется. О будущем.

Она немного помолчала. А потом тихо сказала:

— Он обожает писать — ты же знаешь. И всегда так было.

— А я обожаю «Звездные войны». Но джедаем-то я от этого не стал.

— У него, наверное, какой-то особый талант.

— Так ты его поддерживаешь? По-твоему, он все отлично придумал, да? И так разумно? Прекрасный жизненный выбор? — Я повернулся к ней, выпрямился, стараясь выглядеть суровым.

— Мне просто хочется, чтобы он был счастлив, — ответила она.

— Хочется, значит.

— Да.

— Ведь ему надо на что-то жить. Зарабатывать. С этим что будет?

— Но учитель же сказал, что что-нибудь придумает. Она смотрела на меня, широко раскрыв глаза, и говорила совершенно искренне, ничуть не сердилась, потому что ни на секунду не сомневалась в собственной правоте.

Я сидел, стиснув в руке ключи от машины, и только сейчас вдруг почувствовал боль, однако ослабить хватку не получалось.

— А с фермой что станется? Об этом ты подумала? Она молчала. Долго. Отвела взгляд, погладила пальцами обручальное кольцо, сдвинула его чуть вверх, обнажив белую полоску, появившуюся там за двадцать пять лет.

— Нелли на прошлой неделе звонила, — сказала наконец она, но смотрела при этом не на меня, а вперед. — В Галф Харборс сейчас уже тепло, как летом. И вода в море — двадцать градусов.

Вот оно! Опять! Галф-Харборс. Название этого поселка обухом било меня по голове каждый раз, когда она упоминала его.

С Нелли и Робом мы дружили с самого детства. К нашему несчастью, они переехали во Флориду, и с тех пор уговорам конца не было: они не

только ждут нас в гости в этом райском уголке неподалеку от Тампы, нет! Мы теперь просто обязаны туда насовсем переехать! Эмма то и дело подсовывала мне рекламу жилья в Галф-Харборс. Очень дешевого. Которое уже давно продавалось. Настоящий подарок! Дома с собственным причалом, бассейном, только что отремонтированные, выход на общий пляж и теннисный корт. Да сдался он нам, корт этот... Да, там и дельфины водятся, и дюгони — голову из окна высунешь, а они тебе уже лапами машут! Да кому они вообще нужны, дюгони эти? Как по мне, так уродливее зверя не сыскать!

Нелли и Роб ужасно хвастались. У них, мол, появилась целая толпа новых друзей. И сыпали именами: Лори, Марк, Ранди, Стивен. Я в них совсем запутался. Каждую неделю они все вместе отправлялись в местный дом культуры на завтрак — дескать, платишь пять долларов и получаешь кучу еды, тут тебе и блины, и бекон, и яйца, и жареная картошка. И нас они тоже уговаривали перебраться к ним поближе, впрочем, не только нас — они, видать, решили весь Отим перетащить во Флориду. Но я-то понимал, в чем суть. Там, на берегу глубоководного канала, Робу с Нелли было ужасно одиноко. Жить вдаль от семьи и друзей непросто, и еще сложнее взять и уехать от всего, к чему за целую жизнь привык. К тому же лето во Флориде — самый настоящий ад. Духота, жарница и жуткие грозы по нескольку раз за день. Зимой-то там наверняка вполне терпимо, но после такого лета каждому захочется нормальной зимы, со снегом и морозцем. Эмме я об этом сто раз уже говорил, но она не сдавалась. Твердила, что пора нам сесть и решить, как мы будем жить в старости. Она все никак не могла понять, что я-то уже решил. Мне хотелось оставить после себя что-нибудь путное, наследство, а когда у тебя на старости лет только и есть, что древняя развалюха, которую и продать-то сложно, — это последнее дело. Да-да, я тоже почитал кое-что про рынок недвижимости во Флориде. Изучил вопрос, так сказать. И понял, что вовсе не случайно эти распрекрасные дома не разлетелись как горячие пирожки в первые же дни после того, как их выставили на продажу.

Нет, у меня был совсем другой план. Надо будет вложиться в ульи. Много ульев, намного больше, чем сейчас. Купить грузовик и несколько прицепов. Нанять постоянных работников. Заключение договоры с фермами в Калифорнии, Джорджии и, может, даже во Флориде.

И Тома привлечь.

Хороший у меня был план. Здравый и разумный. Том и оглянуться не успеет, как обзаведется женой и ребенком. И тогда мой план сработает: пчелы будут приносить доход, а Том к тому времени обучится вести дела.

Возможно, нам даже удастся скопить немного денег. Времена сейчас ненадежные, а мне нужна уверенность. Лишь благодаря мне одному у этой семьи есть будущее. Но похоже, что никто, кроме меня, этого не понимает.

Сейчас, обдумывая этот план, я чувствовал усталость. Прежде он придавал мне сил и заставлял работать еще больше, но сейчас путь, который нам предстояло пройти, казался долгим и неудобным, похожим на дорожную колею, размытую осенним дождем.

Эмме я ничего не ответил — сил не было. Но я наконец-то вставил мокрый от пота ключ в зажигание. От ключа на ладони у меня осталась отметина. Пора ехать, иначе я просто засну. Эмма не смотрела на меня, она сняла обручальное кольцо и потирала белую полоску на пальце. Эмме никогда не удавалось меня обхитрить, но сейчас она готова была поставить на кон всю нашу жизнь.

Тао

— Может, выключишь свет? — Куань повернулся ко мне, бледный от усталости.

— Сейчас, только дочитаю. — Я вновь уткнулась в старую книгу о воспитании маленьких детей. Глаза резало, но спать мне пока не хотелось. Не хотелось засыпать, просыпаться и начинать новый день.

Он вздохнул и с головой накрылся одеялом. Прошла еще минута. Две.

— Тао... Я тебя очень прошу. Нам через шесть часов вставать.

Я не ответила, но просьбу его выполнила.

— Спокойной ночи, — тихо сказал он.

— Спокойной ночи. — Я отвернулась к стене.

Я почти провалилась в сон, когда почувствовала под ночной рубашкой его руки. Я инстинктивно оттолкнула их, хотя его прикосновения мне нравились. Разве он не устал? Зачем он просил меня выключить свет, если ему хотелось этого? Он убрал руки, но дышал по-прежнему быстро и прерывисто. Потом он кашлянул, словно подавив в себе что-то.

— У тебя... у тебя сегодня все в порядке было?

— В смысле?

— Ты забыла, какой сегодня день.

— Нет, не забыла.

Об этом я молчала весь вечер, надеясь, что он сам забудет и мне не придется это обсуждать. Он погладил меня по голове — на этот раз просто ласково, без вожделения.

— Ты как?

— С каждым годом немного легче, — ответила я, зная, что он, скорее всего, хочет услышать именно это.

— Очень хорошо.

Он еще раз провел рукой по моим волосам, а потом рука исчезла под его одеялом. Матрас чуть приподнялся — видимо, Куань, по своему обыкновению, перевернулся на живот. Затем он вновь пробормотал: «Спокойной ночи». Судя по голосу, он отвернулся в другую сторону, а вскоре уже крепко спал.

А я нет.

Пять лет.

Пять лет назад моя мама уехала.

Нет. Не уехала. Ее выслали.

Мой отец умер, когда мне было девятнадцать. Самому ему было тогда чуть за пятьдесят, но чувствовал он себя не по возрасту плохо. Плечи, спина, связки — годы на деревьях ничего не пощадили. С каждым днем двигаться ему становилось все труднее. Наверное, кровообращение тоже нарушилось, потому что когда однажды отец загнал в руку занозу, вылечить рану уже не смогли.

Он долго отказывался идти к врачу. Спустя еще какое-то время врач добился разрешения выписать антибиотики, хотя старикам таких дорогостоящих препаратов обычно не выписывали. Но было уже поздно.

После его смерти мама на удивление быстро оправилась от потрясения. Она разумно рассуждала и с надеждой смотрела в будущее. Она еще не старая, и у нее вся жизнь впереди — мама храбро улыбалась, когда говорила это. Возможно, она даже замуж успеет еще раз выйти.

Но все это было лишь на словах. В жизни же она вяла, как соцветия, когда сезон цветения заканчивается. Взгляд ее напоминал ветер — поймать его было невозможно.

Вскоре она уже не могла ходить на работу и сидела дома. Мама и прежде была худой, а сейчас вообще почти перестала есть. Она начала кашлять, чихать, становилась все слабее и в конце концов заболела воспалением легких.

Однажды, когда я пришла навестить ее, она не открыла. Я долго звонила, но без толку. У меня были запасные ключи, поэтому я отперла дверь и вошла в квартиру.

Внутри все было чисто и прибрано, но из вещей осталась только старая мебель, принадлежавшая владельцам здания. Все мамины вещи исчезли — подушка, которую она подкладывала под спину, когда сидела на диване, деревце бонсай, за которым она так ухаживала, вышитое одеяло, которое складывала пополам, укрывая ноги, будто они у нее особенно мерзли.

В тот же вечер я узнала, что маму отправили на север. Наш региональный врач заверил меня, что маме там хорошо, и сказал, как называется лечебница, куда ее поселили. Мне даже показали снятый там небольшой ролик. Светло и красиво, просторные комнаты, высокие потолки и дружелюбный персонал. Но когда я попросила разрешения навестить ее, мне велели подождать, пока сезон цветения не кончится.

Спустя еще несколько недель мне сообщили, что она нас покинула.

Покинула. Именно так они и сказали. Словно она действительно встала с кровати и ушла. О ее последних днях я старалась не думать. Удушливый кашель, озноб, страх и одиночество. Почему она умерла

именно так?

Но изменить что-либо было мне не под силу. Куань тоже так говорил. Я ничего не могла изменить. Он говорил это снова и снова, и я тоже постоянно говорила себе эти слова.

Пока почти не поверила.

Уильям

— Эдмунд?..

— Добрый вечер, отец.

Он стоял возле моей кровати, один. Сколько он находился в комнате, я не знал. Он изменился, стал выше, и в прошлый раз его нос показался мне чересчур крупным. В молодости носы растут в своем собственном темпе, опережая тело, но сейчас лицо тоже выросло и нос перестал так сильно выделяться на нем. Эдмунд стал красивым, эта красота всегда пряталась в нем. И оделся он элегантно, хоть и слегка небрежно: шарф цвета зеленого бутылочного стекла свободно спадал на грудь, челка была чуть длинновата — она хоть и красила его, но скрывала глаза. Ко всему прочему, он был бледен. Он что, не выспался?

Эдмунд, мой единственный сын. Единственный сын *Тильды*. Я довольно быстро понял, что этот мальчик безоговорочно принадлежит ей. С того самого первого дня, когда мы познакомились, Тильда не скрывала, что сильнее всего мечтает о сыне, так что, родив Эдмунда, она выполнила свое предназначение. Доротея, Шарлотта, а потом и остальные пятеро девочек навсегда остались в его тени. Я по-своему понимал ее. Семеро дочерей стали причиной постоянной головной боли. Их вечный визг, плач, хныканье, беготня, суматоха, кашель, смех, нытье и болтовня (даже такие маленькие девочки умеют изливать слова неразборчивым потоком) — я находился в плену этих звуков с раннего утра до позднего вечера, и даже ночью они не отпускали меня. Кто-нибудь непременно плакал, увидев страшный сон, кто-нибудь из них, одетый лишь в ночную сорочку, непременно приходил к нам в спальню, шлепая босыми ногами по холодному полу, и забирался в кровать, порой жалобно всхлипывая, а порой почти сердито расталкивая нас, чтобы улечься между нами.

Вероятно, они просто не могли не шуметь, и поэтому я лишился возможности работать, возможности писать. Ведь я действительно пытался, я не сразу отчаялся и махнул рукой на науку — здесь Рахм ошибался. Однако все мои попытки оказались тщетными. Я закрывал дверь в кабинет, строго заявляя домашним, что отец должен работать, а они обязаны проявлять уважение к его работе. Я обвязывал голову шарфом, дабы приглушить звуки, или набивал уши ватой, однако звуки не исчезали. Ничего не помогало. Шли годы, и у меня оставалось все меньше времени на собственные исследования, и вскоре я обратился в самого рядового

торговца, чья единственная жизненная цель состояла в том, чтобы прокормить прожорливых и, казалось, ненасытных дочерей. Многообещающий биолог отступил, а его место занял изможденный, стареющий торговец семенами с уставшими от долгого стояния за прилавком ногами, голосом, охрипшим от бесконечных разговоров с покупателями, и пальцами, привыкшими пересчитывать деньги, которых вечно не хватало. И виной всему — маленькие девочки и производимый ими шум.

Эдмунд стоял неподвижно, будто парализованный. Прежде его тело напоминало море возле берега — ветер и волны, тревожные и беспорядочные. Это беспокойство было не только внешним — оно сидело в его душе. Никакому порядку он не подчинялся. Он мог показать себя добрым и великодушным мальчиком и принести ведро воды, а в следующую секунду вылить это ведро на пол, чтобы, если верить его собственным словам, получилось озеро. Увещевания не имели над ним власти. Когда мы повышали на него голос, он смеялся и убегал. Вечно в движении — таким он мне запомнился. Его крошечные ножки не знали покоя, он всегда старался сбежать подальше от своей очередной проказы, от перевернутого ведра, от разбитой фарфоровой чашки, распущенного вязанья. Когда подобное случалось — а случалось это нередко, — у меня не оставалось иного выбора, кроме как изловить его. Схватив сына, я вытаскивал ремень. Со временем я проникся ненавистью к шороху, с которым кожа терлась о ткань, к стуку металлической пряжки о пол. Ожидание было даже хуже самого наказания. Я брался за пряжку, вцеплялся в нее, этим концом ремня я никогда не бил, в отличие от моего отца — тот непременно старался впечатать пряжку мне в спину. Сам же я стискивал ее в ладони, так что потом оставались красные отметины. Темный ремень опускался на голую спину, и на белой коже расцветали красные полосы, похожие на стебли лиан. Других детей наказание успокаивало, а воспоминания о нем надолго застревали в их головах, предотвращая подобные ошибки в будущем. Но не Эдмунда. Он словно не понимал, что все его шалости приведут к ремню, и не видел взаимосвязи между озером на полу и поркой. Тем не менее я считал своим долгом наказывать его и надеялся, что сын чувствует и мою любовь, понимая, что у меня не остается иного выхода. Я наказывал — следовательно, был хорошим отцом. Я порол его, давясь рыданиями, обливаясь потом и стараясь унять дрожь в руках. Я хотел выбить из него беспокойство, но тщетно.

— Где все остальные? — спросил я, потому что дом показался мне на

удивление тихим.

И тотчас же пожалел о том, что спросил. К чему мне другие — сейчас, когда он наконец зашел ко мне? Сейчас, когда мы с ним наедине?

Эдмунд слегка покачивался, точно не мог решить, на какую ногу перенести тяжесть тела.

— В церкви.

Значит, сегодня воскресенье...

Я попытался привстать, чуть приподнял одеяло, и в нос мне ударило мое собственное зловоние. Когда же я в последний раз мылся?

Впрочем, даже если Эдмунд что-то и заметил, то вида не подал.

— Ну а ты? — спросил я. — Почему ты сам остался дома?

Это прозвучало как обвинение, хотя на самом деле мне следовало поблагодарить его. Он не смотрел на меня — сидел, уставившись в стену над кроватью.

— Я... я надеялся, что смогу поговорить с тобой, — в конце концов проговорил он.

Я медленно кивнул, силясь скрыть бесконечное счастье от того, что вижу его.

— Хорошо, — сказал я, — очень рад, что ты пришел, я долго этого ждал.

Я попытался выпрямиться, но мои кости будто бы разучились поддерживать тело, и мне пришлось облокотиться на подушку. И даже для этого мне пришлось приложить усилия. Я подавил желание натянуть одеяло до самой шеи, чтобы приглушить запах. Зловоние, исходящее моим телом, было невыносимо. Почему я прежде не замечал, что мне необходимо принять ванну? Я провел рукой по лицу. Щетина, как всегда, густая, отросла на несколько сантиметров и превратилась в клокастую бороду. Я наверняка походил на пещерного человека.

Эдмунд посмотрел на мои ноги, торчащие из-под одеяла. Ногти были длинными и грязными. Я быстро втянул ноги под одеяло и сел.

— Так о чем, Эдмунд, ты хотел со мной поговорить?

Он старался не встречаться со мной глазами, однако вопрос задал без малейшего смущения:

— Скоро ли отец оправится от недуга?

Краска стыда бросилась мне в лицо. Тильда просила. Девочки просили. Доктор просил. Но Эдмунд — впервые...

— Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты пришел, — сказал я, готовый вот-вот разрыдаться. — Я так хотел бы все объяснить!

— Объяснить? — Он провел рукой по волосам. — Мне не нужны

объяснения. Я лишь хотел попросить тебя встать с постели.

Как я мог ему ответить? Чего он ожидал от меня? Я похлопал ладонью по матрасу, приглашая его присесть.

— Садись, Эдмунд. Давай поболтаем. Чем ты в последнее время занимался? (Он не сдвинулся с места.) Расскажи мне про учебу. Голова у тебя светлая, поэтому, надеюсь, в школе ты делаешь успехи?

Он ждал осени, готовился к ней, ведь именно осенью начиналась его учеба в столице. На учебу ему мы долго откладывали, но сейчас она, наверное, уже шла полным ходом. У меня вдруг кольнуло в груди. Деньги на учебу, наши накопления — а вдруг, пока я лежал тут, Тильда их потратила?

— Надеюсь, все идет своим чередом? Учеба тебе легко дается? — быстро спросил я.

Он кивнул — впрочем, без особой радости.

— Да, когда есть вдохновение.

— Хорошо! От вдохновения многое зависит. — Я протянул ему руку: — Садись же. Давай побеседуем по душам. Я так по тебе соскучился.

Но он не сдвинулся с места.

— Мне... мне надо идти.

— Всего несколько минут? — Я старался, чтобы голос мой звучал легко и непринужденно.

Он мотнул головой, отбросив челку, но на меня так и не посмотрел.

— Я должен заниматься.

Мне было приятно слышать, что он готовится к занятиям, и тем не менее — раз уж он пришел навестить меня — почему бы не уделить мне чуть больше времени?

— Мне просто хочется побыть рядом с тобой, — умолял я. — Всего минутку!

Он едва слышно вздохнул, но подошел ближе, присел на краешек кровати и протянул мне руку.

— Спасибо, — тихо сказал я.

Его рука была теплой и гладкой. От нее словно струился волшебный свет, она была мостиком, по которому до моего тела добралась здоровая кровь сына. Мне хотелось сидеть так вечно, но я уже видел в Эдмунде признаки его вечного беспокойства. Рука подергивалась, он заерзал и шаркнул ногами.

— Прости, отец. — Эдмунд резко поднялся.

— Ничего, — ответил я, — тебе не стоит извиняться. Я все понимаю. Тебе нужно заниматься — это ясно.

Он кивнул, не отрывая взгляда от двери. Ему хотелось поскорее покинуть меня, опять обречь на одиночество.

Он сделал несколько шагов, но потом вдруг остановился, будто вспомнив о чем-то, и повернулся ко мне:

— Послушай, отец... Когда у тебя вновь появится желание подняться с кровати?

Я сглотнул слюну. Эдмунд достоин честного ответа.

— Не в желании дело... Страсть, Эдмунд. Ее я утратил.

— Страсть? — Он поднял голову. Вероятно, это слово навело его на определенные мысли. — Значит, нужно вновь обрести ее, — поспешно проговорил он, — и позволить ей вести тебя дальше.

Я был не в силах сдержать улыбку. Такие высокие слова в устах беспокойного мальчика.

— Без страсти мы ничто, — сказал он с грустью, которой я никогда прежде не замечал в нем.

Не проронив больше ни слова, он вышел из комнаты. Я вслушивался в поскрипыванье досок под его ногами, а потом затихло и оно. Но, несмотря ни на что, мне казалось, что еще никогда раньше мы с ним не были так близки.

Рахм оказался прав: я пожертвовал страстью ради мирской суеты. И Рахма я потерял, потому что не проявлял страсти к своему занятию. Однако Эдмунд остался со мной, я по-прежнему мог доказать ему что-то, заставить его гордиться. Таким образом мы станем ближе друг другу. Я спасу честь семьи, и наша близость принесет плоды. Возможно, я даже вновь завоюю расположение профессора Рахма и нас станет трое: отец, сын и наставник.

Я перевернулся набок, сбросил одеяло с моего зловонного тела и встал. На этот раз окончательно.

Джордж

Я закрылся в мастерской — сооружал новые ульи, как обычно и бывает в это время года. Весна двигалась к нам семимильными шагами, природа готова была вот-вот одеться в зеленое, а все вокруг только и ахали — какая, мол, повсюду красота, да как приятно понежиться под солнышком. Я же сидел в мастерской, под потрескивающими лампами, и как чокнутый строгал и заколачивал гвозди. В этом году я просиживал там дольше обычного. После того как Том уехал, мы с Эммой разговаривали мало. Я почти все свободное время проводил в мастерской — вроде как побаивался вступать с ней в спор. Язык у нее подвешен получше моего — с женщинами такое часто бывает, — и она нередко добивалась, чего хотела. Да и если вдуматься, частенько она бывала права. Вот только не в этот раз. Уж тут-то я в своей правоте не сомневался.

Впрочем, я все равно прятался в мастерской, именно поэтому. Просиживал там с утра до вечера. Чинил старые ульи и мастерил новые. Не такие, как у всех, нет, ульи в нашей семье были особые. Их чертежи, вставленные в рамочку, висели на стене в столовой — это Эмма в свое время постаралась. Эти чертежи она отыскала на чердаке, в сундуке со старым тряпьем, они валялись там, потому что в моей семье все и так наизусть помнили мерки. Сам же сундук был древний, настоящий антиквариат, и пожелай мы — могли бы выручить за него кругленькую сумму. Но мне этот сундук грел душу, напоминал о моих предках, о корнях. Сундук приехал из Европы, когда первый из моих здешних предков ступил на американскую землю. Точнее, первая. Это была одинокая женщина. Ей это все и принадлежало — и сундук, и чертежи.

Бумага пожелтела и крошилась, но Эмма заказала для чертежей массивные позолоченные рамки со стеклом и спасла их. Она даже повесила их так, чтобы на них не падали солнечные лучи.

Мне эти чертежи все равно были без надобности. Я уже столько ульев сколотил, что даже ослепни я — руки все равно вспомнили бы. Некоторые даже смеялись над нами: кроме нас, никто из пчеловодов не изготавливал ульи вручную. Слишком много с ними возни. Ну, так уж у нас заведено. Это наши ульи. Я особо об этом не распространялся и хвастаться не хотел, но никогда коридор не сомневался, что в наших ульях пчелам живется намного лучше, чем в обычных, фабричных. Поэтому пусть себе смеются сколько влезет.

Инструменты я приготовил заранее, и толстые пахучие доски — тоже.

Начал я с каркасов. Электропилой выпилил планки нужного размера и резиновым молотком подогнал их друг к дружке. Дело шло споро, и результат был виден почти сразу. А вот с рамками я возился подолгу. На каждый улей приходилось по десять рамок. Единственное, что мы покупали в готовом виде, — это металлическую разделительную сетку для пчелиной матки с ячейками шириной в 4,2 миллиметра. Матка через такие ячейки пролезть не могла, а более мелкие рабочие пчелы с легкостью передвигались по улью. Да, кое-какие мелочи мы все-таки покупали.

Работа гнала сон. В прохладной мастерской, где в воздухе летала похожая на снежинки деревянная стружка, усталость отступала. К тому же под сердитые завывания электропилы все равно не уснешь. Вообще-то я всегда работал в наушниках, но сейчас надевать их не стал, позволив шуму заполнить голову — так в ней больше ни для чего места не оставалось.

Как пришла Эмма, я и не заметил. Возможно, она там долго стояла и смотрела на меня, во всяком случае, наушники надеть успела. Я заметил ее, когда повернулся взять пару реек. Эмма стояла в огромных желтых наушниках и улыбалась.

Я выключил пилу.

— Ты чего?

Но она лишь показала на свои наушники и слабо покачала головой. Понятно. Она меня не слышит. Мы стояли и глядели друг на друга, а она улыбалась. Эту улыбку я бы ни с какой другой не спутал. Женщины часто болтают про климакс, приливы, потливость и — да, от моих ушей это тоже не укрылось — про то, что больше им ничего не хочется. Однако Эмма оставалась такой, как прежде. А сейчас она стояла там, надев наушники, и что у нее на уме, догадаться было нетрудно.

Давненько мы этим не занимались, по нашим меркам — целую вечность. Последний раз был еще до приезда Тома. Пока он тут жил, мы стеснялись — боялись, что он услышит, словно Том по-прежнему был малышом и спал в нашей комнате. Каждый раз, ложась в постель, мы переходили на шепот, накрывались одеялом и читали перед сном книжки. А после его отъезда я про это вообще и думать забыл.

Эмма обняла меня и, закрыв глаза, поцеловала в губы.

— Я... не знаю, — сказал я. Мое тело сделалось каким-то неуклюжим и неповоротливым. — Я что-то устал.

В ответ она улыбнулась и вновь показала на наушники. Я попытался снять их, но она оттолкнула мою руку. Мы стояли рядом, я держал ее за руку, а Эмма все улыбалась.

— Ладно. — Я достал еще пару наушников. — Хочешь вот так, да?

Я вдруг будто ожил. Нет, тишина не наступила, даже когда я нацепил наушники, — ни одни наушники не в силах заглушить звон в ушах, дыхание и стук сердца.

Мы поцеловались, ее язык был мягким, а рот — теплым. Я усадил ее на верстак, так что ее лицо оказалось напротив моего. В мастерской было холодно, и когда мои ледяные пальцы коснулись ее кожи, Эмма вздрогнула, но не оттолкнула меня. Я немного подышал на пальцы, но, видно, так и не согрел их толком, потому что, когда я засунул руки ей под свитер, она задрожала. Она откинулась назад, ноги болтались на весу, и я поцеловал ее в живот, но она подтолкнула мою голову вниз. Когда мой язык проник внутрь, ее тело затряслось. Возможно, она застонала, но этого я не слышал.

Потом мы оба залезли на верстак. Она сверху. Все закончилось довольно быстро — уж слишком там было холодно, а столешница показалась мне чересчур жесткой.

После Эмма сняла наушники, надела брюки и заправила в них футболку. Я и сказать ничего не успел, как она уже скрылась за дверью. А ее тепло осталось, горячим облаком повиснув над верстаком.

Галф-Харборс. Это название, оно вернулось. Галф-Харборс. Мой мозг месил эти слова, будто тесто. Галф-Харборс, Харб-Галфорс, Борс-Галфхарб. Я тряс головой, но избавиться от них никак не получалось — проклятое название не отставало от меня. Галф-Борсхарб, Борс-Харбгалф, Харб-Форсгалф.

Там сейчас жарища. Эмма ничего не заметила, но я вчера специально дождался, когда по телевизору будут передавать прогноз погоды в Тампе. Насколько я понял, осадков там в это время года бывает мало. Здесь едва весна началась с ее ливнями, а там уже настоящее сказочное лето. Солнце. Барбекю. Дельфины. Дюгони.

Галф-Харборс.

Это название намертво засело у меня в голове. Ну ладно уж, если так. А она у меня молодец, Эмма-то. Повезло мне с ней. И неважно, что дальше будет. Ничего не изменится, даже если нам вдруг вздумается переехать во Флориду.

Тао

Наконец наступил День отдыха. Внезапно, как обычно. Лишь накануне вечером нам сообщили о решении Комитета: граждане, в конце концов, заслужили выходной день. До нашего сведения это довела Ли Сьяра, руководитель Комитета, женщина, рассказывающая о принятых Комитетом решениях. Ее голос лился из радиоприемников, а сама она смотрела с поцарапанных информационных экранов. Ее рассудительный речитатив всегда звучал одинаково, независимо от того, несла ли она нам хорошие новости или плохие. Опыление окончено — так она сказала. Сезон цветения скоро завершится. Они могут позволить нам это. Мы, члены коллектива, можем себе это позволить.

Таких дней мы дожидались на протяжении долгих недель, прошлый выходной был два месяца назад. От однообразных движений суставы рук болели все сильнее, все сильнее ныли по вечерам плечи, в ногах, не знавших отдыха, поселилась вечная усталость, а мы все ждали.

В кои-то веки я проснулась не от будильника. Меня разбудил солнечный свет. Солнце било в лицо, а я лежала, закрыв глаза и чувствуя, как по комнате разливается тепло. Разлепив наконец веки, я огляделась. Кровать пуста. Куань уже встал.

Я встала и прошла на кухню. Он сидел за столом с чашкой чая и смотрел в окно, на поля, а на полу играл Вей-Вень. В доме было тихо, настоящий день отдыха, как оно и было решено. Даже Вей-Вень вел себя спокойнее обычного — возил по полу красную игрушечную машинку и тихо рычал.

Его мягкие темные волосы смешно торчали на затылке, коротенькие пальцы сжимали машинку, а губами он так старательно имитировал шум двигателя, что в уголках рта пузырились капельки слюны. Он с головой ушел в игру. Наверняка мог бы просидеть так несколько часов подряд. Строил бы дороги для всех своих машинок и города, полные жизни.

Я присела рядом с Куанем и отхлебнула из его чашки. Чай почти остыл — видно, Куань сидел тут уже давно.

— Ну, что скажешь? — спросила я наконец. — На что потратим этот день?

Он тоже сделал глоток — совсем маленький, словно экономил.

— Ну... даже не знаю. А тебе чего хочется?

Я встала. Он прекрасно знал, чего хочет. Он обсуждал с коллегами

небольшой праздник, который состоится в центре крошечного поселения, называемого нами городом. На площади проведут что-то вроде ярмарки, там накроют столы и будут развлекать народ.

— Мне хочется побыть с Вей-Венем, — быстро сказала я.

Он засмеялся:

— Мне тоже.

Но в глаза мне он старался не смотреть.

— День длинный, можно все на свете успеть, — сказала я. — Поучу его считать.

— Угу. — Опять этот ускользающий взгляд. Он будто сдался и согласился со мной, хотя я-то знала, что все не так.

— Ты спросил, чего мне хочется, — не уступала я. — Вот этого мне и хочется.

Он поднялся, положил руки мне на плечи и принялся массировать. Хотел подкупить меня, уломать, знал все мои слабые места, знал, что если на словах я могу противостоять ему, то физически — нет.

Я осторожно высвободилась. Нет, ему меня не победить.

— Куань...

Но он лишь улыбнулся, взял меня за руку и подвел к окну. Сам он встал позади, а его руки опустились вниз и сжали мои.

— Смотри, — сказал он, сплетая свои пальцы с моими. — Я осторожно попыталась высвободиться, но он крепко держал меня. — Смотри же.

— Зачем?

Он крепко прижимал меня к себе, и я повиновалась. За окном светило солнце. Лепестки белоснежной пеленой покрывали землю и медленно опадали с деревьев, превращаясь в лучах солнца в крошечные белые искры. Ряды грушевых деревьев тянулись до горизонта, от вида всех этих цветов у меня закружилась голова. Я видела их каждый день, эти деревья. Но не так, как сегодня. Не как единую белую бесконечность.

— Предлагаю одеться и пойти в город. Нарядимся, а там купим чего-нибудь вкусенького, — проговорил он терпеливо, будто твердо решил не сердиться.

Я попыталась улыбнуться, пойти ему навстречу, мне не хотелось начинать этот день ссорой.

— Пожалуйста, только не в город.

— Но сегодня все туда пойдут.

Он явно с радостью встал бы в колонну и маршировал — как мы делали каждый день. Я вздохнула:

— Почему бы нам не побыть сегодня втроем?

Он делано улыбнулся.

— Ладно. Мне все равно, только давай не будем дома сидеть.

Я снова повернулась к окну, к цветам, к белой пене лепестков. Мы никогда не оставались там одни.

— Может, просто погуляем там?

— Там? В садах?

— Тебе же главное — дома не сидеть, поэтому какая разница? — Я силилась улыбнуться, но в ответ улыбки не дождалась.

— Даже не знаю...

— Мы отлично погуляем! Сам представь: только мы трое, и больше никого.

— Да я вообще-то как раз хотел с друзьями встретиться.

— И до города идти долго, Вей-Вень устанет. Давай хоть раз дадим ему спокойно погулять?

Я ласково дотронулась до его руки, чуть ниже плеча.

Про учебу я больше ничего говорить не стала, но Куань меня раскусил:

— А книжки?

— Возьмем с собой, всего пару. Я же не буду целый день его мучить.

Куань наконец-то посмотрел мне в глаза — немного удрученно, но с улыбкой.

Уильям

Я подошел к стоявшему возле окна письменному столу. Его поставили в единственное светлое место в этой комнате. И самое уютное. Но за письменный стол я не садился уже несколько месяцев.

На столе лежала одна-единственная книга. Ее оставили там, пока я спал. Кто? Эдмунд?

Страницы пожелтели, обложку покрывал тонкий слой пыли, коричневый кожаный переплет сухо царапал пальцы. Я узнал книгу: в бытность мою студентом я купил ее в столице. В те времена ради нового томика я охотно жертвовал обедом. Тем не менее именно эту книгу я так и не удосужился прочесть — видимо, купил ее уже в самом конце учебы. Автором был Франсуа Юбер, издали ее в Эдинбурге в 1806 году, то есть почти 45 лет назад, а название гласило: *New Observations on the Natural History of Bees*^[1].

Это был труд о пчелах, об улье, суперорганизме, пчелиной семье, каждый член которой, каждый крошечный элемент подчинялся законам общности, коллектива. Почему Эдмунд выбрал эту книгу? Именно эту?

Я отыскал очки, протер их от пыли и уселся за стол. Спинка стула встретила мою спину, будто старую подругу. Когда я открыл том, корешок упрямо скрипнул. Я бережно перевернул титульный лист и погрузился в чтение.

С работами Франсуа Юбера я познакомился, еще будучи студентом, но его теориями никогда как следует не интересовался. Юбер родился в 1750 году в обеспеченной швейцарской семье. Отец семейства сколотил приличное состояние, и маленький Франсуа, в отличие от него, мог себе позволить вообще никогда не работать, однако родные ожидали, что он выберет интеллектуальное поприще и докажет таким образом, что не зря занимает место под солнцем. Предполагалось, что Франсуа прославит свою фамилию, впишет ее в историю. Франсуа изо всех сил старался доставить отцу радость. Он был умным ребенком и уже в раннем детстве читал сложные книги. До поздней ночи мальчик просиживал за толстыми томами, пока глаза не начинали болеть и слезиться. В конце концов глаза его не выдержали. Книги привели Франсуа не к просвещению — они толкнули его в темноту.

К пятнадцати годам Франсуа почти ослеп. Его вывезли в деревню и строго-настрого запретили напрягать глаза. Единственной доступной

работой была помощь на ферме.

Однако юный Франсуа не привык отдыхать. Он был не в силах избавиться от бремени возложенных на него ожиданий, а благодаря своему удивительному характеру посчитал слепоту не препятствием, а возможностью. Он многого не видел, но зато слышал, и сама жизнь вокруг него была наполнена звуками. Пели птицы, верещали белки, шумел в листве ветер, и жужжали пчелы.

Они, пчелы, зачаровывали его.

Юбер медленно, не торопясь, занялся научными исследованиями, которые потом легли в основу труда, что я держал сейчас в руках. Заручившись помощью своего верного ученика и тезки Франсуа Бурнена, Юбер принялся за изучение жизненного цикла пчел.

Первое большое открытие, сделанное ими, касалось оплодотворения. Прежде никому не удавалось постичь тайну, связанную с тем, каким образом происходит оплодотворение пчелиной матки. Процесса этого никто не видел, хотя в разные времена многие ученые вели неусыпное наблюдение за жизнью в улье. Однако Юбер с Бурненом догадались: оплодотворение происходит не в улье, а снаружи. Молодые матки, покинув улей, отправляются в брачный полет, во время которого свершается это таинство. Матка возвращается, полная семенной жидкости, а из ее тела торчат семенники трутней, оторванные при совокуплении. Зачем природе вздумалось обрекать трутней на такую колоссальную жертву, Юберу выяснить не удалось. На самом же деле жертва была еще больше: трутни расплачивались собственной жизнью, однако об этом натуралисты узнали намного позже, так что неведение Юбера, вероятно, уберегло его от потрясения. Возможно, Юбер не вынес бы этого, ведь единственным предназначением трутня было совокупиться и умереть.

Юбер не только наблюдал за пчелами, но и решил улучшить условия их обитания и создать новый вид улья.

На протяжении долгих лет взаимодействие людей с пчелами оставалось весьма ограниченным: люди лишь собирали мед диких пчел, живущих в гнездах, а гнезда имеют вид полусферы и построены на ветвях деревьев или в расщелинах. Однако со временем производимое пчелами жидкое золото обрело такую власть над людьми, что те захотели приручить этих насекомых, одомашнить их. Сперва люди придумали глиняные ульи, но пчелам такое жилище не пришлось по вкусу, поэтому немного позже были разработаны ульи из соломы, наиболее распространенные в Европе во времена Юбера. Там, где я живу, таких ульев по-прежнему больше всего, они стоят на лугах и по обочинам дорог и давно успели превратиться в

неотъемлемый элемент окрестных пейзажей. Прежде я никогда не удостаивал эти ульи вниманием, но сейчас, читая книгу Юбера, я видел все их недостатки и изъяны. Вести наблюдение за жизнью пчел в соломенном улье непросто, а когда наступает пора собирать мед, его приходится выдавливать из сот, убивая личинок и уничтожая яйца, отчего мед становится грязным. Мало этого — таким образом пчеловоды навсегда разрушают соты, пчелиное жилище.

Получается, что, добывая мед, люди лишают пчел возможности к существованию.

Задавшись целью изменить это, Юбер придумал модель улья, позволявшего собирать мед без подобных жертв. Такой улей открывается, как книга, где каждая страница представляет собой рамку, в которой хранится мед и развивается расплод. Книжный рамочный улей.

Я рассматривал чертежи ульев в книге Юбера, рамки, удивительно похожие на страницы книги. Красивая и тем не менее довольно бессмысленная форма. Я ни на секунду не сомневался в том, что можно усовершенствовать ее, так чтобы при сборе меда пчелы не страдали, а пчеловод получал возможность вести наблюдение за маткой, расплодом и заготовкой меда.

Я так увлекся, что тело мое охватила дрожь. Страсть, именно ее мне не доставало. Я был не в силах оторвать взгляда от чертежей, от нарисованных в книге пчел. Я жаждал оказаться там, в улье!

Тао

— Раз, два, три — прыг!

Мы шагали по дороге, стараясь не сходить с колеи. Я и Куань, а между нами — Вей-Вень. Шею он обмотал моим старым красным шарфом. Малыш его обожал и, будь его воля, вообще не снимал бы, но мы разрешали ему надевать этот шарф, только если никто из посторонних его не видел. Шарф был не просто элементом одежды, а наградой, хотя мне нравилось, когда Вей-Вень его повязывал. Я надеялась, что, возможно, ему самому тоже захочется когда-нибудь получить подобный.

Вей-Вень держал нас за руки и требовал, чтобы мы приподнимали его над землей и несли. Желательно подольше.

— Еще! Еще!

Шарф наползал ему на лицо, лез в нос и глаза, и малыш мотал головой.

— Смотрите! — кричал он то и дело. — Смотрите! — Он показывал пальцем на деревья, на небо, на цветы. Вей-Вень оказался здесь впервые, прежде он смотрел на деревья из окна лишь по утрам, пока его не выгоняли из-за стола и не отводили в школу, и по вечерам, перед сном.

Мы решили дойти до небольшого холма неподалеку от опушки леса, а там сделать привал и перекусить. Этот холм хорошо просматривался из окна нашей квартиры, идти до него было метров триста, так что устать Вей-Вень не успеет. К тому же оттуда, мы знали, открывается красивый вид на поселок и на сады. Мы взяли с собой жареный рис, чай, плед и коробку консервированных слив, которую берегли для особого случая. Поедим, а потом вытащим учебники, сядем в теньке и позанимаемся. Мне хотелось выучить его первым десяти цифрам. Сегодня мне будет проще: Вей-Вень отдохнул, и я тоже.

— Раз, два, три — прыг!

Мы снова, в пятый или шестой раз, приподняли его над землей.

— Выше! — закричал он.

Мы немного расстроено переглянулись, а потом опять потянули его за руки. Мы понимали, что это ему никогда не надоест. Таковы трехлетки — им никогда ничего не надоедает. А Вей-Вень, ко всему прочему, привык получать желаемое.

— Ты только представь, каково ему будет, когда он перестанет быть единственным, — сказала я Куаню.

— Ему нелегко придется, — улыбнулся муж.

Еще несколько месяцев — и денег у нас накопится достаточно. Мы старались тратить поменьше, а сэкономленное складывали в копилку, стоявшую в серванте на кухне. Когда мы сможем доказать, что денег у нас достаточно, то получим наконец разрешение. Тридцать шесть тысяч юаней — столько нам требовалось. Сейчас же у нас накопилось тридцать две тысячи четыреста семьдесят шесть. И время поджимало, еще немного — и мы уже не пройдем по возрасту. Нам обоим было по двадцать восемь, а соискателям должно быть не больше тридцати.

Я попыталась отпустить его руку.

— Вей-Вень, давай ты сам немножко пройдешь.

— Нет!

— Немножко. Вон до того дерева. — Я показала на растущее метрах в пятидесяти от нас дерево.

— До какого?

— Вон того.

— Но они все одинаковые.

Я не смогла удержаться от улыбки. А ведь малыш прав. Я взглянула на Куаня. Он смеялся, радостно и искренне, и ничуть не жалел, что мы пришли сюда. Куань, как и я, решил, что сегодняшний день во что бы то ни стало будет хорошим.

— На ручки! — запищал Вей-Вень, вцепившись мне в ногу.

Я осторожно высвободилась из его объятий.

— Давай ладошку.

Но он захныкал:

— Нет! На ручки!!

Куань легко подхватил его и посадил себе на плечи.

— Ну-ка, поехали! Давай как будто я верблюд, а ты едешь на мне верхом!

— Верблюд — это что?

— Ну ладно, не верблюд, а лошадь. — Он заржал, в Вей-Вень расхохотался.

— Лошадка, скачи!

Куань сделал несколько шагов, но остановился.

— Нет, эта лошадка старая, она устала. И ей не хочется убегать от мамы-лошадки.

— Кобыла, — поправила я. — Это называется не мама-лошадка, а кобыла.

— Как скажешь.

Они с Вей-Венем двинулись вперед. Куань сперва взял было меня за

руку, и мы даже прошли так несколько метров, но Вей-Вень опасно накренился, и Куаню пришлось придерживать его. Вей-Вень раскачивался и вертел головой. Вскоре он понял, что оттуда, сверху, все выглядит совсем иначе.

— Я самый высокий! — Он улыбался во весь рот, сам себе, как умеют только трехлетки.

Мы добрались до вершины холма. Прямо перед нами, чуть ниже, раскинулись бесконечные рощи фруктовых деревьев. Ровные, точно по линейке вычерченные ряды одинаковых белых шариков на коричневой земле и сгнившей прошлогодней листве, сквозь которую пробивалась трава.

Всего в паре сотен метров от нас виднелся лес, темный и разросшийся. Людям от него не было никакой пользы, поэтому его собирались вырубить и посадить на его месте плодовые деревья.

Я повернулась. На севере ряды фруктовых деревьев тянулись до самого горизонта. Длинные линии, три ряда, потом дорога, потом опять три ряда. Я читала, что в прежние времена люди — их называли туристами — специально приезжали весной издалека, чтобы увидеть подобное зрелище. Приезжали только ради цветущих фруктовых садов. Красиво ли это? Я не знала. Это была моя работа. Каждое дерево означало для меня труд, долгий и изнуряющий. Глядя на деревья, я думала, что вскоре на них появятся фрукты и нам придется вновь лезть наверх. Осторожно, как и во время опыления, срывать каждую грушу и заворачивать ее в бумагу. Беречь плоды, словно те сделаны из золота. Бесконечное, непреодолимое множество груш, деревьев, часов, лет.

Однако сегодня мы пришли именно сюда. Потому что мне так захотелось.

Куань расстелил на земле плед, и мы разложили еду. Вей-Вень ел торопливо и весь выпачкался. Как правило, ел он быстро и мало, считал это занятие скучным, и еда ему не нравилась, хотя, если ему хотелось вдруг добавки, мы всегда готовы были поделиться с ним своей порцией.

Когда очередь дошла до консервированных слив, малыш успокоился — может, оттого что мы с Куанем молчали. Мы поставили баночку на плед, Куань воткнул в крышку консервный нож, медленно открыл банку, отогнул крышку в сторону, и мы увидели под ней желтые круглые плоды, источавшие легкий сладковатый запах. Я осторожно подцепила вилкой одну сливу и положила ее на тарелочку Вей-Веня.

— Что это? — спросил он.

— Слива, — ответила я.

— Я не люблю сливу!

— Ты сначала попробуй.

Наклонившись над тарелочкой, он лизнул кончиком языка сливу. На секунду задумался. И улыбнулся. А потом, словно голодный щенок, затолкал в рот целиком. В уголках рта выступили капельки сока.

— Есть еще? — спросил он, не успев прожевать.

Я показала ему баночку. В ней было пусто. По одной сливе каждому, и больше не осталось.

— Забирай мою. — Я переложила свою сливу на тарелку Вей-Веня.

Куань укоризненно посмотрел на меня.

— Тебе тоже нужен витамин С, — тихо проговорил он.

Я пожала плечами:

— Съем одну — и захочется еще. Лучше уж вообще не начинать.

* * *

— Ясно. — Куань улыбнулся и наклонил свое блюдце, так что теперь и его слива лежала перед Вей-Венем.

Всего две минуты — и Вей-Вень расправился с фруктами и вскочил. Теперь ему хотелось забраться на дерево.

Мы попытались остановить его:

— Ты ломаешь ветку.

— Нет! Хочу!

Я открыла рюкзак — хотела отыскать тетрадь и ручку.

— Давай-ка лучше поиграем в числа.

Куань закатил глаза. Вей-Вень, похоже, вообще пропустил мои слова мимо ушей.

— Смотри, лодка! — Малыш поднял с земли щепку. — Отличная лодка! — согласился Куань. — А вот и море, — он показал на лужу неподалеку.

— Да! — обрадовался Вей-Вень и побежал к луже.

Я молча убрала тетрадь в рюкзак и отвернулась. Куань погладил меня по голове:

— День сегодня длинный.

— Уже середина дня.

— Иди сюда. — Он потянул меня вниз, на плед. — Смотри, как хорошо — просто лежишь и не думаешь ни о чем.

Я вдруг заметила, что улыбаюсь.

— Ладно.

Он взял меня за руку и осторожно сжал ее, а я в ответ осторожно сдала его руку. Он снова сжал мою руку. Мы рассмеялись. Сегодня, когда вокруг никто не бормотал, здесь было совсем тихо.

Я перевернулась на спину и потянулась, не боясь, что перерыв вдруг закончится и мне надо будет возвращаться к работе. В глаза било солнце. Я прикрыла один глаз, и мир стал плоским. Яркая голубизна неба слилась с белыми цветами дерева над нами. Все вокруг словно лишилось объема. Небо просачивалось между лепестками, и со временем фон и передний план поменялись местами. Небо превратилось в голубой дырявый ковер, брошенный на белую поверхность.

Я закрыла глаза, по-прежнему сжимая теплую руку Куаня, неподвижно лежавшего рядом. Мы могли бы обсудить что-нибудь. Могли бы заняться любовью. Но нам обоим просто хотелось лежать вот так. Неподалеку, пуская по луже кораблики, лепетал Вей-Вень. Вскоре мне захотелось лечь поудобнее. Лопатки больно упирались в землю, позвоночник ныл, я перевернулась набок и подперла голову рукой. Куань спал, тихонько похрапывая. Разреши ему — и он проспит так неделю. Мой муж всегда был чересчур худым и бледным, его телу вечно всего не хватало. Спал он меньше, чем ему хотелось, а ел так мало, что полученных калорий не доставало. Несмотря на это, работал он дольше меня и никогда не жаловался. Он всегда был полон радости.

Как же здесь тихо... Когда вокруг не было других людей, тишина казалась особенной. Даже Вей-Вень умолк и забросил кораблик. Ветер стих, и я утонула в тишине и пустоте.

Я резко села. Где он? Я повернулась к луже. Коричневая жижа весело блестела, но Вей-Веня возле нее не было.

Я встала.

— Вей-Вень! — Ответа я не дождалась. — Вей-Вень, ты где?

Натолкнувшись на стену из тишины, мой крик умолк всего в нескольких метрах от меня. Я сделала несколько шагов в сторону. Отсюда мне было лучше видно окрестности.

Его нигде не было.

— Вей-Вень?

От моих криков проснулся Куань. Он поднялся и тоже начал оглядывать окрестности.

— Ты его видишь?

Он покачал головой.

Лишь сейчас я осознала, насколько огромен этот сад. И насколько

здесь все одинаковое. Бесконечные ряды грушевых деревьев. И больше никаких ориентиров. Только солнце и лес. И где-то там — наш трехлетний малыш...

Мы подошли к луже. Щепка наполовину утонула в воде.

— Посмотри там, а я обойду все здесь. — Голос Куаня звучал повседневно и по-деловому.

Я кивнула.

— Просто заигрался где-нибудь, — продолжал он, — далеко он вряд ли ушел.

Я заспешила вниз по колее. Точно, он наверняка просто заигрался, нашел что-нибудь интересное и не слышит наших криков.

— Вей-Вень! Вей-Вень!

Может, ему повезло и он наткнулся на какого-нибудь мелкого зверька или нашел жучка. Или похожий на дракона пенек. И замечтался, забылся в своем желании познать нечто новое. Червяк. Птичье гнездо. Муравейник.

— Вей-Вень! Ты где? Вей-Вень? — Я старалась, чтобы голос звучал ласково и мягко, но слышала, как мой полный ужаса крик разбивает тишину.

Вдали послышался голос Куаня:

— Вей-Вень? Ты где? — Его голос, в отличие от моего, казался спокойным.

Я ухватилась за это спокойствие и начала подражать Куаню. Он здесь. Ну конечно же, здесь. Сидит где-нибудь и играет. Просто заигрался.

— Вей-Вень?

Лучи солнца били мне прямо в спину.

— Вей-Вень! Малыш!

Всего за несколько минут здесь будто стало жарче.

— Вей-Вень, солнышко, ты где?

Лишь мое дыхание. Неровное и сбивчивое. Я обернулась и увидела, что холм остался в паре сотен метров позади. Вей-Вень едва ли ушел бы так далеко. Я побежала было назад, но потом немного изменила направление, ориентируясь на колею.

Мне вспомнилось вдруг, что на нем красный шарф. Вей-Вень обмотал шею красным шарфом. Заметить его будет несложно. Вокруг лишь коричневая земля, зеленая трава и белые лепестки — красный шарф сразу же бросится в глаза.

— Тао! Иди сюда!

Куань. Только голос незнакомый и резкий.

— Ты нашел его?

— Быстрее!

Я свернула и побежала на голос. С каждым вздохом дышать становилось все тяжелее, горло сдавило, и воздух, казалось, не мог пробиться к легким.

Между деревьев я увидела Куаня. Он бежал ко мне со стороны леса, высокой темной стеной встававшего за ним. Он был в лесу? Неужели Вей-Вень убежал туда?

— Что случилось? Все в порядке? — спросила я. Голос звучал сдавленно и напряженно.

А потом я разглядела мужа как следует. Куань двигался очень быстро, лицо его обратилось в маску, глаза едва не выскакивали из орбит. В руках он нес что-то.

Красный шарф.

Ножка в ботинке, подрагивающая в такт шагам Куаня. И болтающаяся голова — маленькая и темноволосая.

Ботинок. Детская головка.

Я подбежала к Куаню.

У меня вырвался сдавленный крик.

Дышал Вей-Вень с трудом. А лицо его под темной челкой было белым как бумага. В глазах светилась мольба. Он что, сломал себе что-нибудь? Поранился? У него течет кровь? Нет. Его будто парализовало.

Куань сказал что-то, но слов я не слышала, видела лишь, что губы его шевелятся, вот только звуки не могли ко мне пробиться.

Не останавливаясь, Куань пробежал мимо.

Я крикнула ему что-то. *Вещи! Наши вещи!* Как будто я считала это важным. Но Куань мчался прочь, прижимая к себе Вей-Веня.

Я бросилась следом — к домам, к тем, кто мог помочь. Маленькая ножка подрагивала. Ветер трепал красный шарф. Ни разу не остановившись, мы добежали до поселка. По пути я не отрываясь смотрела на Вей-Веня, в его большие и испуганные глаза. Бежать — единственное, что мне оставалось.

Я снова и снова повторяла его имя.

Но он больше не откликался.

Тело обмякло. Малыш побледнел еще сильнее, на лбу выступили капельки пота.

Он закрыл глаза.

Почему мы так долго бежим? Как же далеко мы ушли! Неужели здесь и правда так далеко?

Наконец перед нами появились дома. Однако вышли мы с другой

стороны — перепутали тропинки.

Тишина. Куда же все подевались?

Наконец-то. Человек. Пожилая женщина. Она явно принарядилась и шла на праздник. Это я поняла. Эта женщина накрасила губы и надела платье.

— Стойте! — закричал Куань. — Стойте! Помогите! Женщина растерялась. А потом она заметила нашего малыша.

Всего через несколько минут приехала неотложка. За машиной тянулся пыльный след, пыль поднималась в воздух и оседала на волосах Вей-Веня, его ботинках и ресницах. Из машины выскочили одетые в белое врачи. Они осторожно забрали малыша и унесли его внутрь. Его ладошка выскользнула из руки врача и безжизненно повисла. Больше мы его не видели. Нас с Куанем провели к машине, но посадили не рядом с Вей-Венем, а на переднее сиденье. Кто-то велел нам пристегнуться.

Пристегнуться. Словно это имело какое-то значение.

Джордж

Когда я проснулся, до звонка будильника оставался час и двадцать две минуты. Белье насквозь промокло от пота, я сбросил одеяло, но знал, что больше не усну. В этот день я планировал провести первый после зимы осмотр ульев. Перед этим делом я нередко плохо спал, мне все мерещились ульи, воск, рамки и расплод. Ведь никогда не знаешь, что увидишь. Случалось, что за зиму вымирало до половины пчел. А когда понимаешь, что во многих ульях нет ни расплода, ни маток, тебе становится так паршиво, что слов нет. Однако зима выдалась совершенно обычная, жаловаться не приходилось. Ни особых заморозков, ни оттепелей не было, так что и причин для тревоги у меня не имелось.

И тем не менее. Когда я стоял и ждал Рика и Джимми, меня пробирала дрожь. Я попросил их приехать к половине восьмого, но мне прямо-таки не терпелось. Будь моя воля, я бы уже давно взялся за дело в одиночку, однако у нас троих сложилось что-то вроде ритуала: перед первой проверкой мы собирались у нас во дворе. Нам надо было многое обсудить и кое-чего выпить.

Первым, по своему обыкновению, приехал Рик. Он был высокий и тонкий, чуток нескладный и немного похожий на Джеймса Стюарта, только без самодовольной ухмылки. Длинный острый нос, глубоко посаженные глаза, небольшая лысина, хотя ему еще и тридцати не исполнилось. Рик вылез из машины. Телодвижений он всегда делал в десять раз больше, чем надо, уж такой он был несуразный. Зато старательный. Заочно выучился на агронома и все время читал, целую уйму книжек прочел. Спроси Рика про любое фермерское дело — и он тебе всего нарасказывает. Историю. И всякие теории. Бывают такие автоматы — кинешь монетку, а оттуда тебе музыка играет. Вот и с Риком то же самое, только без монетки, и рассказывает он про всякие сельскохозяйственные штуки. Он мечтал о собственной ферме, но если по-честному, то лучше бы он мечтал о какой-нибудь офисной работенке, где надо головой соображать.

Он подошел ко мне и взмахнул руками. Спокойно стоять — это не про Рика.

— Ну... — проговорил он.

— Ну, — ответил я.

— Да... Как там сейчас дела обстоят? Как думаешь?

— Хм... По-моему, неплохо. Никаких причин бояться у нас вроде как

и нет.

— Ну да... Бояться нечего. — Он наморщил лоб и, запустив пятерню в свои жидковатые волосы, потер голову. — Хотя... — Сейчас Рик чесал голову уже обеими руками, да так увлеченно, словно у него вши. — Заранее никогда не знаешь.

— Это да. Заранее и не скажешь. Впрочем, зима была обычная.

— Да. Это точно.

— Ага.

— Ведь они еще и исчезать начали.

— А, ну да.

Я сделал вид, будто совершенно забыл об этом. Но ни о чем я, ясное дело, не забыл. За этим делом я пристально следил. О загадочных исчезновениях пчел с пасек на юге написали даже в «Отим трибьюн». В ноябре один пчеловод из Флориды — его звали Дэвид Хакенберг — сообщил, что ульи его вдруг опустели. Тогда поднялся шум, и про это дело толковали на каждом углу. С тех пор подобные истории часто повторялись — во Флориде, Калифорнии, Оклахоме и Техасе.

Каждый раз одно и то же. Сегодня ульи хорошие, пчелы здоровые, еды хватает и с расплодом все в порядке. А проходит несколько дней или даже часов — и улей пустеет. Пчелы бросают собственный расплод, вообще все бросают и улетают. И больше не возвращаются.

Пчелы — насекомые чистоплотные. Они покидают улей, чтобы умереть, не хотят загрязнять место, где жили. Возможно, именно за этим они и улетали. Но матка всегда оставалась в улье, а вместе с ней — молодые пчелы, правда, совсем немного. Рабочие пчелы бросают свою мать и детей, обрекая их на одинокую смерть в улье. А это противоречит всем законам природы.

Почему подобное происходило, никто точно не знал. Когда я впервые услышал об этом, то решил, что за пчелами просто плохо ухаживали. Что этому Хакенбергу вообще плевать было на пчел. За свою жизнь я немало повидал пчеловодов, которые все грешили на других, хотя виноваты были сами. Слишком мало сахара, слишком жарко или, напротив, холодно. Пчеловодство — это тебе не квантовая физика. Но такие случаи повторялись чересчур часто, истории были очень похожими, и происходило все внезапно. Нет, дело в чем-то еще.

— Это все только на юге, — сказал я.

— Да. Они там с пчелами не церемонятся, — согласился Рик.

В этот момент во двор въехал зеленый пикап, а из него, широко улыбаясь, вылез Джимми. Если Рик — паникер и слишком много думает, то

добряк Джимми — его полная противоположность. Ни единого лишнего движения, да и мыслей тоже не особо много. Но работал он хорошо, этого не отнимешь.

Недостаток смекалки у Джимми с лихвой возмещала внешность, он был настоящим красавчиком, из тех, на кого старшеклассницы вешаются. Блондин с густыми волосами и волевым подбородком, да еще и сложен лучше не придумаешь — ему не хватало только формы какой-нибудь футбольной команды. И еще он всегда следил за собой, всегда ходил опрятный и причесанный. Неясно только, для кого он так старался, я сроду ни одной женщины рядом с ним не видел.

В руках он держал термос. Новенький, подметил я. Солнце отразилось от стальной крышки и на миг ослепило меня, но Джимми тут же повернул термос другой стороной. Мы достали стаканы, которые Джимми купил несколько лет назад в отделе активного отдыха в «К-марте», небольшие, защитно-зеленого цвета. Если надавить на них снизу и сверху, они складывались, и их можно было убрать в карман. Мы с Риком одновременно разложили стаканы и протянули их Джимми, а тот молча отвинтил крышку термоса.

— Свежемолотый, — сказал он, наклонив термос. Сперва он налил кофе мне. — Колумбийский. Темный, хорошей обжарки.

Лично мне сойдет и растворимый. Кофе — это всего лишь кофе. Однако для Джимми страсть к кофе, видимо, заменяла любовь к искусству. Зерна он заказывал по интернету, свято веря, что те должны быть свежими, а когда ему предлагали купить уже смолотый кофе, Джимми считал это проделками Сатаны. При варке кофе необходимо соблюдать правильную температуру. По его словам, температура — это «альфа и омега». Чтобы добиться нужной температуры, Джимми раскошелился и выписал из Европы какую-то особую кофеварку, которая застряла на таможне, где простояла несколько недель, пока он наконец не вызволил ее оттуда.

Мы чокнулись стаканами с кофе. Пластмасса почти беззвучно стукнулась о пластмассу. Потом отхлебнули кофе. Настал момент повосхищаться напитком и сказать что-нибудь приятное. Так уж у нас было заведено. Я прищурился и немного погонял кофе во рту, словно дегустировал вино.

— Очень насыщенный...

— Угу, — поддакнул Рик, — и обжарка чувствуется. Джимми с довольным видом кивнул, но продолжал смотреть на нас с радостным ожиданием, как ребенок на празднике Четвертого июля. Ему было мало.

— Да, это тебе не растворимая отравка, — сказал я.

— Лучше кофе я в этом году еще не пил, — добавил Рик.

Джимми опять кивнул.

— А ведь и нужно-то всего ничего — кофемолка и хорошие зерна. Вы и сами запросто осилите сварить дома такой кофе.

Он всегда это говорил и прекрасно знал, что никому из нас и в голову не придет завести дома кофемолку. У нас в семье кофе варила Эмма, а она предпочитала молотый, а то и растворимый. В последнее время она экспериментировала и покупала пакетики, в которых к растворимому кофе были добавлены сахар и сухие сливки, сам же я пил кофе без добавок.

— А знаете, ведь кофе впервые упоминается в одной легенде, в ней рассказывается о событиях, которые произошли в Эфиопии полторы тысячи лет назад, — сказал Рик.

— Да ладно! Правда, что ли? — удивился Джимми.

— Так и есть. Пастух Калдим. Он заметил, что его козы начинают себя как-то странно вести, когда наедаются мелких красных ягод. И не могут заснуть. И Калдим рассказал об этом одному монаху.

— А что, разве в Эфиопии полторы тысячи лет назад уже были монахи? — спросил я.

— Что? — переспросил он, растерянно хлопая глазами.

Джимми легкомысленно махнул рукой:

— Ну ясное дело, были.

— Подожди, эфиопы-то ведь были не христиане? То есть... Эфиопия — это же в Африке, да? К тому же в те времена...

— Да какая разница. Монах, в общем, тоже заинтересовался. Он во время молитвы постоянно засыпал, а потом взял да залил эти ягоды кипятком — и вот, пожалуйста вам, кофе!

Джимми радостно кивнул: еще бы, Рик изучил вопрос и научно обосновал ценность его обожаемого кофе.

Мы допили быстро остывающий на холодном весеннем ветру кофе. Последний глоток был кислым и чуть теплым. Потом мы расселись по машинам и двинулись к пасеке. Лишь положив руки на баранку, я понял, что весь взмок. Ладони сразу же прилипли к рулю, так что мне пришлось хорошенько вытереть их о штаны. Свитер тоже насквозь пропитался потом. Что нас ждет на пасеке, я не знал. И боялся.

* * *

До пасеки и было-то всего пару сотен метров по разбитому проселку,

машина подсакивала на кочках, руки у меня тряслись, но совсем скоро мы оказались на лугу возле Алабаст-Ривер.

Я вылез из машины и, чтобы никто не заметил, как дрожат мои руки, спрятал их за спину. Рик уже ждал меня. От нетерпения он даже слегка подпрыгивал. Выйдя из машины, Джимми запрокинул голову и потянул носом воздух.

— Вот интересно, сколько сейчас градусов? — Он прикрыл глаза и замер, точно и не собирался сегодня работать.

— Столько, сколько надо сейчас градусов. — Я развернулся и направился к ульям.

В траве возле улья валялись облетевшие хлопья краски. А еще там, как обычно, лежали пчелы. Я снял крышку и откинул сетку. Готовился я к худшему, но все было в порядке. Матку я не увидел, но зато там достаточно было и яиц, и личинок самых разных размеров. Шесть рамок, забитых под завязку. Семья оказалась вполне себе живой, и с другой ее можно было не объединять.

Я повернулся к Джимми, а тот кивнул на улей, который только что осмотрел:

— Тут все путем.

— И здесь тоже, — подхватил Рик.

Мы двинулись дальше. Солнце припекало, мы открывали улей за ульем и тщательно осматривали их, я постепенно перестал потеть, свитер отлип наконец от спины, а руки высохли и согрелись. Ясное дело, не все шло гладко. Некоторые семьи приходилось объединять, а кое-где исчезла матка. Но ничего особо серьезного. Похоже, эта зима сжалилась над ними. Будто отголоски случившейся на юге трагедии до нас не дошли. Впрочем, с чего бы? О пчелах мы заботились, и недостатка они ни в чем не знали.

Мы решили перекусить, уселись на старые раскладные стулья и развернули слипшиеся бутерброды. Сперва все почему-то молчали, а потом Рик не выдержал:

— Знаете историю про Купидона и пчел?

Ему никто не ответил. Опять история. Как по мне, так лучше б он приберег ее для кого-нибудь еще.

— Ну так знаете? — не унимался он.

— Нет, — ответил я, — не знаем мы про Купидона с пчелами.

Джимми ухмыльнулся.

— Купидон — это бог любви, — начал Рик. — У древних римлян.

— Он еще из лука стреляет, — сказал я.

— Ага, так и есть. Сын Венеры. Внешне он выглядит как такой

крупный младенец, но всегда таскает с собой лук и стрелы. Когда его стрела попадает в кого-нибудь, тот человек сразу страстно влюбляется.

— Фу, вот извращенцы-то, — высказался Джимми, — сделать младенца богом страсти.

Я расхохотался, а Рик неодобрительно посмотрел на меня.

— Так вот. Известно ли вам, что свои стрелы он обмакивал в мед?

— Нет, об этом я не слышал.

— А я так вообще про этого Купидона впервые слышу! — признался Джимми.

— Теперь знайте — стрелы он макал в мед, а мед крал. — Рик потянулся так, что стул громко закрипел.

Мы с Джимми заулыбались, но Рик не обратил на это внимания. Он рвался поделиться с нами своей историей.

— Так вот. Младенец этот таскал мед у пчел, причем целыми ульями. И продолжалось все это, пока... — Для пущего эффекта Рик на секунду умолк. — Пока однажды пчелам это не надоело и они на него не набросились. — Он вновь замолчал. — А Купидон-то был, ясное дело, совсем голый, как и полагалось тогда богам. Ох и искушали его пчелы! Все тело. Вообще ВСЕ!

— Ну, получил по заслугам, — сказал я.

— Может, и так. Но ты тоже не забывай — Купидон ведь совсем младенец. Поэтому он побежал к своей маме, Венере. Надеялся, что она его пожалеет. Он рыдал и удивлялся — как это пчела такая маленькая, а причиняет такую боль. Но если вы думаете, что мамаша его пожалела, то нет, она просто посмеялась.

— Посмеялась? — не поверил я.

— Ага. «Ты тоже маленький, — сказала она, — а ведь твои стрелы заставляют страдать сильнее, чем пчелиный укус».

— Надо же, — удивился я. — А потом что? Что дальше было?

— Да ничего не было. На этом история заканчивается, — ответил Рик.

Мы с Джимми удивленно уставились на него.

— Да ладно? И это вся история? — переспросил Джимми.

Рик пожал плечами:

— Ну да. Зато на эту тему нарисована целая куча картин. Стоит такая Венера — красотка, все при ней, кожа белая, фигура клевая. И она голая, как и полагается. Рядом с ней — ее сын Купидон, весь в слезах, в руках куски воска, а в тело ему впились пчелы.

Я передернулся.

— Тоже мне мамаша, — сказал Джимми.

— Вот и я о том же, — согласился Рик.

Мы наконец замолчали. Я несколько раз моргнул, стараясь избавиться от стоящей перед глазами картинки — ревущий младенец, с ног до головы искусанный пчелами.

Солнце напекало шею. Такие дни Эмма называет чудесными. Я попытался понять, что же в них такого чудесного. И решил, что солнце — это неплохо, потому что солнце означает мед. Год, похоже, будет хороший. А если год будет хорошим, значит, и денег скопим. И вложим их в пасеку. Да, так оно все и будет. Кому вообще нужна твоя Флорида? — вот как я ей скажу сегодня же вечером. Кому нужна твоя Флорида?

Тао

Наступил вечер. Но мы не спали. Разумеется, мы не спали. Мы думали, нас отвезут в маленькую больницу нашего поселка, но нас отправили в огромный медицинский центр в Широнге. Этот центр занимал там целый квартал. Почему нас везли туда, никто не сказал. Водителя в «скорой помощи» не было, и машина на полпути просто развернулась и поехала в противоположном направлении. Мы вдвоем сидели спереди, в кабине, так что спросить нам тоже было некого.

В медицинском центре нас провели в комнату для родственников. Время от времени из коридора доносились чьи-то шаги, но к нам никто не заглядывал, и я решила, что мы так и останемся здесь вдвоем.

Я стояла возле окна, выходявшего на площадку перед въездом в больницу. Вокруг медицинского центра высились громады жилых домов, а сама больница состояла из пяти низких зданий, щупальцами раскинувшихся в разные стороны и объединенных общим центром. В некоторых окнах горел свет, но таких было немного. Целое крыло оставалось совершенно темным. Больницу выстроили давно, в другую эпоху, когда жителей в этом регионе было куда больше. Время от времени к больнице подъезжали машины, а на площадке возле входа даже приземлился вертолет. Когда же я видела вертолет в последний раз? Видимо, очень давно, много лет назад. Вертолеты потребляли слишком много топлива, и поэтому их больше не использовали. Дрожащие лопасти пропеллеров разрывали воздух, белые халаты врачей трепетали, и мне казалось, будто они сейчас оторвутся от земли и взлетят. Дверца вертолета открылась, и из него на землю прыгнули двое мужчин и женщина — все в деловых костюмах. На больных они не походили, но тут же быстро направились к входу, похоже, торопились куда-то.

Иногда «скорая» подъезжала с сиреной, и тогда к машине подбегало сразу несколько врачей, готовых принять носилки. Больного вытаскивали из машины и катили в больницу, а по дороге врачи и медсестры колдовали над ним. Так же было, когда приехали мы. Однако мы этого не видели. Все произошло так стремительно. Когда мы вышли из машины, Вей-Веня уже унесли и нам осталось лишь смотреть в спину врачам, вкатившим носилки внутрь. На носилках лежал Вей-Вень, хотя его я не увидела, его закрывали спины в белом. Я рванулась следом, хотела просто взглянуть на него. Но дверь уже захлопнулась, и открыть ее я не смогла.

Мы стояли возле входа. Я протянула Куаню руку, но он оказался слишком далеко. Я так и не дотянулась до него. А может, он не хотел, чтобы я дотянулась.

Потом дверь открылась и к нам вышли двое мужчин в белых халатах. Врачи? Медбратья? Они заботливо подхватили нас под локоть и повели в больницу. Я засыпала их вопросами. Где Вей-Вень? Что с ним? Скоро ли мы его увидим? Но ответа я не дождалась. Они сказали лишь, что наш сын — они сказали «сын», наверное, даже имени его не знали, — что он в хороших руках. Что все будет хорошо. А потом привели нас сюда и скрылись.

Я простояла у окна несколько часов, когда дверь наконец открылась и в комнату вошла врач. Она сказала, что ее зовут доктор Хио, и прикрыла за собой дверь, стараясь не смотреть нам в глаза.

— Где он? Где Вей-Вень? — откуда-то издалека услышала я собственный голос.

— С ним сейчас врачи, — сказала женщина и подошла ближе.

Седая, но с гладкой кожей и ничего не выражающим взглядом.

— Его зовут Вей-Вень, — сказала я. — Можно мне к нему?

Я шагнула к двери. Она должна отвести меня к нему. Мне должны разрешить. Пусть совсем близко меня не пустят, но я должна его увидеть — хотя бы из-за стекла.

— С ним врачи? Что это значит? — спросил Куань. Она подняла голову и посмотрела на него. Моего взгляда она избегала.

— Мы делаем все, что в наших силах.

— Но он же выживет, да? — спросил Куань.

— Мы делаем все, что в наших силах, — терпеливо повторила она.

Куань поднес к лицу кулак и прикусил костяшку пальца. Я же чувствовала, как медленно леденею.

— Мы должны его увидеть, — сказала я, но так тихо, что слова почти потонули в воздухе.

Она не ответила и только слабо качнула головой.

Нет, не может быть. Что-то не так. Все не так. Там лежит не он. Не Вей-Вень. Наш сын сейчас в школе или дома. А сюда привезли какого-то другого ребенка. По ошибке.

— Положитесь на нас, — тихо сказала доктор Хио и села. — А сейчас я просила бы вас ответить на несколько вопросов.

Куань кивнул и опустил на стул. Доктор достала ручку с блокнотом и приготовилась записывать.

— Ваш сын перенес какие-то серьезные заболевания? — Нет, —

послушно ответил Куань и повернулся ко мне: — Не помнишь?

— Нет, он не болел. Только отитом, — сказала я, — и гриппом.

Она сделала в блокноте пометку.

— Но ничего необычного?

— Нет.

— Другие заболевания дыхательных путей? Астма?

— Нет, ничего, — резко проговорила я.

Доктор Хио повернулась к Куаню:

— Где именно вы обнаружили его?

Куань наклонился вперед, ссутулился, сжался, будто хотел защититься от ее вопросов.

— Около деревьев. Участок 458 или, может, 457. Возле леса.

— Что он делал?

— Просто сидел. Вялый, бледный. И потный.

— Это вы его нашли?

— Да, я.

— Он так боялся, — сказала я, — так ужасно боялся. Она кивнула. —

Мы ели сливы, — продолжала я. — Мы принесли с собой сливы. И он съел всю банку.

— Спасибо. — Она вновь сделала пометку в своем крошечном блокнотике, а потом опять повернулась к Куаню, словно ответы знал только он: — Как вы думаете, он перед этим заходил в лес?

— Не знаю.

Она помолчала.

— Что вы там делали?

Снова наклонившись вперед, Куань быстро взглянул на меня, но прочесть его мысли я не сумела. На меня навалилась какая-то тяжесть, дыхание перехватило. Я не могла произнести ни слова и поэтому буравила взглядом Куаня, молча умоляя его пощадить меня. Сказать, что мы оба решили туда пойти. Может даже, что он сам это придумал. Хотя на самом деле идея была моя. В том, что мы оказались там, виновата я.

Не глядя на меня, Куань повернулся к доктору и вздохнул.

— Мы гуляли, — ответил он. — У нас был свободный день, и мы хотели провести его вместе.

Возможно, он не винит меня, возможно, не считает меня виноватой. Я не сводила с него глаз, но он в мою сторону не смотрел. От ответа Куань уклонился, чтобы не обвинять.

И возможно, он был прав. Может, так оно все и было. Мы решили это вместе, мы оба хотели пойти туда. Это был наш общий выбор, он

согласился тогда со мной.

Вероятно, доктор Хио не заметила нашего молчаливого соглашения и лишь переводила взгляд с одного на другого, — взгляд, полный сочувствия, а не только профессионального интереса.

— Как только я узнаю что-то, сразу же сообщу вам. Обещаю.

Я сделала шаг вперед.

— Но что с ним такое? Что произошло? — Голос срывался. — Вам хоть что-нибудь известно?

Женщина медленно покачала головой. Ответа у нее не было.

— Постарайтесь отдохнуть. А я попрошу, чтобы вам принесли поесть.

Она скрылась за дверью, а мы остались в комнате.

* * *

На стене висели часы. Время двигалось неравномерно, рывками. Иногда я отводила от часов взгляд, а потом вновь смотрела на них — и видела, что прошло уже двадцать минут. А порой проходило всего двадцать секунд.

Куань находился в другом конце комнаты. Где бы я ни стояла, до него всегда было далеко. Он делал так не только по своему желанию — мне тоже этого хотелось. Между нами созрело нечто огромное, что невозможно обойти. И, готовясь столкнуться с этим, мы словно превратились в фигурки, вырезанные из тонкого льда. Таким затягивает осенью лужи, и при малейшем прикосновении он ломается.

Я отхлебнула воды. Кисловатая. Застоявшаяся. Вода из пластмассового контейнера.

Стемнело. Свет никто из нас включать не стал. Зачем нам свет? С того момента, как доктор покинула нас, прошел час.

Я в очередной раз выглянула в коридор. Однако за стойкой никого не было. Я прошла немного дальше, но видела лишь закрытые двери. Я прижималась к ним ухом, но ничего не слышала. Все звуки тонули в упрямом жужжании вентиляционной установки.

Нет, лучше вернуться назад. Просто сидеть здесь. Ждать.

Джордж

Мы подошли к ульям возле фермы Сати, и я принялся за те, что стояли возле дороги, а Рик с Джимми ушли дальше на луг. Я устал, но еще держался, и я представлял, как вернусь вечером домой, повалюсь в постель и через секунду вырублюсь.

Я собирался вскрыть последний улей, когда явился Гарет. Гарет Грин.

С дороги послышалось дребезжание, потом показался его фургон, а за ним — еще три. Заметив меня, Гарет притормозил, хотя мотор глушить не стал, то есть вроде толком-то и не остановился. Остальные водители тоже притормозили, прямо посреди дороги, на солнце, дожидаясь, когда Гарет изволит поехать дальше. Такие коленца он наверняка не впервые выкидывал.

Гарет вылез из машины. Он широко ухмылялся, на носу у него переливались зеркальные солнечные очки, а сам Гарет уже успел загореть до черноты. Голову его прикрывала ядовито-зеленая бейсболка с надписью *Clearwater Beach, Spring Break 2006*. Наверняка на распродаже ухватил, на юге где-нибудь. Гарет вообще старался найти чего подешевле, но об этом не распространялся, потому что любил повыпендриваться. Дверцу машины он захлопывать не стал.

— Ну как? Все путем тут? — Он кивнул в сторону моих ульев, расставленных на лугу. Здесь их было довольно мало, так что выглядело все это хозяйство пустовато.

— Да, неплохо, — ответил я, — перезимовали хорошо. Почти все целые.

— Хорошо. Отлично. Рад слышать. У нас тоже морозом почти никого не побило. — Рассказывая о пчелах, Гарет часто использовал это выражение — «побило морозом». Точно говорил о всходах. Об озимых. Он кивнул куда-то вдаль: — Мы сейчас вон там ульи хотим поставить. Там груши.

— А не яблони?

— Нет. В этом году пусть будут груши. У нас пчел стало больше, им и места больше надо. И фермы Хадсона нам теперь не хватает.

Я не ответил и только опять кивнул.

И он тоже кивнул.

Вот так мы и кивали, вроде как друг дружке, но в глаза старались не смотреть. Как два игрушечных болванчика. У меня были такие в детстве,

чуть толкнешь — и они принимаются кивать, а куда при этом смотрят — неясно.

Наконец он кивнул на фургон:

— Выехали черт знает когда. Быстрей бы уже до места добраться.

Я проследил за его взглядом. Улей на улье, все фабричного производства, из серого изопора, связаны вместе и накрыты тонкой зеленой сеткой. Гул мотора заглушал жужжание пчел в ульях.

— Калифорния — вы ведь оттуда сейчас? — спросил я.

— Ты, значит, вообще не в курсе, — рассмеялся он. — В Калифорнии мы были в феврале. Когда миндаль цвел, но сезон давным-давно закончился. Мы из Флориды едем. Лимоны.

— А-а, ну да, лимоны...

— И еще апельсины. Сорта «королек».

— Ясно.

«Королек», значит. Обычные апельсины — это не про Гарета, нет.

— Мы уже сутки едем, — продолжал он, — но это ерунда, если вспомнить, какие мы концы делали до этого. От Калифорнии до Флориды. Это тебе не шуточки. Там через один только Техас сутки ехать. Ты вообще представляешь себе, какой этот штат здоровенный?

— Нет. Об этом я как-то вообще не думал.

— Просто гигантский. Самый большой наш штат. Ну, кроме Аляски.

— Ясно.

Гарет и его четыре тысячи ульев круглый год, не зная покоя, колесили по стране. Зимой они разъезжали по южным штатам: сладкий перец во Флориде, миндаль в Калифорнии, потом снова Флорида — апельсины или этот новый «королек». Оттуда они двигались на север, но по пути делали несколько остановок, которые всегда приходились на лето. Яблоки или груши, черника, тыквы. Сюда, домой, они заезжали лишь в июне. В это время Гарет, как он выражался, оценивал потери, объединял ульи, старался восполнить утраченное.

— А кстати, я там к Робу с Нелли заглянул, — вспомнил он.

— Вон оно что.

— Как там этот городишко называется — Галф-Вилладж?

Так вот как, значит. Везде успел. Даже в раю побывал.

— Галф-Харборс.

— Да, точно! Тебе они тоже рассказывали! Галф-Харборс, верно. Видел их новый дом. Прямо на берегу канала. У них и гидроцикл есть. Том меня прокатил разок. И мы даже дельфинов видели, представляешь!

— А ты уверен, что это дельфины были, а не дюгони?

— Нет... Дюгони? А это кто вообще?

— Роб и Нелли все уши прожужжали. Что у них прямо перед домом дюгони плавают.

— Ух ты. Нет. Никаких гоней я не видал. Ну неважно. Им там неплохо живется. Отличное местечко.

— Да, слышан.

Двигатель у одного из фургонов заревел — видно, кто-то из водителей не выдержал. Однако Гарет и ухом не повел. Очень в его духе. Я переступил с ноги на ногу, но он не сдвинулся с места, словно вообще не собирался уходить.

— Ну а ты-то, — он снял очки и посмотрел на меня, — поедешь куда-нибудь?

— А как же, — ответил я, — много куда. Уже через две недели. В Мэн.

— Черника, как обычно?

— Да, черника.

— Тогда, может, увидимся еще. Я тоже в Мэн собираюсь.

— Ясно. Да, тогда увидимся. — Я попытался растянуть губы в подобие улыбки.

— Ферма Вайт-Хилл — не знаешь, где это? — Он запустил руку под бейсболку и почесал голову. Его кожа под тонкой сеткой бейсболки казалась зеленой.

— Нет, — ответил я.

Это была самая большая ферма в окрестностях. Где она находится, было известно всем, даже собакам и грудным младенцам.

Гарет ухмыльнулся — понимал, что я хитрю. А потом он наконец двинулся к фургону, но по пути повернулся, снял бейсболку, отвесил мне шуточный поклон, залихватски подмигнул и лишь затем залез в кабину.

Они исчезли за поворотом, но облако пыли долго еще застилало солнце.

Мы с Гаретом вместе ходили в школу. Он был самым настоящим размазней — ел много, спорт не уважал, да еще и мучился от экземы. Девчонкам он не нравился. Да и нам, пацанам, тоже. А Гарет почему-то проникся особо теплыми чувствами именно ко мне. Может, потому, что я не опускался до того, чтобы гнобить его. Я вроде как понимал, что он тоже человек. Да еще и мама — она постоянно мне вдалбливала, что, мол, «надо относиться к другим по-доброму, особенно к тем, у кого мало друзей». Это как раз про Гарета сказано — друзей у него почти не было. Но мама моя свое дело туго знала: когда в голове у тебя постоянно звучит ее голос, не остается ничего, кроме как стать добрым. Мама даже заставила меня

пригласить его к нам в гости пару раз. Гарет тогда пришел в дикий восторг. Мой отец повел его показывать ульи, и Гарет все выпрашивал и допытывался, его прямо распирало от любопытства. В отличие от меня. Или, точнее, я этого никогда не показывал. Ну а отец мой, естественно, все ему растолковывал и объяснял.

К счастью, в старших классах наши пути разошлись. Точнее, тогда мне стало легче улизнуть от него. У меня сложилось впечатление, что Гарет с головой ушел в учебу и работу. Он устроился продавцом в скобяную лавку и уже тогда начал копить деньги. Со временем он сбросил вес и купил лампу, как в соляриях, благодаря которой экзема исчезла, а кожа приобрела золотистый оттенок. Должен признать, выглядеть он стал неплохо.

Еще ему удалось найти себе довольно милую жену. После школы Гарет купил клочок земли, и угадайте, чем он занялся? Ну естественно, пчеловодством. Дело шло как по маслу. Видать, у Гарета и впрямь было чутье. Время летело, ульев у него становилось все больше, жена рожала детей, красивее, чем Гарет когда-то, по крайней мере, экземы у них не было. А сейчас он стал большой шишкой. Одной из самых больших в городе. По воскресеньям он сажал свою семью в здоровенный немецкий внедорожник и ехал в загородный гольф-клуб. За возможность топтаться на поле в любую погоду и бить клюшкой по мячу Гарет платил восемьсот пятьдесят долларов в год. Да-да, я узнавал, сколько это стоит.

Гарет отстегнул денег и на новую городскую библиотеку. Там даже повесили блестящую латунную табличку, и на ней все желающие — а таких находилось немало — могли прочесть, что местные жители выражают глубокую благодарность «Пчеловодческому хозяйству Грина» за финансовый вклад в строительство библиотеки.

Месть изгоя, вот как это называется. А мы, кто был в школе не изгоем, а обычными подростками, стояли и смотрели, как Гарет с каждым годом богател.

Каждому пчеловоду известно, что настоящий доход идет не с продажи меда. И не меду Гарет должен сказать спасибо за сколоченное состояние. Реальные деньги пчеловоду приносит только опыление. Без пчел сельское хозяйство обречено. Бесконечные ряды цветущих миндальных деревьев или поля черничных кустиков — все это гроша ломаного не стоит, если пчелы прекратят переносить пыльцу с цветка на цветок. За один день пчелы способны продвинуться вперед на несколько миль. Облететь тысячи цветов. Без них цветы были бы такими же беспрокими, как участницы конкурса красоты. Во время конкурса посмотреть на них приятно, но пользы никакой. Когда пчел нет, то и плодов тоже нет, а цветы просто

вянут, и все.

Гарет с самого первого дня делал ставку на опыление. И пчелы его вечно путешествовали по стране. Всегда в дороге. Я читал, что они этого не любят и что им все эти разъезды вредны, но Гарет утверждал, что пчелы ничего не замечают и в его ульях царит такое же спокойствие, как и в моих.

В пчеловодстве Гарет был пришлым, чужаком — возможно, именно поэтому он и занялся опылением. Он чуял, откуда ветер дует, понимал, что маленькие семейные пасеки наподобие моей, где уклад не менялся на протяжении многих поколений, золотой жилой не назовешь. Они и прежде-то особой прибылью не приносили, а сейчас и подавно. Инвестиции, даже самые незначительные, ложились на наши плечи неподъемной тяжестью, и мы существовали лишь благодаря снисходительности сотрудников местного банка, которые не всегда строго отслеживали сроки выплаты кредитов и верили, что пчелы и в следующем году не подведут. Они верили, когда я убеждал их, что дешевая китайская дрянь, называемая медом, которой с каждым годом становится все больше и больше, не представляет для нас никакой угрозы и что следующей осенью мы отлично все продадим. Что деньги рекой потекут, прямо как прежде.

Все это было враньем. И поэтому мне ничего не оставалось, как пересмотреть подход. Поучиться у Гарета.

Уильям

— Хочешь, я помогу тебе? — спросила Тильда, остановившись в дверях. В руках она держала бритвенные принадлежности и зеркало.

— Ты можешь порезаться о лезвие, — ответил я.

Она кивнула. Тильда, как и я сам, знала, что проворства ее рукам недостает.

Немного погодя она вернулась и принесла таз с водой для умывания, мыло и расческу. Разместив это все на тумбочке, она придвинула ее к кровати, чтобы мне было удобнее. Последним Тильда поставила на тумбочку зеркало и замерла, когда я взял его в руки. Неужели она боялась, что собственное отражение настолько ужаснет меня?

На меня смотрел незнакомец. Мне следовало бы испугаться, однако этого не произошло. Исчезли припухлости, из-за которых лицо казалось слабовольным. Любезный лавочник исчез, уступив место человеку, немало пережившему. Удивительно, ведь на протяжении нескольких месяцев я не вставал с постели и если что-то и пережил, так это страдания от собственной подлости. Но об этом отражение в зеркале умалчивало.

Смотревший на меня человек походил на морского волка, избороздившего все на свете моря и океаны и вернувшегося на берег, или на шахтера, который отработал долгую смену под землей и наконец поднялся наверх, или на ученого, отправляющегося домой после утомительной работы в джунглях. Потрепанный жизнью, худой, но не лишенный изящества. Как прожитая жизнь.

— Принесешь ножницы? (Тильда с удивлением воззрилась на меня.) Я чересчур оброс — одной бритвой не обойтись.

Она кивнула и сбегала за швейными ножницами.

Ножницы были маленькими и неудобными, сделанными для женских пальцев, тем не менее самые ужасные космы мне все же удалось ими состричь.

Поболтав помазком в воде, я тщательно намылил его, вдыхая свежий, слегка отдающий хвоей аромат.

— Где нож? — Я огляделся. Она замерла, опустил глаза и спрятав руки под фартук. — Тильда?

Вытащив из кармана бритвенный нож, Тильда протянула его мне. Рука у нее слегка дрожала, точно ей не хотелось отдавать мне нож. Я забрал инструмент и принялся за бритье. Затупившееся лезвие царапало кожу.

Тильда стояла и смотрела на меня.

— Спасибо, можешь идти, — сказал я ей.

Однако она не сдвинулась с места. Стояла и глаз не сводила с ножа в моей руке. Я вдруг понял, почему она не уходит и чего страшится. Я опустил руку.

— Ведь я бреюсь — разве это само по себе не признак выздоровления? Она задумалась, как обычно.

— Мне радостно, оттого что ты нашел в себе силы, — наконец ответила она, но не ушла.

Если бы мне вздумалось сотворить нечто подобное, я постарался бы осуществить это так, чтобы все выглядело как естественная смерть. Я бы пощадил Эдмунда. Я даже все рассчитал — времени на это у меня имелось предостаточно, — но Тильда, разумеется, ничего не знала. Ей лишь казалось, что оставь она меня одного в комнате, да еще и с острым ножом в руках, как я тотчас же воспользуюсь случаем, словно случай этот единственный. Простоты Тильде не занимать.

Если бы я пожелал покончить со всем раз и навсегда, то смерть я принял бы на улице, в снегу, одетый лишь в ночную сорочку. На следующий день меня нашли бы замерзшим, с сосульками в бороде и инеем на ресницах, и о моей смерти говорили бы так: торговец семенами заблудился в темноте и замерз насмерть, бедняга.

Или грибы. В лесу их видимо-невидимо, и прошлой осенью некоторые из них перекочевали оттуда в верхний левый ящик комода, стоявшего у меня в магазинчике. Ящик этот я предусмотрительно запер, а ключ есть только у меня. Яд таких грибов действует быстро. Спустя несколько часов ты делаешься вялым, немного погодя сознание покидает тебя, затем, всего за пару дней, твои органы разрушаются, после чего наступает смерть. Доктор наверняка решит, что причиной смерти стал отказ какого-то жизненно важного органа. И никто не узнает, что ты сам избрал такую кончину.

Или утопление. Река за домом не замерзает даже зимой.

Или псарня у Блейков, где семь диких голодных тварей злобно бросаются на ограду, стоит к ней только приблизиться.

Или тот крутой овраг в лесу.

Возможностей существовало великое множество, но сейчас я сидел на кровати, сбрасывал бороду и не собирался воспользоваться ни одним из описанных способов, ни ножом у меня в руке. Я воскрес, и больше все эти способы мне не понадобятся.

— Мне не хотелось бы задерживать тебя, — сказал я Тильде, — у тебя

наверняка полно забот. — И я махнул рукой в сторону двери, за которой прятался дом с его бесконечными требованиями: уборка, стирка, мытье пола, посуды и всего остального, что женщины во все времена считали нужным вымыть и начистить.

Тильда кивнула и наконец оставила меня одного.

Порой мне казалось, что Тильда будет лишь благодарна мне, если я возьму бритвенный или, лучше, разделочный нож и воткну его себе в горло, прямо в сонную артерию, так что вся кровь из меня вытечет и я пустым коконом повалюсь на пол. Вслух Тильда никогда не говорила об этом, однако ясно было, что и она и я — мы оба проклинаям тот солнечный луч, который упал именно на ее нос тогда, семнадцать лет назад. На ее месте могла быть любая другая, а могло вообще никого не оказаться.

Мне было двадцать пять лет, и к тому моменту я прожил в деревушке уже год. Возможно, погода в тот месяц была какой-то особенной, возможно, здесь дули сухие ветра, высушившие ее губы. Хотя, может, она просто втайне их покусывала, подобно другим молодым девушкам, которым хочется выглядеть соблазнительнее. Впрочем, в тот день я вообще не заметил ее губ. Помню лишь, что увидел ее, когда делал доклад.

Подготовился я изумительно. В первую очередь ради профессора Рахма — мне хотелось произвести на него хорошее впечатление. Я знал, что мне, в отличие от многих моих однокурсников, повезло. Будучи выпускником, ты учился довольствоваться малым, и путь к успеху был обеспечен, только если тебя брал под крыло какой-нибудь уважаемый ученый. В то время не было в моей жизни человека, который значил бы для меня больше, чем Рахм. Едва перешагнув порог его лаборатории, я решил: важнее Рахма для меня никого нет. Ему суждено было стать не просто другом или духовным наставником, но и отцом. Отношения с собственным отцом я давно разорвал и налаживать не стремился — во всяком случае, в этом я себя тогда убеждал. А под профессорской опекой я лелеял надежду расти и процветать. Я верил, что Рахм откроет во мне скрытые таланты.

Отсутствие опыта — вот что еще побудило меня отлично подготовиться. Прежде я никогда не выступал с докладом. Когда Рахм попросил меня помочь ему с организацией зоологического вечера для жителей Мэривилля, то сперва я отнесся к этому как к сущей безделице. Однако шли дни, и во мне росло какое-то удивительное ощущение, над которым я в конце концов почти утратил власть. Каково это — стоять перед толпой людей, где каждый слышит мой голос, где все внимание обращено на меня? Хотя по сравнению с моими товарищами по учебе деревенские жители отличались простотой (чтоб не сказать больше), на меня возложили

миссию выступить с научным докладом. Справлюсь ли я с таким ответственным заданием?

Да, я готовил первый в моей жизни доклад, но не от этого, а скорее от осознания того воздействия, которое он может оказать на других, я преисполнился благоговения. О естественных науках сельские жители не имели ни малейшего представления, их картина мира определялась Библией, единственной авторитетной для них книгой. Я вдруг понял, что у меня появился повод показать им нечто большее, объяснить существование взаимосвязи между малым и большим, между творцом и творением, открыть им глаза и изменить их взгляд на мир, на само существование.

Но как это лучше показать? Мне предстояло выбрать из бесчисленного множества тем, и выбор вынуждал меня плутать в лабиринте собственных мыслей. Любой естественнонаучный предмет казался мне в высшей степени увлекательным. Дары земли, открытие Америки, времена года — темы были неисчерпаемыми.

В конце концов решение принял Рахм. Мое рвение позабавило его, и он, положив свою холодную руку на мою, влажную и горячую, предложил:

— Расскажите о микроскопе. О возможностях, которые появились у нас после его изобретения. Ведь большинство местных вообще не представляют себе, что это за прибор.

Это была блестящая идея, которая мне самому никогда не пришла бы в голову. Поэтому я, разумеется, последовал совету Рахма.

В тот день дул сильный сухой ветер, а высоко в небе светило солнце. Сколько придет слушателей, мы не знали. Некоторые местные жители, в основном пожилые, считали нас безбожниками и утверждали, будто кроме Библии никаких книг человеку не требуется. Тем не менее любопытство победило, и вскоре в сельском клубе собралось столько народа, что, хотя на дворе стоял апрель, внутри было по-летнему жарко. Захолустный Мэривилль редко мог похвастать событиями такого масштаба.

Я выступал первым — на этом настоял Рахм. Может статься, ему хотелось показать меня миру, словно новорожденного ребенка, а возможно, в то время он еще гордился мною. Несколько бесконечных первых минут мой голос дрожал, а колени тряслись ему в такт, но мало-помалу самообладание вернулось ко мне. Я находил успокоение в словах, которые со всей тщательностью подготовил заранее, я открыл для себя всю их прочность, осознал, что, покидая бумагу и разлетаясь по залу, слова эти не утрачивают достоверности и достигают слушателей.

Начав с короткого дискурса в историю, я рассказал о появившемся еще в шестнадцатом веке увеличительном объективе, на смену которому

пришел более сложный оптический микроскоп, описанный, в частности, в 1610 году Галилео Галилеем. Чтобы наглядно продемонстрировать значение микроскопа, я прибег к примеру конкретной исторической личности, выбрав для этого голландского зоолога Яна Сваммердама, жившего в семнадцатом веке. Сваммердам так и остался непризнанным современниками и умер в бедности и одиночестве, однако именно он определил дальнейшее развитие натурализма — он смог доказать взаимосвязь между созданием и созидающей силой.

— Сваммердам, — сказал я, окинув взглядом собравшихся. — Запомните это имя. Его труды раскрывают нам тайну метаморфоза насекомых, благодаря ему мы знаем, что яйцо, личинка и куколка — различные формы одного и того же насекомого. Сваммердам самостоятельно создал микроскоп, позволявший ему рассматривать насекомых. Результатом этой работы стали рисунки, подобных которым в мире не существует. — Отрепетированным движением я потянул за шнур и развернул висевшее за мной большое полотно с иллюстрациями. — Дамы и господа, перед вами — анатомия пчел, описанная и проиллюстрированная Сваммердамом в труде *Biblia naturae*. — Я театрально умолк и оглядел публику, всматривавшуюся в невероятно подробные иллюстрации.

В эту самую секунду солнце, медленно двигавшееся по небу над крышей клуба, заглянуло в окно слева от меня, одинокий луч скользнул внутрь, выхватил из темноты заляпанный жиром стакан, позолотил висевшую в воздухе пыль — убирались здесь явно реже, чем следовало, — растянулся над рядами и уперся в лицо девушки, сидевшей слева, с самого края, рядом с двумя подружками. Тильда.

Впоследствии я понял, что для нее наше знакомство было куда менее неожиданным, чем для меня. Разумеется, я давно уже стал объектом пристального внимания со стороны местных девушек: молодой ученый-натуралист, из столицы, элегантно одетый, с хорошо поставленной речью, правда, невысокий и не очень подтянутый (говоря начистоту, уже в ту пору я начал страдать от лишнего веса). Однако все изъяны внешности с лихвой окупались благодаря интеллекту. Одни очки чего стоили! Я сдвигал их на кончик носа и многозначительно смотрел на собеседника поверх очков. Когда очки у меня только появились, я целый вечер вертелся перед зеркалом, пытаясь примостить их наиболее удобным для меня образом. С одной стороны, вогнутые стекла зрительно уменьшают глаза, а мне хотелось, чтобы собеседник видел мои глаза в натуральную величину. С другой стороны, я предпочитаю смотреть другим прямо в глаза, а не тарачиться исподлобья. Мне было известно также, что многим молодым

женщинам нравилась моя буйная шевелюра, и я немного отращивал волосы, чтобы окружающие могли оценить их по достоинству. Возможно, Тильда уже давно за мной наблюдала, оценивала, сравнивала с другими мужчинами. Заметила обходительное отношение, которого я удостаивался, адресованные мне низкие поклоны и внимательные взгляды, видела, насколько я отличаюсь от всех остальных мужчин ее круга — грубоватых и небрежных как в одежде, так и в манерах, к которым окружающие и относились соответствующе.

В тот воскресный день на Тильде было что-то голубое, платье или, возможно, блузка, — что-то, подчеркивавшее грудь. По обе стороны лица штопорами закручивались завитые пряди — в те времена эта прическа была обычной для ее ровесниц и даже для молодых замужних женщин, хотя, казалось бы, у них уже не было необходимости следовать подобным капризам моды. Впрочем, в то мгновение внимание мое привлекли не одежда и не локоны. Одиноким солнечный луч выхватил из полумрака зала невероятно прямой и отлично вылепленный нос, словно просившийся на картинку в учебнике анатомии. Мне тут же захотелось нарисовать этот классический нос, рассмотреть его поближе, — этот нос, чья форма полностью соответствовала его функции. На самом же деле, как выяснилось впоследствии, нос у Тильды совершенно не справлялся со своей функцией: он быстро краснел, и из него вечно текло. Но в тот день он сиял передо мной, внимал каждому моему слову, не блестел и красным тоже не был.

Мое театральное молчание затянулось. Слушатели беспокойно заерзали, а из-за спины послышалось деланое покашливание Рахма. Рисунок медленно покачивался, а ведь я еще ни словом о нем не обмолвился.

Я поспешно показал на рисунок:

— На изучение жизни внутри пчелиного улья Сваммердам потратил пять долгих лет. Обитателей улья он рассматривал в микроскоп, благодаря которому смог разглядеть все до последней крошечной детали... Вот, смотрите... это пчелиная матка, откладывающая яйца. Исследования Сваммердама доказали, что одна и та же матка откладывает три различных вида яиц, из которых потом выводятся трутни, рабочие пчелы и новые матки.

Слушатели растерянно взирали на меня. Некоторые ерзали, и, похоже, смысл сказанного ни до кого из них не доходил.

— Это открытие было эпохальным, ведь в те времена многие считали, что во главе улья стоит пчелиный король. Но наибольший энтузиазм

Сваммердам проявил, изучая органы самцов пчелы, — это увлекало его, как ничто иное. И вот перед вами плоды его трудов. — Я поставил новую иллюстрацию: — Это гениталии трутня.

Посмотрев на публику, я наткнулся на полные равнодушия взгляды.

Слушатели заерзали энергичнее. Некоторые, опустив глаза, рассматривали торчавшую из платья нитку, других больше интересовали причудливые облака, ползущие по небу за окнами.

Меня вдруг осенило, что никто из них, скорее всего, вообще не знал, что такое оарионы и гениталии, и меня охватило желание объяснить им. О следующем фрагменте моей речи Тильда никогда не рассказывала нашим детям. Впрочем, в наших с ней беседах мы тоже старались об этом не упоминать. Одно лишь воспоминание о том вечере многие годы вгоняло меня в краску.

— Оарионы — это то же самое, что и яичники... То есть репродуктивная система, где откладываются яйца... которые потом превращаются в личинок.

Произнеся это, я внезапно понял, что ступил на скользкую дорожку, однако остановиться был уже не в силах.

— А гениталии — это то же самое, что... э-э... репродуктивные органы самцов. Пчелам они необходимы, чтобы... э-э... в семье появлялись новые пчелы.

Разобравшись наконец, что именно изображено на рисунке, слушатели заахали. Почему же я сам не предусмотрел, какое впечатление произведет на них эта тема?

Для меня она была лишь частью науки, для них же — чем-то греховным, о чем не болтали. Моя страсть к этому аспекту науки была в их глазах порочной.

Тем не менее никто не ушел и никто меня не прервал, и лишь звуки свидетельствовали о надвигающейся катастрофе — шорох трущейся о деревянную скамью одежды, шарканье сапог, тихое покашливание. Тильда потупила взгляд. Неужели она покраснела? Ее подружки, с трудом сдерживая смех, переглянулись, а я, болван, продолжал говорить, надеясь, что мои пространные объяснения отвлекут внимание публики от только что сказанных мною слов.

— Этому Сваммердам посвятил целых три страницы своего главного труда под названием *Biblia Naturae*, то есть «Библия природы». На этих невероятно подробных иллюстрациях изображен трутень, то есть пчеласамец, и его гени... гениталии (это слово будто застряло у меня во рту), и различные стадии: как они открываются, разворачиваются... и э-э...

полностью реализуют заложенный в них потенциал.

Я действительно это произнес? Бросив быстрый взгляд на собравшихся, я понял, что именно так оно все и было. Я снова уткнулся в текст и продолжил читать, хотя это лишь усугубляло положение.

— Сваммердам описывал их как... удивительных морских чудовищ.

Подружки захихикали.

Не отваживаясь поднять глаза, я схватил книгу Сваммердама и процитировал те чудесные слова, над которыми сам неоднократно размышлял. Я вцепился в книгу, надеясь, что слушатели наконец-то поймут и осознают, что такое истинная страсть.

— Если читатель взглянется в рисунки, позволяющие оценить невероятную структуру этих органов, то поймет, что перед ним — изысканное искусство и что чудеса Господни таятся даже в самых мельчайших организмах и самых крошечных насекомых.

Я заставил себя поднять голову и со всей ясностью увидел — да, у меня не оставалось ни малейших сомнений, — что проиграл, потому что на обращенных ко мне лицах я прочел испуг и даже гнев, и я окончательно осознал, что наделал. Мало того, что мне не удалось посвятить их в тайны природы, — я затронул самый грязный из всех возможных предметов и, ко всему прочему, приплел сюда Бога.

Я так и не рассказал до конца историю о несчастном Сваммердаме, который ничего большего и не достиг. Его карьера оборвалась, исследование пчел загнало его в ловушку религиозных дилемм: совершенство пчел вызывало у него страх. Сваммердам постоянно напоминал себе, что именно Бог, и только Он является единственным достойным объектом изучения, любви и внимания, а вовсе не эти крошечные создания. Пчела казалась бедняге существом совершенным, превзойти которое было не под силу даже Господу. Проведя пять лет почти что в улье, ученый так и не смог вернуться к человеческой жизни.

Впрочем, в тот момент я знал, что, если расскажу об этом, меня не просто осмеют — меня возненавидят, ведь со Всевышним шутки плохи.

Чувствуя, как меня заливают краской, я сложил записи и спустился со сцены, вдобавок еще и споткнувшись, совсем как мальчишка. Рахм, чьего признания я искал как никакого другого, с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться, и лицо его застыло в какой-то странной гримасе. Он напомнил мне отца — моего настоящего отца.

После доклада я перекинулся парой слов с некоторыми из присутствующих. Многие не знали, что сказать, и я слышал, как вокруг перешептываются — некоторые весело, а некоторые сердито. Краска

перекинулась с лица на шею, потом на спину, разлилась по ногам и нашла выход, обратившись в дрожь, которую я тщетно пытался скрыть от окружающих. Видимо, от глаз Рахма это не укрылось, потому что он положил руку мне на плечо и тихо проговорил: «Вы должны понять, что они заперты в мире тривиальностей и никогда не станут такими, как мы».

Его слова меня не только не утешили, напротив, лишь подчеркнули, насколько огромна пропасть, отделяющая меня от Рахма: сам профессор никогда не выбрал бы тему, которую публика могла счесть оскорбительной. Он знал меру их терпению и ловко балансировал между «ними» и «нами», понимая, что научный и обывательский миры не пересекаются. Словно желая подкрепить свои слова чем-то более основательным и еще раз напомнить мне о том, насколько я далек от публики, он вдруг рассмеялся. Тогда я впервые услышал его смех — отрывистый и тихий, но он заставил меня вздрогнуть. Я отвернулся, не в силах смотреть на профессора, его смех словно придавил меня, лишил слова утешения всякого смысла. Я шагнул в сторону.

И столкнулся с ней.

Возможно, в тот день я лишился ореола загадочности и не был больше таинственным чужаком, занимавшимся вместе с профессором чем-то непонятным. Возможно, тогда я казался особенно слабым и уязвимым. Возможно, именно поэтому у Тильды хватило смелости сделать первый шаг. Она не смеялась. Протянув мне руку в перчатке, Тильда поблагодарила меня за «э-э... интересный доклад». Подружки за ее спиной то и дело хихикали, но их смех вдруг куда-то исчез, как и они сами. Даже Рахма я вдруг перестал замечать и видел только ее руку. Я долго сжимал ее в своей, впитывая тепло, чувствуя, как эта рука возвращает мне силы. Тильда не издевалась и не смеялась надо мной, и я был бесконечно ей благодарен. Ее широко расставленные глаза блестели — такие открытые миру и жизни, но прежде всего мне. Подумать только — мне! Еще никогда молодая женщина не смотрела на меня так, и этот взгляд поведал, что она готова отдать себя, отдать все свое — мне, и только мне, потому что так она ни на кого больше не смотрела. От этой мысли колени у меня вновь задрожали, и я наконец отвел взгляд, словно перерезал нерв; меня пронзила боль, мне хотелось лишь вновь смотреть ей в глаза, а мир вокруг — да провались он пропадом.

Мое поведение на несколько месяцев стало основной темой деревенских пересудов. Если прежде ко мне относились с уважением и почтением, то теперь многие — особенно мужчины — стали крепче жать при встрече руку, хлопать меня по спине и улыбаться. А фразы «заложенный в них потенциал» и «удивительные морские чудовища»

преследовали меня на протяжении многих лет. Сваммердама в деревне запомнили навсегда, и его имя упоминали в самых разных ситуациях. Когда жеребец на лугу покрывал кобылу, прохожие называли это «сваммердамским инстинктом». По вечерам в трактире, выходя справить естественную потребность, выпивохи заявляли, что идут «проветрить сваммердамчика». А главное блюдо местной пекарни — продолговатый пирог с мясом — ни с того ни с сего вдруг переименовали в сваммерпай.

Все это волновало меня на удивление мало. За утраченный авторитет судьба мне хорошо заплатила, по крайней мере, я так думал, когда спустя несколько месяцев вел к алтарю Матильду Такер. К тому моменту я уже давно изучил ее тонкие английские губы. Во время помолвки она наградила меня поцелуем, и я, к своему великому сожалению, понял, что губы ее не обладают способностью раскрываться, подобно крупному цветку или «удивительному морскому чудовищу», как мне мечталось поздними ночами. Ее губы, выглядевшие жесткими и сухими, такими и оказались. А нос, если уж на то пошло, все же был крупноват. Но, несмотря ни на что, когда священник благословил наш брак, щеки мои пылали от счастья. Я наконец-то женился, по-настоящему вступил во взрослую жизнь, не понимая тогда, что эта взрослая жизнь сделает все остальные мои мечты невыполнимыми и навсегда закроет мне дорогу в мир науки. Рахм был прав: теперь я занимался исследованиями через силу и моя страсть к познанию угасла.

Однако тогда я ни на миг не усомнился, что Тильда — та самая, единственная. Ее рассудительность восхищала меня, и, прежде чем ответить на вопрос, она тщательно продумывала ответ. Кроме того, я поражался ее упорству и умению отстаивать собственное мнение — такому редкому у молодых женщин качеству. Лишь позже, причем ненамного, спустя всего несколько месяцев после женитьбы, я понял, что на самом деле она так долго раздумывает над ответом просто потому, что сообразительность в списке ее достоинств не числится, а за упорством скрывается обычное упрямство. Как выяснилось, убедить Тильду в чем-либо было невозможно. Совершенно невозможно.

Однако существовала еще одна, важнейшая причина, по которой я хотел жениться на Тильде. Тогда я и сам отказывался это признавать, но сейчас болезнь сделала меня более откровенным, и мне хватает смелости сознаться в том, что я был примитивным и жадным, словно десятилетний ребенок. Ее тело — такое живое и теплое. И она была моей, переходила в мое владение. Я мечтал, как очень скоро прижмусь к этому телу, лягу на него и проберусь внутрь, в свежую, сырую плоть.

Но и здесь моим мечтам не суждено было сбыться: меня ждала суетливая возня с кнопками, завязками, шнурками от корсета и чулками, приправленная кисловатым запахом пота. Однако, превращенный животным инстинктом в трутня, я снова и снова тянулся к ней, желая дать выход своему семени, хотя обзаводиться потомством я совершенно не стремился. Подобно трутню, ради потомства я пожертвовал жизнью.

Тао

— Они делают все, что в их силах. Они сказали, что сделают все, что от них зависит. Куань насыпал заварку в принесенный медсестрой чайник и, выждав, неторопливо налил чай в чашку. Словно сейчас был самый обычный день. Будто мы сидели дома.

Наступил новый день. Новый вечер. Ела ли я? Я не знала. Нам исправно приносили еду и чай. Ну да, что-то я съела, несколько ложек риса. И выпила воды, чтобы унять резь в желудке. Остатки еды засыхали в алюминиевой миске, превращаясь в вязкий клейкий комок. Но я не спала. И не мылась. На мне была вчерашняя одежда — я надела ее до того, как все это случилось. Я нарядилась, достала самое красивое — желтую блузку и юбку до колена. Сейчас синтетическая ткань раздражала кожу, блузка казалась тесной в плечах, а рукава были слишком короткими, так что я постоянно тянула их вниз.

— Но почему они ничего нам не говорят?

Я стояла. Ни разу не села. Стояла и ходила. Марафон в заточении. Ладони были липкими, меня постоянно прошибал холодный пот. Одежда липла к телу, и от меня пахло — это запах был мне незнаком.

— Им виднее, и мы должны им доверять. — Куань отхлебнул чаю.

Это привело меня в ярость. То, как он пил, негромко прихлебывая, пар, поднимающийся над чашкой и оседавший на носу Куаня, — все это я видела уже тысячи раз. Раньше. Но сейчас он не имел права. Он мог кричать, плакать, ругаться и обвинять меня. А он просто сидел и грел о чашку руки, такие спокойные и уверенные...

— Тао? — Он резко отставил чашку, словно прочитав мои мысли. — Прощу тебя... Чего ты от меня хочешь?

Я упрямо смотрела на него.

— Как ты можешь прямо сейчас пить чай?!

— Что?

— Ничего, я просто смотрела на тебя.

— Это я понял. — На глазах у него выступили слезы.

«Это наш ребенок!» — хотелось мне закричать. Вей-Вень! Но я лишь отвернулась, не в силах больше смотреть на мужа.

Звякнул чайник, и зажурчала вода. Куань поднялся и подошел ко мне.

Я обернулась. Он протягивал мне чашку горячего чая.

— Выпей — может, тебе станет лучше, — тихо проговорил он. —

Тебе нужно хоть чем-то подкрепиться.

Станет полегче? От чая? Вот, значит, чего он хочет. Ничего не предпринимать. Просто сидеть тут и ждать. Ничего не делать, ничего не менять. Я снова отвернулась. Но вслух говорить это все было нельзя. Он тоже мог много чего наговорить.

Моя вина была больше, но Куань не винил меня и не ругал. Он лишь протягивал мне чашку чая, а рука его была почти неестественно прямой. Куань вздохнул, словно собираясь сказать еще что-то.

В этот момент дверь открылась и на пороге появилась доктор Хио. Истолковать выражение ее лица у меня не получилось. Сожаление? Отстраненность?

Не поздоровавшись, она кивнула в сторону коридора:

— Прошу вас пройти в мой кабинет.

Я тотчас же двинулась за ней, а Куань замер с чашкой в руке, будто не зная, куда ее девать. Наконец он пришел в себя и быстро поставил чашку на стол, так что чай выплеснулся и на столешнице образовалась лужица. Заметив это, Куань замешкался. Может, вытереть? Нет. Куань выпрямился и заспешил следом.

Доктор шагала впереди, мы с Куанем старались не смотреть друг на друга, самое важное так и осталось невысказанным. Мы глядели в спину перед нами, прямую, обтянутую белым халатом. Доктор двигалась быстро и легко, волосы ее были собраны в девчачий хвост, раскачивающийся в такт шагам.

Открыв одну из дверей, доктор пригласила нас войти, и мы очутились в кабинете с серыми стенами. Безликом и незапоминающемся. Ни одной детской фотографии на стене, а на столе — только телефон.

— Пожалуйста, присаживайтесь.

Она указала нам на два стула, а свой выдвинула из-за стола. Возможно, этому их научили в институте? Что письменный стол придает врачу вес, однако, когда говоришь о чем-то серьезном, лучше находиться ближе к собеседникам?

О чем-то серьезном. Она собиралась сказать нам что-то серьезное. Мне вдруг захотелось, чтобы она села куда-нибудь еще. Не так близко. Я откинулась на спинку стула, подальше от доктора Хио.

— Мы можем его увидеть? — быстро спросила я. И храбрость покинула меня, задавать другие вопросы я не осмелилась. *Что с ним случилось? Как он? И что будет дальше?*

Она посмотрела на меня:

— Боюсь, пока вам к нему нельзя... И, к сожалению, ответственность

за вашего сына с меня сняли.

— Сняли ответственность? Но почему?..

— У нас было несколько версий диагноза. Но... точный диагноз нам так и не удалось поставить. — Ее глаза забегали. — Этот случай настолько серьезный, что он находится за пределами моей компетенции.

Мне стало немного легче. Самых страшных слов она не произнесла. *Покинул нас, умер, его больше нет* — этого она не сказала. Она сказала, что случай сложный и что у них было несколько версий диагноза. Значит, они не прекратили попытки.

— Хорошо. Прекрасно. И кто теперь будет его наблюдать?

— Врачи, которые вчера вечером прилетели из Пекина. Я назову вам их имена, как только сама их узнаю.

— Из Пекина?

— Они лучшие в этой сфере.

— И что сейчас будет?

— Мне велели передать вам, что придется подождать. Можете пока вернуться домой.

— Что?! Нет!

Я повернулась к Куаню. Почему же он молчит? Доктор Хио заерзала на стуле.

— Он в хороших руках, лучше не бывает.

— Мы никуда не поедem. Это наш ребенок.

— Мне велели передать вам, что, возможно, окончательный диагноз они поставят еще очень не скоро. И вы здесь ничем помочь не можете. У Вей-Веня было очень странное и необычное заболевание.

Я окаменела. *Было.*

Я наконец открыла рот, но слова никак не слетали с языка.

— Что вы сейчас сказали?

Я повернулась к Куаню, но тот лишь неподвижно сидел, положив руки на колени. Нет, он ни о чем спрашивать не станет. Я вновь повернулась к доктору.

Слова вырвались откуда-то из самой глубины:

— Он жив? Вей-Вень жив?

Она склонилась вперед, вытянула шею и чуть приподняла голову, став похожей на выглядывающую из панциря черепаху. В ее круглых глазах я прочла мольбу. Доктор Хио словно просила нас не дергать ее больше. Ответа не последовало.

— Он жив?

Доктор замялась:

— В последний раз, когда я его видела, он был... Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Сбоку всхлипнул Куань. Я заметила, что щеки у него мокрые, но мне было все равно.

— Что это значит? Что он жив, да? Это значит, он еще жив?

Она медленно кивнула.

Жив. Я ухватилась за эти слова. *Жив*. Он жив.

— Но он подключен к аппарату, — тихо добавила она. Не имеет значения. Я заставила себя думать, что это не имеет значения. Самое главное — он жив.

— Я хочу его увидеть, — громко потребовала я. — Я не уеду, пока его не увижу.

— Боюсь, это невозможно.

— Он мой сын.

— Как я уже сказала, по поводу него я больше решений не принимаю.

— Но вы знаете, где он.

— Мне и правда жаль, но...

Я вскочила. Куань поднял голову и изумленно посмотрел на меня. Не глядя на него, я повернулась к врачу:

— Отведите меня к нему.

Джордж

Где-то часов в пять я отправил Рика с Джимми по домам. К тому времени две трети всей работы мы сделали, а оставшееся я и сам осилил бы. Зачем платить другим, если можешь сделать сам? Когда начало смеркаться, я почти все доделал. И примерно в то же время на лугу появились какие-то отвратительные приставучие мошки. Интересно, где они прятались днем... Но с наступлением темноты их налетели целые тучи, и избавиться от них никак не получалось. Они, похоже, любили людей, потому что никак не желали от меня отставать, куда я — туда и они.

Пора было возвращаться. Я шагал к машине, когда позвонил Том. Я так и не удосужился сохранить в мобильнике его номер — по правде сказать, я просто-напросто не знал, как это делается, но номер его я все равно узнал.

— Привет, папа.

— Привет.

— Ты где?

— А ты чего спрашиваешь-то? — усмехнулся я.

— Ну, не знаю...

— Раньше люди сперва интересовались, как дела, а сейчас, когда у каждого мобильник, мы спрашиваем, где ты, — сказал я.

— Ну да.

— Я на пасеке. Ульи обходил.

— Ясно. И как там дела?

— Шикарно.

— Хорошо. Отлично. Рад слышать.

Рад слышать? Прозвучало это фальшиво. Он что, всегда теперь так говорить будет?

— А ты, кстати, как думаешь, о чем это говорит? — спросил я.

— В смысле?

— Ну, про нас и наше общество. То, что мы больше не спрашиваем, как дела.

— Папа...

— Да ладно, я ж просто придуриваюсь.

Я выдавил из себя смешок, но Том, как всегда, в ответ не засмеялся. Мы на несколько секунд умолкли. Я засмеялся громче, думал, так будет лучше, и вот стою я там, варезку разинув, как вдруг раз — и прямо в рот

мне влетела мошка, да еще так далеко — готов поспорить, что до самого горла добралась! В горле жутко защекотало, и я растерялся: попробовать ее выкашлять? Или проглотить? Я попробовал разом и то и другое. Не помогло.

— Папа, — проговорил вдруг Том, — помнишь, о чем мы тогда говорили? Ну, когда я в последний раз домой приезжал?

Мошка зашевелилась, и в глотке вновь защекотало.

— Ты слышишь меня?

Я вновь кашлянул.

— Да вроде не оглох.

Он немного помолчал.

— Я получил стипендию.

Я слышал, что он затаил дыхание. Из трубки доносился едва слышный треск — помехи на линии, будто сами телефоны возражали против этого разговора.

— Папа, тебе платить не придется. Джон все уладил.

— Джон? — прохрипел я. Мошка намертво прилипла к горлу.

— Да. Профессор Смит.

Я прокашлялся, но не смог выдавить из себя ни слова. Впрочем, мошка тоже где была, там и осталась.

— Папа, ты что, плачешь?

— Я — плачу? С какого бы хрена?

Я опять кашлянул, и мошка наконец выскочила и приземлилась мне на язык.

— Ясно, — сказал он. И снова замолчал. — Я просто позвонил рассказать тебе об этом.

— Ну, считай, что рассказал.

Но не мог же я в такой момент плевать — Том непременно услышал бы.

— Да.

— Да.

— Ну, пока.

— Пока.

Я утопил мошку в гигантском комке слюны и отправил все это куда-то в сторону — куда именно, мне было уже до лампочки — и остановился. Мне страшно захотелось со всей силы шваркнуть мобильник о землю, чтобы вся эта тонкая электроника, из-за которой от плохих новостей даже на пасеке нет покоя, разлетелась на мельчайшие детальки. Но я знал, что тогда придется покупать новый мобильник, а для меня это ужасная

головная боль. К тому же все эти телефоны недешевые. Впрочем, даже швырни я мобильник на землю — еще не факт, что он разобьется. Трава-то уже достаточно высокая и мягкая, прямо как одеяло. Поэтому я просто стоял и пялился на сжатый в руке кусок пластмассы, а по сердцу у меня словно граблями скребли.

Уильям

Я постепенно избавлялся от темноты, ко мне вернулся аппетит, и я старался больше двигаться. Я ежедневно принимал ванну, часто просил сменить мне одежду, а брился порой дважды в день. Теперь, когда долгие месяцы в обличье грязного, заросшего волосами шимпанзе были позади, мне нравилось ощущать гладкость кожи, всеми порами вбирающей воздух.

И я читал — читал, пока не начинали слезиться глаза. С каждым днем мне удавалось прочесть все больше слов, я целыми днями просиживал за письменным столом, обложившись книгами, которые были теперь повсюду: на столе, на кровати и на полу.

Я заново перечитал труды Сваммердама — его авторитет для меня оставался непоколебимым. Я тщательно изучил модель улья, созданную Юбером, его хитроумные рамки, и составил список журналов и статей о практическом пчеловодстве. Оказывается, таких журналов издавалось немало: в последние годы пчеловодство стало модным хобби, отличным способом скоротать послеобеденные часы, пока дожидаясь вечернего чая. Однако большинство статей было написано для обывателя, простым языком, и снабжено примитивными иллюстрациями. Мне достаточно было быстро пролистать, чтобы понять, что к чему. В некоторых статьях описывались эксперименты с деревянными ульями, авторы других утверждали даже, что изобрели совершенно новую модель, и тем не менее никому из них оказалось не под силу создать улей, позволяющий пчеловоду наблюдать за обитателями улья, всеми без исключения. Такой, какой предстояло создать мне.

Доротея навещала меня ежедневно. Румяная и свежая, она появлялась на пороге и всегда угощала меня каким-нибудь блюдом собственного приготовления. Думаю, она выполняла просьбу Тильды, а та надеялась, что я больше съем, зная, что еда приготовлена моей собственной дочерью. Впрочем, Тильда не ошиблась: стряпня Доротеи оказалась невероятно вкусной. Девушка обещала стать прекрасной хозяйкой. Иногда заглядывала и Джорджиана. Комната наполнялась вдруг ее резким детским голосом, развеивавшим все мои раздумья, а потом Джорджиана так же внезапно исчезала. Меньше всего хлопот мне доставляла Шарлотта, время от времени забегавшая взять какую-нибудь книгу из тех, которые мне на тот момент были не нужны. Читала она запоем и очень быстро, и я понимал, что совсем скоро она перечитает всю мою библиотеку.

А Эдмунд не заходил ни разу. Вечером до меня иногда доносился его голос — снизу, из сада или даже прямо из-за моей двери, но радовать меня своим присутствием он не спешил.

В конце концов я пошел к нему сам.

Был ранний вечер, и, как всегда бывает после вечернего чая, на дом опустились покой и тишина. Вскоре наступит время ужинать и воздух вновь наполнится звуками, но пока еще это время не пришло.

Я осторожно постучал в дверь его комнаты. Не дождавшись ответа, я положил ладонь на ручку двери, но решил выждать. Дать ему время. Я поднес руку к лицу и провел пальцами по гладко выбритой щеке. К этому визиту я подготовился: надел свежие брюки и вымылся, как никогда желая, чтобы он увидел меня обновленным и забыл человека, которого навещал.

К двери он не подходил, поэтому я вновь постучался. Ответа не последовало.

Могу ли я войти? Это его комната, его жизнь. Однако я — его отец, и дом, а следовательно, и эта комната принадлежат мне.

Да, могу. Я в своем праве.

Я осторожно нажал на ручку, и дверь приоткрылась, словно приглашая войти.

В комнате было темно, единственный источник света — закатное небо за окном, но окно это выходило на восток, и по вечерам солнечные лучи сюда не добирались.

Я вошел внутрь и заметил ключ, торчавший из замочной скважины. Разве Эдмунд запирается изнутри? Воздух здесь был спертый, а к слабому запаху мускуса примешивался еще один, немного резкий, но что это за запах, определить я не мог. Повсюду валялась одежда: на спинку стула был наброшен пиджак, на кровати лежали скомканные брюки и рубашка, с зеркала свисал шарф, тот самый темно-зеленый шарф, который был у Эдмунда на шее, когда он приходил ко мне. На тумбочке громоздились грязные чашки и тарелки, а прямо посреди комнаты стояли нечищенные ботинки.

Я замер. В душе у меня зашевелилось беспокойство. Что-то в этой комнате настораживало. Что-то было не так.

Возможно, беспорядок?

Нет. Эдмунд молод. Он мужчина. Разумеется, иначе и быть не может. Надо попросить одну из девочек помочь ему прибраться.

Дело не в беспорядке, здесь что-то еще.

Я огляделся. Одежда, тарелки, обувь, чашка.

Чего-то не доставало.

И я вдруг понял.

Письменный стол. Он был пуст. И полки на стене. Тоже пустые.

Куда подевались все его книги? И письменные принадлежности? Все, что нужно ему для учебы?

— Отец?

Я резко повернулся. Эдмунду вновь удалось появиться незаметно.

— Эдмунд! — Я пошатнулся. Возможно, мне лучше покинуть его комнату? Нет. У меня есть все права здесь находиться. Все права.

— Я кое-что забыл.

Он запыхался, щеки его покраснелись. Вероятно, Эдмунду пришлось возвращаться издалека. Сегодня он вновь оделся с изыщной нарочитой небрежностью: красный бархатный жилет, расстегнутое пальто, платок на шее. В руке он сжимал портмоне. Подойдя к столику возле зеркала, он отпер стоявшую на нем небольшую шкатулку, вынул из нее несколько монет и переложил их в портмоне, после чего наконец повернулся ко мне:

— Что-то случилось?

Он ничуть не сердился на меня за то, что я без спросу расхаживал по его комнате, — по всей видимости, это его нимало не тревожило.

— Ты куда? — спросил я.

Он неопределенно тряхнул головой:

— Прогуляюсь.

— Но куда?

— Отец... — Он улыбнулся, как мне показалось, немного удрученно.

Я не мог вспомнить, когда он в последний раз улыбался, но улыбаться или нет — это, разумеется, решать ему.

— Прости меня, — улыбнулся я в ответ, — я постоянно забываю, что ты уже не ребенок.

Он двинулся к двери, и я шагнул за ним. Неужели он сейчас уйдет? Почему он не посмотрит на меня, не посмотрит на меня внимательно, не увидит, что я выздоровел, что привел себя в порядок, что с нашей прошлой встречи я изменился?

Эдмунд нехотя остановился. Мы стояли по разные стороны дверного проема, черной расселиной ставшего между нами. Два шага — и он исчезнет.

— Могу я спросить тебя кое о чем? — проговорил он.

— Разумеется. Спрашивай, о чем твоя душа пожелает. Я приветливо улыбнулся. Вот оно — начало беседы, наш с ним шанс, зарождение чего-то нового.

Он глубоко вздохнул.

— У тебя есть деньги?
Я остолбенел:
— Деньги?
Он скривился и помахал портмоне:
— Тут почти пусто.
— Я... — Звуки не складывались в слова. — Нет, прости...
Он пожал плечами:
— Пойду спрошу у мамы.
И исчез за дверью.

* * *

Сам не свой от унижения, я вернулся к себе. Значит, в его глазах я всего лишь кошелек? И кроме денег ему от меня ничего не надо?

Я уселся за письменный стол. Нет, это невозможно. Но деньги... Наверное, для него они олицетворяли вещи, которых мы были лишены. Ведь последние несколько месяцев семья терпела нищету... Вполне очевидно, что ситуация изматывала его. Нехватка денег непрестанно напоминала о болезни отца. А сейчас я восстал из мертвых, что само по себе неплохо, однако я по-прежнему не мог дать ему того, в чем он так нуждался. Он молод. Понятно, что эта простая, но вынужденная потребность стала играть в его жизни такую роль. Но он должен дать мне время. Благодаря моей идее Эдмунд получит не только то, в чем он так нуждается прямо сейчас, но и самое важное в этой жизни, — впрочем, это он поймет лишь со временем.

Я обмакнул перо в чернильницу и провел им по листу бумаги. Талантами художника природа меня обделила — к моему величайшему сожалению, ведь натуралисту постоянно приходится делать зарисовки. Впрочем, за долгие годы мне удалось выработать определенную технику, поэтому сейчас я, по меньшей мере, мог вполне сносно рисовать пером.

В голове у меня роились мысли, и пока они не исчезли, нужно было перенести их на бумагу. Я представлял себе ящик из дерева со скошенной крышкой. Форма соломенных ульев была естественной, со стороны они напоминали гнездо, а благодаря своему цвету почти сливались с колосьями в поле. Мне хотелось создать нечто иное, продукт цивилизации, маленький пчелиный дом, с дверьми и окнами, чтобы его можно было открыть и заглянуть внутрь. И он должен выглядеть как творение человеческих рук, ведь только мы, люди, способны построить нечто стоящее, создать

конструкцию, возводящую в ранг творца человека, а не природу.

* * *

Я просидел за чертежом несколько дней, вычерчивая миллиметровые линии, раздумывая, как наладить производство придуманного мною улья, и отдавая все силы мельчайшим деталям. Моя семья продолжала жить своей жизнью. Порой я готов был вообще забыть об их существовании, однако Джорджиана и Тильда ежедневно навещали меня. И еще Шарлотта.

Однажды утром она заглянула ко мне удивительно рано. Раздался негромкий стук в дверь — она всегда так стучала. Я вычерчивал крышу улья и поэтому сперва не ответил.

Стук повторился.

— Входи... — с досадой вздохнул я.

Дверь открылась. Шарлотта стояла, выставив одну ногу вперед, будто готовилась к прыжку и собиралась с силами.

— Добрый день, отец.

— Добрый день.

— Можно войти? — Голос звучал спокойно, но глаза она опустила.

— Я работаю.

— Я не буду тебе мешать, просто хочу вернуть ее обратно. — Она протянула мне книгу, сжимая ее обеими руками, словно нечто ценное. Шарлотта шагнула вперед, подняла голову и посмотрела на меня: — Я надеялась, что ты уделишь мне время и не откажешься обсудить ее... — Ее серо-зеленые глаза были посажены чересчур близко и совсем не походили на глаза Тильды. Шарлотта вообще была совершенно непохожа на свою мать.

— Поставь ее туда. — Я кивнул в сторону книжного шкафа и выразительно посмотрел на дочь, надеясь, что этого будет достаточно и что мне не придется самому выпроваживать ее.

— Хорошо. — Она снова опустила голову, подошла к шкафу и остановилась.

Я взял себя в руки. Да, мне некогда, но у меня нет никаких оснований вести себя с нею резко.

— Я сейчас работаю, но чуть позже с радостью побеседую с тобой, — сказал я в надежде, что голос мой прозвучал достаточно мягко.

Она не ответила и лишь посмотрела на книгу, которую по-прежнему держала в руках.

— Куда ее поставить?

— На полку, разумеется.

— Да, но... я думала... разве ты не расставляешь их в определенном порядке?

— Нет. Просто поставь ее куда-нибудь.

Шарлотта подняла глаза. Она явно оживилась.

— Хочешь, я приведу твои книги в порядок?

— Как это?

— Я могу расставить их по алфавиту или рассортировать по авторам, — не унималась она.

— Ну... да... почему бы и нет...

Она улыбнулась и уселась на полу перед шкафом. Я посмотрел на изящную линию ее шеи и забранные наверх волосы. Никакой завивки. Видимо, Шарлотту подобные глупости не интересовали. Она немного поерзала, усаживаясь поудобнее. Явно собиралась просидеть здесь долго.

Затем она принялась разбирать книги. Работала она споро, а движения были уверенными и осторожными. Она брала в руки книги, словно... ну да, словно возвращала в гнездо выпавших птенцов.

Я вновь склонился над чертежом, пытаюсь вернуться к работе, но не мог оторвать от Шарлотты глаз. Сколько радости было в ее движениях, сколько заботы, внимания и благоговения. Она выстраивала книги ровнехонько, в линейку, а потом проводила рукой по корешкам, чтобы убедиться, что ни один из них не выступает. Когда-то давно я и сам расставлял так книги. Видимо, Шарлотта почувствовала, что я смотрю на нее, потому что повернулась и улыбнулась мне. Я поспешно улыбнулся в ответ и вновь уставился на чертеж с тем необъяснимым чувством, будто меня раскусили.

Закончила она очень быстро. Я слышал, как она встала, но притворился, что ничего не заметил, что с головой погрузился в работу. Однако Шарлотта не спешила уходить и стояла возле книжного шкафа.

Я поднял взгляд:

— Благодарю.

Она кивнула. Но почему же она не уходит? Не могу же я работать, когда в спину мне дышит это существо из плоти и крови.

— Ты... Если хочешь, садись, — предложил я наконец, пододвинув ей стул. Ведь, в сущности, мне нужно было ее как-то отблагодарить.

— Спасибо. — Она поспешно присела на самый краешек стула.

Я вернулся к работе.

— Что это? — Она показала на чертеж.

Я посмотрел на нее:

— А как ты сама думаешь?

— Улей, — тотчас же догадалась она. Я изумленно посмотрел на нее, но потом понял, что она, должно быть, тоже прочла все мои журналы. — Ты хочешь собрать такой улей? — спросила она.

— Я закажу такой улей, и мне его соберут.

— Но... ты прямо сразу начнешь его делать?

— Отчего же прямо сразу? Разве ты не видишь, сколько книг я уже прочел? — Я обвел рукой книжные полки.

— Вижу, — ответила она, а затем уставилась на свои руки, лежавшие на коленях.

Раздражение во мне росло.

— Ты, кажется, обещала не мешать мне?

— Прости. Буду молчать.

— Нет, в голове у тебя что-то крутится.

— Я просто...

— Что?

— Ты всегда говорил, что начинать следует с самого низа.

— Вон оно как. И что же я еще говорил?

А ведь верно — я это говорил. Повторял неоднократно. Правда, не Шарлотте, а Эдмунду, когда он, делая уроки, сразу старался перескочить к самым сложным задачам, не освоив даже обычного умножения.

Она подняла голову:

— Еще ты рассказывал о том, что натуралист должен начинать работу с наблюдений.

— Верно.

— Что наблюдения — это основа всего. И лишь потом следует переходить к размышлениям.

Лоб мне словно сдавило железным обручем. Устами Шарлотты говорил я сам, и в словах моей дочери была жестокая и окончательная правота.

Тао

Мы проследовали за доктором Хио к лифту, поднялись наверх, прошли по длинному коридору до другого лифта и спустились. Доктор шагала очень быстро, время от времени оглядываясь. Возможно, она не желала, чтобы нас кто-нибудь заметил. Как она сама сказала, согласно инструкциям навещать Вей-Веня не разрешалось. Он лежал в изоляторе, а заходить туда было запрещено.

— Но, — сказала она, обращаясь, скорее, к самой себе, — вы мать. — Она бросила быстрый взгляд на Куаня, словно впервые заметив его. — Вы родители. Вы должны его увидеть. — Ее голос вдруг задрожал, наигранное профессиональное сочувствие испарилось.

Что ждет нас там? Вей-Вень на больничной койке. Бледный. Глаза закрыты. Синяя сеточка вен на веках. Маленькое тело, прежде такое быстрое и полное жизни, а теперь совсем ослабшее. Руки вытянуты вдоль тела, из одной руки торчит трубка от капельницы. Руки, которые обнимали меня за шею, гладкая мягкая щека, прижимавшаяся к моей. А вокруг приборы, аппараты, мерцающие экраны. Стерильность. Белизна. И одиночество?

Изолятор располагался далеко, хотя, возможно, доктор специально вела нас кругным путем. Когда мы проходили мимо других врачей, она лишь коротко кивала и ускоряла шаг. Мы будто бы шли к самым недрам больницы, туда, откуда не существует выхода.

Наконец доктор остановилась перед железной дверью. Она огляделась, чтобы удостовериться, что поблизости никого нет, а потом нажала на кнопку. Дверь с тихим шорохом отворилась. По периметру дверной косяк был обит черной резиновой лентой, так что внутрь не проникало ни пылинки. Мы шагнули внутрь. За вентиляционной решеткой что-то громко гудело. Воздух внутри был совсем другим. Дверь за нами плотно закрылась, точно в черной резине скрывался притягивающий металл магнит.

Я ожидала увидеть здесь врачей и медсестер. Представляла, как они, одетые в стерильные белые халаты, подбегут к нам. Слышала их строгие резкие голоса. «Сюда нельзя, немедленно покиньте помещение, это отделение закрыто для посетителей». Я продумала слова, которые скажу им. Приготовилась дать отпор Куаню — я видела, что он уже собрался отступить, не желая находиться здесь, на запрещенной территории.

Но коридор перед нами был пустым. Все отделение было пустым. Мы прошли вперед, завернули за угол. Я ожидала увидеть стойку дежурного и снующих по коридору врачей. Однако и здесь не было ни души. Доктор Хио шла впереди. Лица ее я не видела, но двигалась она как-то нерешительно, постепенно сбавляя шаг.

Она остановилась перед еще одной дверью. Эта дверь тоже была железной, гладкой и блестящей, безо всяких ручек. Посредине имелось круглое окошко, похожее на иллюминаторы на старых кораблях. Я заглянула внутрь, но лампы здесь светили слишком ярко, и я так ничего и не разглядела.

— Это здесь. Он лежит здесь, — сказала она. Она замялась. А потом отступила назад: — Вы можете зайти туда одни.

Я дотронулась рукой до двери. Ледяной металл ожег кожу, и я на миг отдернула руку. Моя ладонь оставила на стерильной поверхности влажную отметину. А затем я открыла дверь.

Я шагнула вперед и оказалась в полутемном помещении. Краем глаза я увидела, что Куань последовал за мной. К темноте я привыкла не сразу и едва не врезалась в толстую стеклянную стену, расположенную всего в метре от двери. За стеклом находилась обычная, скромно обставленная больничная палата. Шкаф. Кровать. Железная тумбочка. Голые стены. Кровать.

Пустая.

Кровать была пустой.

Палата была пустой. Вей-Веня там не было.

Я метнулась назад, в коридор. И остановилась. Рядом с доктором Хио стоял другой врач. Они шепотом горячо обсуждали что-то. Незнакомый врач внушительно нависал над доктором Хио и казался строгим и раздраженным.

Куань остановился возле меня.

— Где он? — громко спросила я.

Врач повернулся к нам и умолк. Высокий, худощавый и бледный, с беспокойными руками, которые он спрятал в карманы халата.

— К сожалению, вашего сына больше здесь нет. Его выписали.

— Как это?

— Его перевели в другую больницу.

— Перевели? И куда же?

— Его перевели в... — Он старательно прятал глаза. — В Пекин.

— В Пекин?!

— Как вам, вероятно, уже сообщили, мы по-прежнему не уверены в

диагнозе. По этой причине было решено перевести его в специализированную клинику.

Куань лишь молча кивал.

— Нет, — сказала я.

— Что? — Врач наконец посмотрел на меня.

— Нет. Вы не можете вот так просто взять и вышвырнуть его.

— Никто никуда его не вышвыривал. Мы передали его в руки лучших специалистов. Вы должны быть благодарны...

— Но почему нам никто ничего не сказал? Почему нас не отправили вместе с ним?!

Это случилось снова. Сперва мама. А теперь Вей-Вень. Их обоих отняли у меня безо всяких объяснений.

— В какой он больнице?

— Вам сообщат позже.

— Сейчас же!

— Возвращайтесь домой, а мы скоро свяжемся с вами.

В голове у меня словно раздался взрыв, и я утратила рассудительность и самоконтроль. Мой голос превратился в крик:

— Отведите меня к сыну! Я хочу его видеть! — В два прыжка я подскочила к врачу и схватила его за плечи: — Покажите мне моего сына!

Кровь ударила мне в голову, щеки намокли от слез, я трясла врача за плечи, а тот недоверчиво смотрел на меня.

Потом кто-то вцепился в меня сзади, прижал мои руки к телу, обездвижил меня, парализовал, сделал меня такой же беспомощной, как он сам. Куань. Как всегда, послушный.

* * *

В поезде по пути домой мы не разговаривали. Дорога с пересадкой заняла три часа. Дважды нам пришлось пройти проверку — у нас сняли отпечатки пальцев и засыпали вопросами. Кто мы? Где живем? Куда едем? Где были? Куань отвечал на вопросы спокойно и терпеливо, и я не могла взять в толк, как ему такое удается. Он будто бы остался самим собой. И все же что-то изменилось. Один раз я встретила с ним взглядом и отметила, что на меня смотрят совершенно незнакомые глаза. Я отвернулась.

От станции до дома мы шли пешком. Нам оставалось пройти пару сотен метров, когда мы вдруг заметили в небе несколько вертолетов. Гул их

моторов то удалялся, то вновь нарастал. Сначала мне даже показалось, что они летают прямо над нашим домом, но, подойдя ближе, я увидела, что они летают над рядами грушевых деревьев. И над лесом.

Мы завернули за угол и остановились. Там, перед домом, где начинался бесконечный фруктовый сад, стояли наши коллеги, все в рабочей одежде. Их оторвали от работы, и теперь они молча сбились в кучу и беспомощно наблюдали за происходящим. У некоторых в руках по-прежнему был садовый инвентарь и корзинки для мусора. Немного поодаль виднелся холм, где мы в последний раз обедали, а за ним — лес. Вертолетов в воздухе становилось все больше, а прямо перед нами стояла безмолвная колонна танков, похожая на стену. Стену, отделявшую нас от фруктовых деревьев. Возле танков топтались солдаты — они устанавливали опоры и натягивали на них белый брезент, так что получалось длинное заграждение. Работали солдаты быстро и ловко, не говоря ни слова, так что до меня доносился лишь стук, с которым втыкались в землю опоры. За солдатами, за оградой, я разглядела и других людей, одетых в комбинезоны и со шлемами на головах. Значит, там, среди деревьев, пряталось нечто такое, чего они боялись.

Джордж

Мне не спалось. После беседы с Томом мне словно кто-то скреб граблями по сердцу, а из головы не шли сказанные им слова.

Снова и снова.

Я получил стипендию. Тебе платить не придется. Джон все уладил.

Рядом спала Эмма. Дышала она почти беззвучно. Лицо ее разгладилось, спящей Эмма выглядела моложе. Прямо удивительно — она лежит себе и спит, а я места не нахожу, совсем извелся уже.

Во дворе замигала лампочка. Она, видать, готова была вот-вот перегореть, а может, что-то с контактом, вот она и мигала, ну точно как на дискотеке. Лучи света били мне прямо в глаза. Я натянул на голову одеяло, но и это не помогло. Еще и дышать стало тяжелее.

Я вскочил и подвинул штору, закрывая щель, в которую проникал свет. Но куда там! Штора прекрасно пропускала свет. Может, Эмма и права — давно пора повесить такие шторы, сквозь которые свет вообще не проникает. Она даже показывала мне фотографию в журнале — обычные рулонные шторы. Но сейчас-то их у меня нету. Так что сперва надо придумать что-то с этой лампой. Прямо сейчас. Там и работы-то на две минуты, всего лишь какая-то дурацкая лампочка. Иначе мне все равно не уснуть.

Ночь выдалась теплая. Куртку я надевать не стал, вышел в чем был, то есть в футболке. Смотреть тут на меня все равно некому.

Фонарь висел высоко на стене, без стремянки не обойдешься. Я заскочил в мастерскую, схватил самую высокую, вернулся во двор, приставил ее к стене, проверил, не шатается ли, и забрался наверх.

Плафон намертво пристыл к цоколю — как я ни давил, ничего у меня не выходило. Ко всему прочему, плафон сильно нагрелся. Ухватить-то я его мог, а вот держать долго уже не получалось. Я сдернул с себя футболку, обмотал ею плафон и снова попытался прокрутить его. Бесполезно.

Мигала лампочка как-то странно — быстро и безо всякого ритма. Да, похоже, контакт отошел. Каждый раз, когда я чиню электричество, Эмма ругается, но давайте по-честному: электрики обдерут вас как липку уже за то, что вы на них посмотрите. Вот у кого зарплата ого-го! Вот на кого надо было выучиться. Или Тома выучить. Куда как лучше вышло бы: поучился чуток — и гребь деньги лопатой.

Получил стипендию. Тебе платить не придется. Джон все уладил.

Да, это удар, но меня таким не напугаешь.

В трусах, носках и ботинках я стоял на стремянке и силился выкрутить эту поганую лампочку. Наконец плафон поддался. Зажав его и футболку в левой руке, я вцепился в лампочку.

— Сучий потрох!

Лампочка оказалась адски горячей. Я слез со стремянки, положил на землю плафон и полез обратно. К счастью, лампочку я выкрутил быстро, но потом подумал, что если в ней и впрямь контакт отошел, придется вообще все снять, вместе с цоколем. Иначе и до пожара недалеко. Ведь тут и делов-то на пару минут...

Я вернулся в мастерскую, захватил инструменты и опять влез на стремянку.

Ненавижу шурупы. На них чуть надавишь — и сразу в середине дырка, в которой крути не крути — все равно ничего не выкрутишь. А тут их было целых четыре, и все, заразы, ржавые и упрямые. Но я-то упрямее. Меня так просто не возьмешь, шурупом каким-то.

Я сосредоточился и поднажал. Вот они, все четыре, — выкрутились как миленькие. Однако лампочка по-прежнему торчала из протравленной красной морилкой стены. Ну ничего, осталось чуть-чуть, это уже ерунда. Я ухватился за цоколь и потянул.

Лампа оказалась у меня в руках, и теперь из стены торчали лишь провода, похожие на толстых червяков. Я ткнул пальцем в один из них.

— Хрен тебя возьми!

Ток был довольно слабый, и в одиночку ему меня никогда не одолеть. Вот только в другой руке я держал лампочку и отвертку, а стремянка была довольно колченогой.

* * *

Я лежал на земле. Может, даже сознание потерял. А перед этим стремянка покачнулась и повалилась на землю, и я вместе с ней, прямо как герой из мультфильма, — все это я словно видел со стороны. Кое-где тело болело. Дико болело.

Наверху болтались провода. Тянулись ко мне, совсем как щупальца. Я прищурился, и они замерли. Потом надо мной появилось лицо Эммы, заспанное и растерянное.

— Джордж, ну что же это такое...

— Это все фонарь.

Она подняла голову и заметила торчащие из дырки в стене провода.

Я сел, медленно и с опаской. К счастью, тело меня слушалось. Значит, ничего не сломал. И лампу открутил. Как решил — так и сделал.

Эмма кивнула в сторону стремянки:

— Что, непременно надо было лезть туда посреди ночи? — Она протянула мне руку и помогла подняться. — До утра никак не мог подождать?

Я сделал несколько шагов. Одна нога болела, но я старался не подавать вида. Вообще говоря, надо было, наверное, застыдиться, но мне, наоборот, стало легче, ведь у меня все получилось. Вот какой я упрямый сукин сын. Не из тех я, кто поджигает хвост и бежит от трудностей.

Эмма протянула мне футболку, и я уже собирался натянуть ее на себя, когда Эмма меня остановила:

— Погоди-ка.

Она подошла поближе и принялась отряхивать грязь у меня со спины. Лишь в этот момент я понял, как сильно изгваздался: с ног до головы был в грязи, а руки до локтя покрыты черными пятнами копоты с плафона.

Я вывернулся у нее из рук, натянул наконец футболку, чувствуя, как застиранная ткань вдавливают в кожу несколько налипших на спину камешков. Спать на них будет не сахар — все равно что ходить с камешками в ботинках. Но какая разница, ведь лампу-то я открутил.

Я вновь приставил стремянку к стене и направился в мастерскую. Решил во что бы то ни стало закончить начатое.

— Принесу изоленту, — сказал я, — нельзя же оставлять оголенные провода.

— Ну уж это-то до завтра подождет?

Я не ответил.

Она вздохнула.

— Давай я хотя бы свет выключу, — сказала она уже громче.

Я повернулся. Эмма улыбалась. Она что, издевается надо мной? Что, я забыл первую заповедь электриков?

— Иди спать, — только и ответил я.

Она пожала плечами, развернулась и направилась к дому.

— И знаешь что, Эмма? — вспомнил вдруг я.

— Что? — Она остановилась и повернулась ко мне. Я выпрямился и собрался с духом.

— Ни в какую Флориду я не поеду. Просто чтоб ты знала. Хочешь во Флориду — найди себе еще кого. Я останусь тут. Сдался мне этот ваш Галф-Харборс.

Уильям

Я купил соломенный улей и, когда его спустя три дня мне прислали, поставил в тени, под осиной, в самом дальнем углу сада, где мы ничего не выращивали. Там улей никому не мешает, дети туда не забегают, и у меня будет возможность работать в покое и тишине, вдумчиво наблюдать за пчелиным роем, записывать результаты и делать зарисовки. Один фермер, живущий чуть к югу от города, продал мне улей и глазом не моргнув — видимо, потому что я сразу, даже не спросив его, назначил цену. Он и не пытался торговаться, тотчас же согласился, исходя из чего я понял, что вполне мог купить улей за полцены.

Он принялся было рассказывать мне, как правильно собирать мед, но я лишь отмахнулся: улей понадобился мне отнюдь не ради меда.

Из старой белой простыни Тильда сшила мне костюм, похожий на тот, в который облачаются фехтовальщики. Ей даже пришлось три раза ушивать его — как видно, Тильда пока не уяснила, что мои мерки изменились. Для работы с ульем я надел длинные перчатки. Руки в них потели, однако без перчаток было никак не обойтись.

И вот я стоял там, под осиной, один на один с ульем. С пчелами.

Я захватил и блокнот. Наблюдения — работа долгая и скучная, однако она всегда приносила мне радость, именно наблюдения породили во мне страсть к науке. Как же я мог забыть об этом?

Раскрыв блокнот и собравшись записывать, я вспомнил еще кое о чем. За эти годы я совершенно отвык учитывать все детали и поэтому забыл даже принести стул. Я вернулся в дом за табуреткой. Под костюмом я был весь мокрый от пота, а сам костюм, как я теперь понял, все же вышел тесноватым и ощутимо жал в подмышках и между ног.

Я уселся на табурет и мало-помалу успокоился.

Казалось, будто в улье ничего особенного не происходит. Пчелы вылетали оттуда и возвращались назад, как им и полагается. Они собирали пыльцу и нектар, делая из нектара мед, а пыльцу пуская на корм личинкам. Мирная кропотливая работа, размеренная, выполняемая благодаря инстинктам и врожденным навыкам. Все эти пчелы были братьями и сестрами, а матка — их матерью. Она породила их, но вовсе не она управляла ими — управляло ими единство.

Мне так хотелось понаблюдать за маткой, но стены улья скрывали от меня происходящее внутри.

Осторожно подняв улей, я попытался заглянуть в него снизу. Пчелы устремились наружу и сердито жужжали прямо у меня над ухом, недовольные тем, что их потревожили.

Я увидел восковые наросты, нескольких трутней, расплод и личинок и наклонился еще ниже. Кожа зудела от предвкушения: я вот-вот возьмусь за работу, наконец-то!

— Ужин! — Крик Тильды заглушил мерное жужжание пчел и вспугнул птиц.

Я вновь наклонился над ульем. Это меня не касалось. Семейные трапезы перестали быть частью моей жизни, я уже несколько месяцев не садился за общий стол со всеми остальными. Девочки направились к дому и одна за другой скрылись внутри.

— Пора ужинать!

Я украдкой взглянул через плечо. Тильда спустилась в сад и теперь направлялась ко мне.

* * *

Маленькая Джорджиана царапала вилкой пустую тарелку.

— Тсс! — одернула ее Тильда. — Положи вилку на место!

— Я кушать хочу!

Тильда, Шарлотта и Доротея поставили на стол два больших блюда — одно с овощами, а другое с вареной картошкой — и супницу со странной жижей, считавшейся, по всей видимости, супом.

— Это все? — Я обвел рукой стол.

Тильда кивнула.

— А где мясо?

— Мяса не будет.

— А пирог?

— У нас нет ни масла, ни муки. — Она упрямо смотрела на меня. — Впрочем, возможно, ты разрешишь нам потратить то, что отложено на учебу Эдмунда?

— Нет. Эти сбережения мы трогать не будем.

Я вдруг понял, почему она так настойчиво звала меня ужинать. Тильда оказалась намного хитрее, чем я предполагал. Я посмотрел на худые детские лица и голодные глаза, с жадностью рассматривающие эту жалкую снедь.

— Ну что ж, — проговорил я наконец, — возблагодарим Господа за

пищу, которую он ниспослал нам.

Я опустил голову и произнес молитву. Говорил я неохотно, быстро выплевывая слова, чтобы поскорее закончить.

— Аминь.

— Аминь, — тихо повторили все остальные.

Я посмотрел в окно, на улей в дальнем углу сада. Еды я положил себе совсем немного, желая поскорее закончить с ужином и вернуться к работе.

Тильда взяла у меня блюдо и по очереди принялась накладывать детям. Я порадовался, что Эдмунд среди них старший, ему полагается накладывать себе еду сразу после Тильды, а значит, и достанется больше, ведь в этом возрасте мальчикам надо питаться четыре раза в день. Однако Эдмунд ел мало и лишь вяло ковырял вилкой в тарелке. Он был болезненно бледным и худым, словно редко бывал на солнце. Руки у него дрожали, а на лбу выступила испарина. Неужели он болен?

Девочки же, напротив, с жадностью накинудись на еду, которой на всех едва хватало. Крошке Джорджиане пришлось довольствоваться жалкими остатками. Шарлотта взяла со своей тарелки картофелину и отдала ее сестренке.

Ели мы в полной тишине, и спустя несколько минут тарелки девочек опустели.

Во время ужина Тильда не сводила с меня глаз. Говорить ей ничего и не требовалось — я и так прекрасно понимал, что она хочет сказать.

Джордж

Я выехал на рассвете. Сделал несколько бутербродов в дорогу и захватил термос с кофе. По пути я ни разу не остановился — так все семь часов и проехал на одном дыхании. Эмму с утра не видел. Закончив с лампой, я на пару часов прикорнул на диване, а Эмма из спальни так и не выходила — может, спала, а может, и нет. Проверять я не стал. Да и времени не было особо. Хотя... по правде говоря, я просто струхнул.

Глаза резало, словно в них песка насыпали, но спать я и не думал, так что домчался с легкостью. Ехал намного быстрее положенного, но машин на дороге было мало, и полицейских тоже, а то у меня наверняка отобрали бы права. Хорошенькое было бы дело!

Часы на приборной доске показывали 12:25, когда я затормозил перед зданием колледжа. Машину оставил на парковке — там, правда, была табличка «Место профессора Стефенсона», но мне было плевать. Найдёт себе другое место, Стефенсон этот.

Крыша колледжа была покрыта красной черепицей. Ну естественно, у нас что ни колледж — то с черепичной крышей. Здание это построили относительно недавно, но оно смахивало на старое — такое высокое и внушительное, вокруг окон белые наличники — видать, хотели, чтоб было похоже на Гарвард. Чтобы вызывало уважение, но не отпугивало.

В последний раз я был тут прошлой осенью, когда мы привезли сюда Тома. Мы тогда отнесли его вещи в крошечную тесную комнатенку, в которой жил еще один студент, очкастый коротышка-японец. В комнате воняло грязными носками и гормонами. Бедные парни, один и не останешься — непременно рядом будет кто-нибудь ошиваться. Ну, видно, так оно здесь принято.

Я вошел внутрь и прошел мимо длинного ряда блестящих табличек с именами благодетелей, среди которых, к счастью, не было «Пчеловодческого хозяйства Грина», потом мимо витрины с кубками, которые студенты получили за участие во всяких дурацких соревнованиях, а потом — мимо портретов, с которых на меня смотрели кислые физиономии ректоров. Все они были мужчинами. Впрочем, их оказалось не так уж и много — колледж основали в семидесятых, поэтому никакими давними традициями он похвастать не мог.

Вскоре я очутился в просторном помещении с каменным полом и услышал эхо собственных шагов. Сперва я даже оторопел и постарался

особо не топать, но потом одумался. Чего мне бояться-то? Я плачу за то, что мой сын тут обучается, поэтому нельзя сказать, что я тут совсем уж лишний. В какой-то степени меня даже можно назвать акционером этого колледжа.

Я подошел к стойке и спросил, где Том. Громко и четко. Без всяких вводных фраз.

За стойкой тощий парень с дредами сидел, уставившись в компьютер. Не удостоив меня даже взглядом, он залез в расписание.

— У него сейчас свободное время, — сообщил он и принялся стучать по клавишам, наверняка играл в какую-нибудь компьютерную игрушку прямо посреди рабочего дня.

— Это срочно, — сказал я.

Парень ухмыльнулся. Что такое работа — этого, похоже, ему в детстве не объяснили.

— А вы тогда проверьте в библиотеке.

* * *

Перед Томом высился штабель книжек, а сам он тихо переговаривался с двумя другими студентами — довольно милой, но ужасно одетой брюнеткой и парнем в очках. Они, похоже, обсуждали что-то важное, потому что Том заметил меня, только когда я подошел к нему вплотную.

— Папа?! — произнес он довольно тихо. Видать, в этой цитадели знаний громко говорить не полагалось.

Двое других тоже посмотрели на меня — так, словно я был назойливой мухой, прервавшей их важную беседу.

Мне почему-то представлялось, что он сидит тут в полном одиночестве и ждет меня, а у него, оказывается, имеется собственная жизнь, и участвуют в ней люди, которых я знать не знаю.

В качестве приветствия я неловко помахал рукой:

— Наше вам с кисточкой! — И тут же пожалел. Наше вам с кисточкой? Так уже сто лет никто не говорит.

— Ты приехал? — спросил он.

— А то!

Еще хуже. А то? Завязать разговор никак не получалось. Наверное, придется подождать и сказать все, что собирался, попозже.

— Что-то случилось? — Он вскочил. — Мама заболела?

— Да нет, все путем. Мама здорова как бык. Хе-хе. О господи. Нет,

лучше уж мне вообще молчать.

* * *

Мы с Томом вышли на улицу и уселись на скамейку. Здесь весна уже набрала силу, воздух был плотным и теплым. Повсюду вокруг бродила молодежь. Студенты. Многие в очках и с кожаными сумками.

Я заметил, что Том удивленно разглядывает меня, но вдруг растерялся и теперь не знал, с чего начать.

— Ты приехал сюда просто поболтать?

— Может, и так.

— Как на ферме дела? Как пчелы?

— Да вроде все на месте, никуда не улетели пока. — Я было засмеялся, но смех прозвучал так натужно, что я притворился, будто кашляю.

Мы немного посидели молча. Я собрался с силами и решился наконец сказать то, зачем приехал:

— Я на следующей неделе поеду в Блю-Хилл. Это в округе Хэнкок.

— Вон оно что. А где это?

— В Мэне. До моря там всего десять минут. Помнишь, ты со мной туда ездил?

— Кажется, да... Не знаю.

— Тебе пять лет было, ты еще в школу не ходил. Мы с тобой вдвоем ездили. А спали в палатке.

— А, ну да. Та наша поездка.

— Да, та поездка.

Он немного помолчал.

— Там еще медведь был, — проговорил он наконец. — Но закончилось-то все хорошо, — сказал я, но получилось почему-то чересчур громко.

— Они по-прежнему там водятся?

— Кто?

— Медведи.

— Да нет, конечно. Их там давно уже нету.

Я вдруг вспомнил его испуганные глаза. Огромные и круглые. И сопение медведя возле палатки.

— А ты знаешь, что они на грани вымирания? — спросил вдруг он. Его голос вновь звучал как обычно.

— Да сейчас много кто на грани вымирания. — Я опять засмеялся. — Твой старый отец, например.

Но он не засмеялся.

Я собрался с духом. Пора выложить все начистоту, я ведь за этим и приперся сюда.

— Я приехал попросить тебя съездить со мной в Мэн, — выпалил я.

— Что-о?

— Мне повторить?

— Прямо сейчас?

— В понедельник. Три грузовика, на один больше, чем прежде.

— Клево. Расширяешься?

— Мы расширяемся.

— Папа, я не смогу поехать. Ты же знаешь.

— Работы стало больше. Пора тебе подключаться.

— У меня скоро экзамен.

— Да тебя и не будет-то всего несколько дней.

— Мне никто не разрешит.

— Уж точно не больше недели.

— Папа...

Я сглотнул. Все мое выступление псу под хвост. Выступление с большой буквы «В», я его всю дорогу репетировал. Выстраивал слова, складно, в ряд, прямо как новеньких оловянных солдатиков, а теперь все они словно расплавились и давили мне на мозг. «Наследство, — вот что я собирался сказать, — это твое наследство. И в этом ты сам, Том. Пчелы.

— Тут для пущего эффекта я на секунду приумолк бы.

— Вот в чем будущее. Дай ему шанс. Дай им шанс».

Но ни одно из этих слов до языка так и не добралось.

— Я попрошу тебя освободить, — предложил я, — скажу, что ты на пасеке нужен.

— На таком основании никто меня не отпустит.

— Ты в этом году много пропускал по болезни? Небось вообще не пропускал?

— Два дня... Или, может, три...

— Вот видишь! Почти не пропускал!

— Но это особой роли не играет...

— Да будет тебе, скажи, что заболел! Уж учебники-то читать можно где угодно.

— Папа, я же не только учебники читаю. Нам задают домашнее задание, и его надо сдавать.

— Так делай свои задания, кто ж мешает.

— Мне нужны книги.

— Возьмешь их с собой.

— Библиотечные книги. Их на дом не дают.

— Том, это же только на неделю. Всего на неделю... — Папа. Я не хочу! — Он вдруг повысил голос, и на нас тут же с любопытством уставились две коротко стриженные девчонки, одетые как парни, в подвернутых брюках и огромных армейских ботинках. — Я не хочу, — повторил он уже тише, глядя на меня с особой щенячьей мольбой. Такой взгляд бывает иногда у Эммы, и, как правило, устоять перед ним я не могу.

Я вскочил словно ошпаренный, не в силах высидеть больше ни секунды.

— Это все он, да? Его фокусы?

— В смысле? Кто — он?

Не дожидаясь другого ответа, я рванул обратно, в эту покрытую черепичной крышей клоаку.

Кабинеты преподавателей располагались за стойкой администратора.

— Эй, вы куда?

Я молча проскочил мимо дредастого парня.

— Эй! — Он вскочил, но я уже шагнул по коридору мимо открытых дверей. Профессор Викинсон, Кларк, Чанг, Лэнгли... Книжные полки, широкие подоконники, тяжелые шторы. Ни капли человеческого, одна проклятая наука. Смит. Вот и он. Закрытая дверь, а на ней латунная табличка. Производители латуни — вот кто уж точно никогда не обанкротится. «Профессор Джон Смит».

Дредастый был уже близко.

— Мне сюда! — крикнул я ему и заметил, что запыхался. — Я нашел!

Администратор кивнул и остановился. Ему, наверное, запрещалось пускать сюда посторонних, но он лишь пожал плечами и поплелся на свое место.

Постучать? Прямо как напуганный студент с книжками под мышкой?

Нет уж. Не стану я стучаться.

Я расправил плечи, сглотнул слюну, взялся за ручку двери и надавил на нее.

Заперто.

Твою ж мать.

В этот момент в коридоре показался молодой парень.

Чисто выбритый, аккуратно причесанный, в толстовке и кедах. Студент.

— Вам помочь? — Он широко улыбнулся. Зубы белые и ровные. Еще одна жертва брекетов. В неровных зубах была какая-то изюминка, а сейчас все вокруг одинаковые.

— Я ищу Джона Смита, — сказал я.

— Это я.

— Вы?

Я даже растерялся — уж больно этот парень отличался от того, каким я его себе представлял. Весь запал у меня исчез: не стану же я мериться силой с ребенком.

— А вы кто? — спросил он с прежней улыбкой.

Я приосанился:

— Я отец Тома.

— Ясно. — Все еще улыбаясь, он протянул мне руку: — Очень приятно.

Руку я ему все-таки пожал, иначе вышло бы совсем не по-человечески.

— Да. И мне. Тоже приятно.

— Войдете? — предложил он. — Полагаю, вы хотели со мной поговорить.

— Это еще мягко сказано, — вырвалось у меня.

— Что-что?

— Да нет, ничего. — Я виновато улыбнулся.

— Совсем ничего?

— Ну... Да, мне надо с вами потолковать.

Он отпер дверь и впустил меня в кабинет. В окна било солнце — так, что даже шторы не помогали, оно застывало в воздухе прозрачными колоннами и отскакивало от оправленных в стекло фотографий солнечными зайчиками. На стенах висели плакаты. Фильмы. «Назад в будущее», «Инопланетянин», «Звездные войны» — самый первый фильм. «Давным-давно, в далекой-далекой галактике...» Ну надо же.

— Пожалуйста, присаживайтесь. — Я сел. Он тоже сел, на такой крутящийся офисный стул. Получилось, что я вроде как ниже его, и я скривился. — Ох, прошу прощения.

Он поднялся, пересел в кресло и оказался вровень со мной. Мы сидели в креслах, и теперь нам только выпивки не хватало.

— Вот сейчас в самый раз. — Он опять улыбнулся. — Итак, чем я могу вам помочь?

Я заерзал и отвел глаза.

— Отличный плакат, — я кивнул на «Звездные войны», стараясь говорить спокойно.

— Вам нравится? Это настоящий плакат тех времен.

— Серьезно?

— Когда я начал работать здесь, заказал его по интернету.

— Вы ж такой молодой — неужто вам правда нравится этот фильм?

Он рассмеялся.

— У меня была видеокассета с ним.

— Так я и думал.

— И я собирал игрушки — у меня были все герои. И космический корабль. А вы тоже фанат?

— Это еще слабо сказано. — Да что ж такое. Пора мне научиться следить за языком.

Он вдруг запел. Мелодию, которая играет в начале фильма. А потом еще и пальцем принялся дирижировать.

Я во весь рот заулыбался. Пение резко прекратилось.

— Все остальные фильмы были не в пример хуже.

— Это точно.

Мы помолчали. Он поглядывал на меня. Ждал.

Уильям

Я поступил так, как хотела Тильда, повиновался приказу, который прочитал в ее глазах, хотя каждый шаг, сделанный мною по направлению к магазинчику, причинял боль. Я словно шел в Каноссу^[2]. Вышел я рано, когда рассвет только начал заниматься. Где-то хрипло прокричал петух. Из мастерской шорника доносился металлический лязг, но людей я не увидел. Каретника, часовщика и бакалейщика на местах еще не было. Расположенный в конце улицы трактир — тесная зловонная дыра, которую я ни разу не удостоил своим присутствием, — был закрыт. Возле него, привалившись к стене, дремал пьянчужка, который, по всей видимости, не нашел дороги домой. Вглядевшись, я узнал в нем одного из завсегдатаев трактира и отвернулся. Его судьба вызывала во мне отвращение. Махнуть на себя рукой, позволить выпивке решать за тебя, одержать над тобой победу...

Лишь пекарня работала, и аромат свежего хлеба, булочек, а возможно, и сваммерпаев просачивался на улицу, и мне даже казалось, будто я вижу этот хлебный дух. К счастью для меня, пекарь и двое его сыновей трудились возле печи, пока еще не решаясь выйти на воздух и передохнуть, покуривая трубочку и дожидаясь первых покупателей. Поэтому и для них я остался незамеченным.

В ближайшие часы я все равно не собирался открывать магазин, поэтому не желал, чтобы кто-то меня увидел. Самые смелые наверняка принялись бы задавать вопросы, совершенно для меня невыносимые. *Сколько лет, сколько зим! Ну надо же. Так вы еще живы? Тут поговаривали, что вы болеете. Ну а сейчас-то выздоровели? Теперь заживете по-прежнему?*

На двери низенького здания из красного кирпича висел замок, перед входом лежала куча прошлогодней листвы. С трудом подняв руку, я вставил ключ в замок. Металл царапнул металл, и от этого скрежета я вздрогнул. Заходить внутрь мне не хотелось — слишком хорошо я знал, что меня там ждет. Пыльное, грязное помещение, и чтобы привести его в должный вид, у меня уйдут недели.

Я толкнул дверь, но она не сдвинулась с места, впрочем, открыть ее всегда было непросто. Однако, когда я уперся в нее плечом, дверь внезапно подалась и открылась — удивительно легко и бесшумно, без прежнего пронзительного скрипа, ставшего за долгие годы привычным. Возможно,

их смазала маслом пышногрудая, вечно хихикающая племянница Тильды, девушка, которую в минуту слабости я согласился сделать своей помощницей в магазине? Для родителей Альберта превратилась в обузу и давно достигла брачного возраста, возможно даже, она уже немного перезрела и была похожа на мягкую грушу, вот-вот готовую упасть на землю под тяжестью собственных соков. Щекотливость ее положения понимали как она сама, так и родители, однако подобрать ей достойного спутника жизни оказалось задачей не из легких. Сперва родители не теряли надежды найти ей подходящую партию, но приданого за Альбертой не давали, а другими достоинствами, кроме уже упомянутых, природа ее обделила. Тем не менее девушка добивалась цели с завидным упорством и не выставляла напоказ свои прелести разве только в витрине. Ей нестерпимо хотелось замуж, и она вела себя так, словно видела суженого в каждом заходившем в магазин мужчине. Единственное, что Альберта делала, когда крутилась возле прилавка, это наклонялась пониже, демонстрируя всем желающим блестящую от пота ложбинку меж грудей. Работа ее ничуть не интересовала, поэтому, когда я заболел, она целыми днями, на радость прохожим, топталась в дверях магазина, а потом Тильда наконец была вынуждена ее рассчитать. Она умудрялась испортить все, что бы ни делала, а из-за ее хихиканья у меня вечно болела голова и я непрестанно находился в самом скверном расположении духа. А ее похотливость, такая неприкрытая, то, что эта девушка вообще осмеливалась выставлять себя напоказ...

В магазине царил полумрак. Я зажег несколько свечей и латунную лампу. Вокруг было на удивление чисто и прибрано. На широком прилавке я разглядел чернильницу, чековую книжку и тяжелые латунные весы — все это изящно выстроено в ряд по одному краю стола. Висевшую на потолке лампу тоже тщательно протерли и налили в нее масла, так что мне оставалось лишь зажечь ее. Прежде пол почти всегда был усыпан крупинками соли и перца, которые скрипели при каждом шаге, однако сейчас пол выскребли так, что видно было каждую трещинку и даже светлые вытоптанные дорожки, ведущие от прилавка к ящикам и к входной двери. Тильда говорила, что запереть магазин поручила Альберте, и ничего не упоминала о том, что кто-то заходил сюда после этого. Однако здесь явно кто-то побывал.

Я подошел к окну и посмотрел на подоконник. Чисто. Ни единойдохлой мухи, как это обычно бывает после долгого отсутствия. И дышалось легко, воздух не был спертый, а значит, мой магазинчик недавно проветривали. Я прошелся вдоль рядов маленьких ящичков, открыл один

из них и заглянул внутрь. Чисто. Я открыл еще один. В этом тоже оказалось чисто.

Кто-то протер здесь пыль. Альберта? Насколько я знал, она устроилась в бакалейную лавочку, поэтому с моей стороны глупо было предполагать, что Альберте вздумалось вдруг бросить работу, чтобы помочь мне. Но кто бы это ни был, я чувствовал облегчение. Все вокруг блестело, магазин не просто можно было открыть в любую минуту для посетителей — таким сверкающе чистым они его никогда не видели.

Однако у меня имелся и повод опечалиться: на складе было почти так же пусто, как в Сахаре. Зерно и семена закончились, а соли, перца и специй осталось вполовину. В ящичках для цветочных луковиц я обнаружил лишь одинокие сухие листья и засохшие белые корешки. Альберта закрыла магазин, когда выпал снег, перед этим умудрившись распродать все те луковицы, которые положено сажать осенью, даже весьма сомнительные сухие нарциссы, уже несколько лет валявшиеся в ящике. Однако весенние луковицы и клубни комнатных растений еще оставались. Вообще говоря, выбор был неплохим. Я взял в руки несколько луковиц и обрадовался, словно пожал руку старому другу. Но, к сожалению, время этих цветов ушло: проращивать их в помещении уже слишком поздно, а если высадить в открытый грунт, ночные заморозки не дадут им расцвести.

Ну что ж, мне в любом случае придется открыть магазин и постараться продать то немного, что у меня оставалось, показать Тильде, что я хотя бы попытался, пусть даже продержусь всего несколько дней.

Ровно в восемь я распахнул дверь, впустив внутрь солнце. На пороге поставил два горшка с георгинами, которые выкопал из цветника возле дома. На ветру они радостно кивали, озаряя улицу красным, розовым и золотым.

Я остановился на пороге. За спиной у меня был мой магазин — залитый светом и такой гостеприимный. Я расправил плечи. А ведь мне так не хотелось возвращаться сюда, в это место, давно ставшее обузой, тяжелым бременем легшее мне на плечи, — место, из-за которого под глазами у меня появились темные круги. Однако сейчас оно казалось чистым и притягательным, таким же свежeweымытым, как и я сам. Магазинчик ждал посетителей, и я был готов вновь познакомиться с нашей деревушкой и взглянуть в глаза миру. Пусть приходят!

К дверям магазина выстроилась очередь. Похоже, слухи о том, что я восстал из мертвых, разнеслись по всей деревне, и каждому вдруг понадобились мои почти превратившиеся в труху специи и высохшие цветочные клубни. К счастью, утром я сделал несколько заказов, потому что к полудню только и успевал, что обслуживать покупателей. Видимо, нескольких часов хватило, чтобы о моем выздоровлении узнали все. Меня не впервые удивляла скорость, с которой слухи разлетались по нашей маленькой деревушке, будто подгоняемые ветром, — по крайней мере, так оно было, когда происходило нечто значительное. Как сейчас. Если судить по количеству пришедших посмотреть на меня, мое возвращение, видимо, приравнивалось к воскрешению Христа.

Я слышал, как вокруг перешептываются, но то, что предметом этих пересудов был я сам, волновало меня на удивление мало. На этот раз я не видел ехидных ухмылок и не слышал язвительных комментариев, градом сыпавшихся на меня после доклада о Сваммердаме. Явившиеся смотрели на меня с доброжелательным любопытством, благоговейно склоняли головы и протягивали мне руки. В чем причина такого отношения, я понял, взглянув на собственное отражение в оконном стекле. Я изменился. Безвольный лавочник исчез, как исчезли мои пухлые одутловатые щеки, а занявший его место худощавый мужчина с чеканным профилем вызывал уважение. Он казался особенным, не таким, как они сами. О том, что именно со мной приключилось, знали лишь немногие, однако даже и те склонны были не насмехаться, а преклоняться предо мною. Ведь я столкнулся лицом к лицу с собственной смертью, но вступил с нею в схватку и победил.

Я был на коне. Деньги текли рекой. Я стремительно подсчитывал и выдавал сдачу, при этом непринужденно болтая со всеми желающими перекинуться со мною словечком и стараясь никого не обделить вниманием. «Как поживает ваша дочь Виктория и ее супруг? Наградил ли Господь их детишками? А как на ферме дела? Сколько-сколько жеребят? Просто удивительно! А как всходы? Как по-вашему, урожайный год будет? Да это же крошка Бенджамин, подумать только — уже десять лет... А какой сообразительный! Он далеко пойдет, этот мальчуган».

Вечером, запирая магазин, я легким, отлаженным движением вставил ключ в замок. В другой руке я держал туго набитый кошелек. Ноги мои налились приятной тяжестью, однако я и сам не заметил, как прошагал полкилометра до дома. Там меня ждали книги, я собирался просидеть над ними до полуночи, потому что усталости совершенно не ощущал — напротив, у меня словно прибавилось сил. Прежде мне казалось, что нужно

выбирать, однако сейчас ко мне пришло осознание: я вполне могу жить обычной жизнью, не отрекаясь при этом от своей страсти.

Тао

Наступила ночь, но я снова не спала. Как и все прочее, сон утратил смысл. Я стояла в гостиной, привалившись к стене, и, наклонив голову, разглядывала свои руки. Сжала пальцы. Отросшие ногти впились в кожу, я сжала руки сильнее, пока не почувствовала боль. Интересно, долго ли надо давить, чтобы ноготь проткнул кожу и выступила кровь?

То, что у меня отняли маму, я смогла пережить. Мама болела и была старой. И, судя по фильму, она провела свои последние дни в спокойном и красивом месте. Но Вей-Вень... Рыдания раздирали мне грудь, сдавливали горло, причиняли такую физическую боль, что я начинала задыхаться. Но я сдерживала их.

Никто не требовал, чтобы мы выходили на работу. На следующий день после нашего возвращения к нам пришли начальник моей группы и начальник Куаня. Им уже обо всем сообщили. Кто — они не сказали, а спросить я забыла. Они отказались войти и, стоя на пороге, сказали, чтобы мы не торопились и решали сами, когда нам лучше будет вернуться к работе.

Надолго ли они оставили нас в покое, мы не знали.

В первые дни мы находили возле двери подарки. В основном еду. Консервы. Бутылку настоящего кетчупа. Даже один киви. Я и не знала, что киви до сих пор где-то выращивают. Впрочем, он оказался совсем безвкусным. Наши вещи тоже кто-то принес — все, даже пустую коробочку из-под слив. От запаха меня затошнило.

Сначала Куань не выходил из спальни. Он лежал на кровати и плакал за нас обоих. Казалось, будто его рыдания переполняют нашу тесную квартирку. Но зайти к нему в спальню у меня не хватало сил.

Потом Куань встал. Мы молча бродили по квартире. Дни пролетали, а мы жили в пустоте, неподвижной и застоявшейся, как воздух в комнате Вей-Веня. Куань по-прежнему молчал. И у меня тоже не получалось ничего сказать, потому что я не знала как. Возможно, он ни в чем не винил меня, возможно, он даже и не думал об этом.

Хотя нет.

Его пустой взгляд. Нарочитая отстраненность. Прежде он старался держаться поближе, а сейчас мы вообще не приближались друг к другу. Однако он ничего не говорил. Наверное, не осмеливался. Или не хотел меня ранить? Я не знала.

Пустота между нами разрасталась в непреодолимую пропасть. Он отстранялся от меня, но и я не могла заставить себя притронуться к нему и заговорить с ним, так что находиться в одной комнате с Куанем было почти невыносимо. При взгляде на него у меня появлялись одни и те же мысли. И я опять повторяла про себя два слова: моя вина, моя вина, моя вина. Поэтому все в нем начало казаться мне отталкивающим. Его тело вызывало отвращение, мне становилось плохо от мысли, что он может прикоснуться ко мне, но эти чувства я старалась скрыть. Мы играли в игру мама-папа-малыш, вот только малыша больше не было. Мы готовили еду. Убирались. Стирали одежду. Дни были неотличимы друг от друга. Мы вставали, одевались, что-то ели. Пили чай. Этот вечный чай. И ждали.

Я то и дело звонила в больницу. Всегда я, ему даже на это не хватало решимости. С доктором Хио поговорить никак не удавалось, а через несколько недель мне сообщили, что она там больше не работает. Почему — другие врачи не сказали.

С кем бы я ни говорила, ответы я слышала одинаковые: «Больше нам ничего не известно. Вам придется подождать. Конечно, мы сообщим. Разумеется. Подождите еще немного. Всего несколько дней. Мы все выясним. И свяжемся с вами. Мы свяжемся с вами. Подождите еще немного».

Несмотря на то что нам разрешили не выходить на работу, однажды утром Куань, приняв душ, оделся в рабочую одежду.

— Почему бы и нет... — тихо сказал он.

Я удивилась, но не оттого, что он собрался на работу, — меня поразило, что сама я почувствовала невероятное облегчение. Наконец-то его не будет рядом со мной, я смогу остаться одна! За все долгие недели я впервые обрадовалась.

— Это же ничего? — спросил он.

— Да. Иди.

— Если тебе кажется, что одна ты не справишься, я могу остаться.

— Нет, со мной все будет хорошо.

Но Куань не двигался. Одежда висела на нем мешком, худой как никогда. Он молча смотрел на меня, видимо ожидая чего-то. Что я рассержусь, закричу, наброшусь на него? Но почему же я должна сердиться и кричать? Теперь и *это* — моя обязанность? Его большие глаза умоляюще смотрели на меня, рот был приоткрыт. Это зрелище показалось мне совершенно невыносимым, и я отвернулась. Когда-то при взгляде на этого мужчину я забывала обо всем на свете. Теперь же мне хотелось побыстрее от него отделаться.

— Тао?

— Иди, а то опоздаешь на переключку. — Я старалась не смотреть на него. Он несколько раз вздохнул, словно хотел что-то сказать, но, наверное, не смог подобрать слов.

Потом он ушел. Я слышала его шаги, затем хлопнула дверь, и я наконец осталась одна.

Я прошла в спальню. На кровати Вей-Вень лежала его пижама. Я взяла ее в руки и села на край постели. Стирать пижаму мне не хотелось — Вей-Вень надевал ее всего два раза, а потом я положила ее на кровать. До его возвращения. Улыбающиеся месяцы на голубом фоне. Я пощупала ткань. Такая мягкая. И сладковатый запах детского пота еще до конца не выветрился.

Я просидела так весь день.

Со временем день и ночь поменялись местами. Пока Куань, уставший от тяжелой физической работы, спал, я бродила по гостиной. Расхаживала по комнате и стояла у окна, в постель ложилась лишь на рассвете. Отдыхать ночью я себе не разрешала: если бы я присела, если бы позволила себе перевести дух, если бы уснула, то Вей-Вень исчез бы навсегда.

Я повернулась к окну, откуда было видно белую ограду, которой обнесли фруктовые деревья. Через каждые сто метров возле ограды стоял охранник. Я присмотрелась к ближайшему. Он стоял не шелохнувшись и ничего не выражающими глазами смотрел перед собой. Чтобы узнать, что он охраняет, я бы все отдала.

Что внутри, мы не видели: ограда была высокой и даже с крыши нашего дома заглянуть за нее не было никакой возможности. Я уже пыталась. Сверху вдоль забора шла сетка. Первые дни ветер срывал ее, поэтому несколько раз приходили рабочие и чинили. Каждый день у ограждения собирались зеваки, но их быстро разгоняли. Территория охранялась строго. Как-то раз я тоже прогулялась вдоль неприступного забора, надеясь отыскать дыру или лаз под забором, однако повсюду наткнулась на охранников.

Куань рассказывал о самых разных слухах. Группу, в которой он работал, перевели на другой участок, в миле отсюда, поэтому по дороге у рабочих было время поделиться сплетнями. Люди строили догадки, а Куань пересказывал их мне. Якобы все случившееся как-то связано с Вей-Венем. И именно поэтому тут поставили забор и охрану. Наверное, они были правы, потому что после нас туда уже никого не пускали. И Вей-Вень лежит в больнице... Когда рабочие замечали, что Куань их подслушивает, то сразу же умолкали. Но, решив, будто он их не слышит, снова

принимались болтать. Все разговоры крутились вокруг нас. Мы стали объектом всеобщего внимания и изменить это уже не могли.

Знали мы так же мало, как и все остальные, и наши догадки основывались на тех же самых наблюдениях. Там, среди фруктовых деревьев, с Вей-Венем что-то случилось, и теперь он непонятно где. Больше мы ничего не знали.

Я посмотрела на охранника. Теперь он сидел, поджав под себя ноги, голова свесилась на грудь. Он спал.

Уильям

Длина пчелиного яйца не превышает полутора миллиметров. По одному сероватому яйцу в желтой восковой ячейке. Спустя всего три дня из яйца проклюнется личинка, закармливаемая, совсем как избалованное дитя. Потом она начнет расти, а затем соты покроются восковыми крышечками. Там, внутри, личинка создает кокон и обматывается им, точно одеялом, защищающим ее от всех и вся. Здесь и только здесь она остается в одиночестве.

Через двадцать один день из соты выползает рабочая пчела. Новорожденный младенец, не готовый пока к жизни в этом мире. Она не умеет летать, не умеет самостоятельно питаться и едва способна ползать, карабкаться, перебирать лапками. Первые дни она выполняет самые простые задания внутри улья и не перемещается на большие расстояния. Она приводит в порядок соты — сперва собственную, потом чужие — и больше ни мгновения не находится в одиночестве. Рядом с ней другие пчелы, их сотни, и они развиваются и меняются совершенно так же, как она сама.

Затем приходит пора стать пчелой-кормилицей, хотя она по-прежнему еще ребенок. Теперь она обязана кормить тех, кто еще не родился. Она совершает первые вылазки, первые короткие полеты и разминает крылья, робко и осторожно. Это происходит по вечерам, когда погода хорошая. Для начала она выбирается из летка, быстро взлетает вверх и опускается вниз — все это прямо перед ульем, но затем постепенно увеличивает расстояние. Но пчела все еще не готова.

И у нее по-прежнему хватает дел в улье. Пчела перерабатывает поступающую в улей пыльцу, производит воск и выполняет обязанности сторожевой пчелы. Но расстояние ее полетов все растет и растет. Она готовится. Скоро придет ее время. Скоро.

И вот наконец она превращается в летную пчелу. Улетает надолго, крылья переносят ее с одного растения на другое, собирает сладкий цветочный нектар, пыльцу и воду, покрывая километр за километром. Пчела вновь одна, и тем не менее она — часть общности. В одиночку пчелка ничего собой не представляет, она настолько мала, что не играет никакой роли, но вместе с другими она — всё. Потому что все вместе — это улей.

Идея возникла из пустоты, но развивалась быстро, будто сама пчела. Я начал с набросков, едва заметных линий на бумаге, неточных расчетов, робких карандашных рисунков. Со временем я осмелел, высчитывал, прикидывал, линии стали отчетливее, весь пол был теперь устлан листками с выкладками. Наконец я взял перо и чернила, и моя идея обрела окончательную форму и четкие очертания. И в конце концов на двадцать первый день улей был готов.

— Вы сможете его сделать? — Я положил чертеж на потертую столешницу в доме у Конолли.

За долгие годы столешница покрылась царапинами, а сам стол обзавелся колченогостью. Уж, казалось, у Конолли-то мебель должна быть самой лучшей, но сапожник, как говорится, частенько ходит без сапог... В маленькой гостиной все выглядело каким-то перекошенным и кривым: незаправленная постель в углу, сломанный стул возле очага. Возможно, до собственного жилища у Конолли руки не дошли и, когда его вещи приходили в негодность, он просто бросал их в огонь? Повсюду на полу валялись стружки, словно он работал даже здесь, в гостиной, хотя на самом деле мастерская его располагалась в другой комнате.

Он взял один из чертежей. В его толстых заскорузлых пальцах бумага казалась особенно тонкой. Света не хватало, и Конолли, поднявшись, подошел к окну, где одно из стекол было разбито, а к раме была приколочена сучковатая доска. Я пришел сюда по рекомендации, Конолли называли лучшим плотником в округе, однако обстановка в его доме говорила скорее об обратном.

— С ящиком мне все понятно, но почему крыша скошенная?

— Ну... это дом. Жилище...

— Жилище? — Он помолчал. — Это же для пчел, разве нет?

Я подумал, что не смогу объяснить ему все это, мне нужно придумать причину, заговорить на его языке.

— Это из-за дождя. Во время дождя вода не будет скапливаться на крышке.

Он кивнул. Такое объяснение он понял, ведь теперь речь шла о практических принципах строительства, а не о чувствах.

— Из-за крыши выйдет сложнее. Но это ничего. — Он взял в руки чертеж, изображающий улей внутри. — А это... рамки?

— Они должны крепиться сверху. Лучше, конечно, по десять на улей,

но для начала достаточно будет семи или восьми. И к каждой нужно прилепить кусок воска.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Пчелиного воска. Чтобы пчелы могли использовать его для строительства.

— Вон оно как.

— В природе пчелы строят диагональные соты, а мне хотелось бы, чтобы они немного изменили эту свою привычку, но для этого им надо создать условия.

— Ясно. — Он почесал ухо. Похоже, мои объяснения его несколько не интересовали.

— Благодаря рамкам в улье пчелы будут располагать соты в линейку. Тогда я смогу через дверцу наблюдать за их жизнью, вынимать соты и помещать обратно. Так будет проще ухаживать за пчелами, вести наблюдения и собирать мед, не нанося обитателям улья увечий.

Он посмотрел на меня своими невыразительными глазками и снова принялся изучать чертеж.

— Рейки у меня есть, — сказал он, — а вот стены и крыша... Не знаю, что за материалы тут лучше подойдут.

— Здесь я всецело полагаюсь на ваше решение. — Я постарался, чтобы эти слова прозвучали как можно более доброжелательно. — Здесь вы профессионал.

— Это точно, — согласился он, — зато вы... э-хм... много чего знаете про соты. — Он широко улыбнулся, впервые за все это время, и протянул мне здоровенную пятерню. Я улыбнулся в ответ и пожал ее.

Я уже представлял, как из плотницкой мастерской выносят его — Стандартный улей Сэведжа, который потом окажется настоящей золотой жилой и для меня, и для Конолли. Да, не исключено, что наше сотрудничество и впрямь принесет плоды.

Джордж

Я заказал у Кенни три грузовика, и они въехали во двор, выкашливая клубы выхлопных газов, поднимая пыль, толстым слоем оседавшую на кузове, и распугивая своим ревом расчирикавшихся на закате птах. К сожалению, я заказал грузовики, а не трейлеры вроде тех, на которых ездил Гарет. С виду эти грузовики напоминали старый ржавый металлолом — ничего примечательного, железяки железяками. К тому же вмещалось в них всего три улья в высоту и четыре в ширину. Зато внутри это были верные рабочие лошадки с такими простыми моторами, что и младенец справится, приключись что неладное на дороге. А приключалось такое на каждом шагу.

Грузиться мы начали уже в сумерках: пришлось дождаться, когда пчелы вернутся и успокоятся.

Темнело. Двигатели мы глушить не стали — нам нужен был свет, поэтому работали при свете фар. Белые костюмы, шляпы и маски. Ну точно-точно космонавты, добравшиеся до другой планеты, чтобы забрать таинственные ящики с биологическим материалом. Я усмехнулся. Эх ты, профессор Толстовка, видел бы ты нас сейчас.

Я весь взмок. В костюме было жарко, а каждый улей весил немало.

Но вот в следующем году! В следующем году я обзаведусь автопогрузчиком и настоящим трейлером. Деньжат я уже подкопил, под такую начальную сумму мне любой банк кредит даст. С Эммой я еще об этом не толковал — и так понятно, что она скажет. Вот только хочешь зарабатывать — будь любезен потратиться, так уж оно сложилось.

Выехали мы сразу же, как только погрузили ульи. Чего сидеть-то? Дорога нас ждала непростая. В каждый грузовик влезли по двое, водитель и сменщик. Сам я поехал на своей машине. То есть мы с Томом поехали.

Может, это все благодаря «Звездным войнам», а может, потому что Том сам сказал, что эта поездка полезна для творчества и что в дороге он непременно что-нибудь напишет. Во всяком случае, он в тот же вечер примчался домой. И Джон, профессор, эту затею полностью одобрил. Том обнял Эмму, надел рабочий комбинезон и отправился на пасеку. Говорил он мало, а его лица я за маской не видел. Но работал он хорошо и делал все, о чем я его просил, споро и молча, даже быстрее, чем Рик с Джимми. Мне хотелось похвалить его, но я все никак не мог улучшить подходящий момент. А когда мы сели в машину, я и рта раскрыть не успел, как Том свернул

колбаской свитер, подложил его под шею, привалился к стеклу и закрыл глаза.

Красивый у меня сын. Худосочный слегка, но красивый. Девчонкам наверняка нравится. Интересно, есть у него девушка? Вот уж чего не знаю, того не знаю.

Двигатель ровно гудел, а Том сопел ему в такт. Другие машины нам встречались редко, асфальт был сухой, ехали мы быстро, но не лихачили. Все шло по плану. Мы спали и садились за руль по очереди. И почти все время молчали. Наступило утро. Вокруг нас из темноты проступили контуры холмов. По полю неподалеку медленно полз распылитель инсектицидов. Прямо как огромное насекомое. Тело насекомого — огромный бак с ядовитой жидкостью — было большим и пузатым, в нем умещалась не одна тысяча литров отравы, а сверху над ним крутились длинные крылья, разбрызгивающие мельчайшие капельки по полю.

Своих пчел я к таким опыленным участкам не подпускал — иначе они делались снулыми и часто умирали. Однако в последние годы фермеры придумали кое-что новенькое. Теперь некоторые инсектициды выпускались не в виде жидкости, а в виде твердых горошин, которые бросали прямо на землю. Говорили, что это вроде как лучше и надежнее. Горошины растворяются в почве, содержащиеся в них вещества всасываются в корни растений и действуют намного дольше. Впрочем, жидкое, твердое — какая разница, дерьмо, оно дерьмо и есть. Как по мне, так лучше бы фермеры делали все по старинке, позволяли растениям самим справляться с вредителями и обходились без химикатов. Но те времена, судя по всему, давно прошли. Сейчас насекомые могут за ночь сожрать целое поле урожая. Нас, людей, стало чересчур много, цены на еду упали, а все остальное так подорожало, что рисковать всем страшно.

Том проснулся, отвинтил крышку термоса, вылил в стакан остатки кофе и тут вспомнил про меня:

— Ой, прости. Будешь?

— Нет, допивай.

Он в два глотка осушил стакан. Но больше ничего не говорил.

— Вот и ладно... — сказал я, просто чтобы что-то сказать. Том не ответил. Хотя что тут ответишь-то? — Ну, — начал я, — хм. — И кашлянул. — А что у тебя с девушками? В колледже-то?

— Да ничего, — ответил он.

— Что, симпатичных нету, что ли?

— Это я для них не особо симпатичный, — усмехнулся Том, и я понял, что он не прочь поболтать.

— Ты погоди, не все сразу, — успокоил я.

— Вы с мамой полжизни прождали — так долго не хотелось бы.

Мы с Эммой поженились, когда нам было по тридцать. К тому времени мой отец давно уже махнул на меня рукой.

— Скажи спасибо, — ответил я. — Тебе повезло, и вокруг тебя не бегали маленькие братья и сестры. Ты даже не представляешь, как одному хорошо.

— Братья и сестры — это тоже неплохо, — не согласился Том.

— Так только кажется, — возразил я, — на самом деле это жуть. Уж я-то на своей шкуре все это проверил. — У мамы нас было четверо сыновей. Мы дрались и вопили с утра до ночи. Я был старшим, поэтому с шести лет стал для всех остальных чем-то вроде второго отца. Думая о том, что Том — единственный ребенок, я всегда за него радовался. — Но это потом. Сначала надо тебе девушку найти. Затем дети пойдут, но тоже не все сразу, а постепенно. Ты и сам знаешь, как оно бывает. Пчелки, цветочки. Впрочем, я, похоже, никогда тебе об этом не рассказывал.

— Нет, не рассказывал. Может, хоть сейчас расскажешь? — Том заулыбался. — Давай, папа, выкладывай. Что там с пчелками и цветочками?

Я расхохотался. А следом за мной и Том.

В машине потеплело.

Уильям

— Эдмунд? — Я постучался к нему в комнату. Последние дни, дожидаясь, когда пришлют новый улей, я проводил возле пчел, заглядывая в их нынешний дом, — сперва мне было не по себе, но постепенно страх сменился уверенностью. Я отыскал в улье матку — она была крупнее рабочих пчел и трутней — и белой краской нарисовал ей на спинке крошечную точку. Обнаружив ячейки-маточники, я сразу же уничтожил их: мне не хотелось допустить смены матки, и я боялся, что старая плодная матка, освобождая место для молодой, заберет с собой часть семьи. Помимо этого, я больше почти ничего не увидел. Я открывал улей с величайшей осторожностью, и тем не менее это каждый раз вызывало у пчел тревогу. Мне не терпелось разгадать загадку, каким образом матка откладывает два типа яиц — пчелиные и трутневые, однако я попросту не мог ничего увидеть и питал надежду, что как только появится новый улей, разгадка будет у меня в кармане.

Одно было очевидно: пчелиная семья мне досталась удивительно трудолюбивая. Улей становился все тяжелее, пчелы постоянно приносили нектар и пыльцу, и внутри уже поблескивал темно-золотистый мед, такой сладкий и манящий.

Мое одиночество часто скрашивала Шарлотта. Она с любопытством наблюдала за пчелами, брала улей в руки, стараясь определить его вес и угадать, сколько в нем меда. Она привычным жестом поднимала улей, проверяла, не появились ли там маточники, находила матку и вытаскивала ее наружу — да, ей хватало смелости трогать пчел голыми руками — и смотрела, как пчелы встревоженно ищут свою царицу. Тем летом Шарлотта вытянулась, ее угловатое тело округлилось, бледные щеки порозовели, а платья стали почти непристойно коротки и едва доставали до середины икры. «Новое платье, — думал я иногда, — она его заслужила. Но это позже, сейчас есть дела поважнее».

Иные дни я проводил в магазине. Там Шарлотта мне тоже помогала: прибиралась, мыла полы, приводила в порядок склад, записывала в книгу прибыль — да так, что перо скрипело, вычитала, складывала и подсчитывала доходы.

А вот Эдмунд не выказывал ни малейшего интереса. Подготовка к осенним экзаменам шла совсем не так, как следовало бы, — это видел даже я, хотя и не вникал в дела семьи. Его книги, которые я обнаружил в самом

дальнем углу гостиной, медленно покрывались пылью, совсем как мои недавно. Изможденный, словно его мучила какая-то хворь, он чаще всего запирался у себя в комнате; его неутомимость сменилась апатией, не свойственной юным медлительностью.

Несмотря ни на что, я надеялся, что как-нибудь он тоже придет ко мне, я покажу ему соломенный улей, а затем расскажу про свое, намного более совершенное изобретение. Продемонстрирую, к чему привели наша с ним беседа и книга, которую он принес, и, возможно, мне удастся пробудить в нем такую же страсть.

— Эдмунд? — Я постучал в дверь его комнаты. Он не ответил. — Эдмунд? — Молчание.

Я подождал еще немного, а потом осторожно повернул ручку. Заперто. Конечно же. Наклонившись к замочной скважине, я заглянул внутрь и понял, что изнутри в ней торчит ключ. Значит, Эдмунд здесь, заперся в комнате... Я дернул за ручку:

— Эдмунд!

Внутри послышались наконец шаги, а потом дверь чуть приоткрылась. Эдмунд глядел на меня, подслеповато щурясь, челка отросла еще сильнее, над губой темнели жидкие усики, а кроме мятой рубашки на Эдмунде ничего не было, так что моему взору открылись его неожиданно волосатые ноги.

— Отец?

— Прости, что разбудил.

Он пожал плечами и подавил зевок.

— Надеюсь, ты составишь мне компанию, — сказал я, — хочу показать тебе кое-что. (Глядя на меня опухшими от сна глазами, Эдмунд потер одной ногой другую, словно стараясь согреться, но ничего не ответил.) Хочу показать тебе соломенный улей! — продолжал я, стараясь ничем не выдать свою радость.

— Соломенный улей? — все так же сонно переспросил он.

— Да. Тот, что ты видел в саду.

— А, этот. — Он покачнулся и сглотнул слюну.

— Чтобы ты понял, чем он отличается от моего нового улья. Который скоро привезут.

— Угу... — промычал он, не раскрывая рта, и вновь сглотнул, словно пытаясь унять тошноту.

— Увидишь, как тщательно я все продумал, когда конструировал мою модель.

— Угу. — В его сонных глазах я не заметил ни тени интереса.

— Тогда, возможно, тебе стоило бы одеться?

— А мы могли бы посмотреть на все это как-нибудь в другой раз?

— Мне кажется, сейчас самое время. — Я заметил вдруг, что стою, склонив голову, словно умоляя. Однако Эдмунд, вероятнее всего, не обратил на это внимания.

— Я так устал, — сказал он. — Может, позже.

Я выпрямился и, стараясь говорить властно, произнес:

— Я твой отец и требую, чтобы ты мне повиновался! Он наконец посмотрел на меня. Его глаза покраснели, но взгляд оставался на удивление ясным. Эдмунд тряхнул волосами.

— А то — что?

«А то — что?» Утратив дар речи, я быстро заморгал.

— А то угостишь меня ремнем? — не унимался он. — Да, отец? Вытащишь ремень и пройдешься им мне по спине? Излупцуешь меня до крови, пока я не соглашусь?

Все повернулось совсем не так, как я надеялся, совершенно не так. Он смотрел на меня, а я на него. И оба мы молчали.

Внезапно появившаяся в коридоре Тильда бросилась к нам, заметая юбками пыль на полу.

— Уильям!

— Уже почти два часа, — сказал я.

— Ему нужно поспать, — проговорила она уже тише, — ему нездоровится. Эдмунд, ложись в постель.

Подойдя ко мне, она взяла меня за локоть.

— Ты же только и делаешь, что спишь, — бросил я Эдмунду, но в голосе моем зазвенело отчаяние.

Вместо ответа он лишь пожал плечами. Тильда попыталась оттеснить меня в сторону и ласково проворковала:

— Ложись, мальчик мой. Тебе надо отдохнуть.

— От чего отдохнуть? — поинтересовался я.

— Уж не тебе судить, — заявил вдруг Эдмунд.

— Что-о?!

— Ты несколько месяцев не вставал с кровати.

— Эдмунд! — одернула его Тильда. — *Это* мы обсуждать не станем!

— Отчего же?

Я чувствовал, как отчаяние парализует меня, мешает дышать.

— Прости, Эдмунд. Я постараюсь все исправить. Я уже пытаюсь. Именно потому мне так хотелось показать тебе...

Но Тильда оттолкнула меня в сторону.

— Бедняжка Эдмунд, — сладким голосом протянула она. — Ему и так нелегко пришлось. Ему надо отдохнуть и выспаться.

Эдмунд безучастно посмотрел на меня, а потом закрыл дверь и оставил нас с Тильдой вдвоем.

Тильда стояла, все еще вцепившись в мою руку, словно желая удержать меня, и по-прежнему упрямо глядя мне в лицо. Я хотел было возмутиться, но внезапно меня охватил страх. А что, если он болен? Вдруг Эдмунд заболел?

— Ты что-то скрываешь от меня? — спросил я. Взгляд жены едва не обжег меня, и я испугался.

— Я его мать и вижу, что ему нужен отдых, — сказала она медленно и внятно, явно не желая ничего объяснять.

— А я его отец и вижу, что ему нужен свежий воздух, — парировал я, но тут же понял, насколько жалко прозвучали мои слова.

Она растянула губы в ехидной улыбке. Больше никто из нас ничего не сказал, мы лишь молча стояли друг напротив друга. Тильда не ждала от меня ни ответа, ни согласия. Ведь Эдмунд вовсе не был болен, ну разумеется, нет, просто она пыталась защитить его от учебы и любых других трудов. Но Тильда не знала, какую силу Эдмунд пробудил во мне и насколько важным для меня было разделить с ним мою страсть.

Впрочем, на объяснения у меня не было сил, я знал, что бороться с Тильдой бесполезно и что она, точно ветряная мельница, вмиг развеет все логические доводы.

Возможно, мне следует перехватить Эдмунда вечером, когда он, по своему обыкновению, соберется уходить. Где же он, интересно, пропадает каждый вечер? Я надеялся, что он проводит это время в лесу, наблюдая, по моему примеру, за природой, совсем как я в его возрасте. Да, возможно, так оно и было.

А что до меня — со временем Эдмунд поймет, что мне действительно есть чем его удивить, и это лишь подстегивало мой энтузиазм. Он увидит. И будет мною гордиться.

Тао

Я завернула за угол и уперлась в ограду — высокая, без единой щели, она отражала лунный свет и поэтому казалась еще более светлой, чем на самом деле. В воздухе висел аромат земли, теплой и влажной, по обочинам дороги пробивалась трава.

Я бесшумно прокралась мимо охранника. Лица его я не видела, но дышал он ровно и глубоко.

В воздухе — метрах в десяти надо мной — что-то жужжало. Насекомое? Нет, чересчур крупное. Через миг жужжание стихло и тишина вернулась.

Вытянув руку, я осторожно дотронулась до ограды. И замерла. Я боялась, что сработает сигнализация, но ничего не происходило. Я сделала несколько шагов, не отнимая руки от гладкой поверхности. И вдруг мои пальцы наткнулись на какое-то уплотнение. Брезент был туго натянут, однако мне удалось просунуть ладонь между двух полотнищ. Я потянула одно полотнище на себя, и оно словно нехотя, с негромким шлепком отлепилось от другого. Через несколько минут мне удалось проделать отверстие, через которое я вполне могла залезть внутрь.

Я бросила последний взгляд на солдата, но тот по-прежнему крепко спал. И тогда я протиснулась внутрь, за ограду. Здесь оказалось темнее, чем снаружи. Я знала, что и тут тоже есть прожекторы, по вечерам мы видели их отсвет, но сейчас они были выключены.

Есть ли внутри охранники? Этого я не знала. Я остановилась и решила немного подождать, пока глаза не привыкнут к темноте. Мало-помалу проступили контуры деревьев, отцветших, уже покрывшихся листвой.

Тишину нарушал лишь легкий ветер, перебиравший листья на деревьях, но я никак не могла избавиться от страха. Я нарушила запрет, что будет, если меня поймают?

Я медленно двинулась вперед, а заметив колею, по которой мы втроем поднимались на холм, пошла по ней.

Еще никогда в жизни здесь, среди знакомых деревьев, я не испытывала страха. Отчаяние, грусть, радость, но страх — никогда. Сейчас же ноги мои ступали бесшумно, и в ушах отдавался стук сердца, а по спине стекали ручейки пота.

Я шагала по колее между деревьями и вдруг краем глаза заметила какую-то тень. Неужели человек? Я резко повернулась, но никого не

увидела. Никого. Мир здесь был пустым и тихим. Меня напугал мой собственный страх.

Я сделала еще несколько шагов.

Раз, два, три — прыг! Раз, два, три — прыг!

Здесь мы тогда гуляли.

Мы двое и Вей-Вень. Здоровый, веселый, мягкий и теплый. Сынок.

Сынок.

Резкая боль в подреберье вынудила меня остановиться и наклониться вперед.

Спокойно. Дыши спокойно. Думай о чем-нибудь другом. Выпрямись.

Я огляделась. Сколько же осталось до холма, на котором мы сидели?

Надо идти.

Я прошла еще совсем немного, когда заметила это. Свет. Золотистый отсвет совсем неподалеку.

Я подошла ближе, шагая теперь еще медленнее и осторожнее.

А потом я увидела что-то вроде шатра. Он стоял на самой опушке леса, а за ним чернели кусты и высилась стена деревьев. Шатер был круглым и просторным, как маленький дом с острой крышей, и со всех сторон освещался. Изготовлен он был из того же белого стерильного материала, что ограда. Возле шатра я разглядела силуэты нескольких охранников. Охранялась эта палатка намного строже, чем ограда. Охранники медленно ходили возле нее, отбрасывая черные тени на матерчатые стены. Я будто подглядывала за тайным представлением в театре теней, вот только на занавесе забыли нарисовать декорации. Кто они для меня — угроза или спасение?

Входа в шатер видно не было. И окон тоже. Подобраться ближе я не осмелилась и прошла мимо еще метров сто, чтобы рассмотреть строение с другой стороны. Когда я обогнула холм, меня вдруг осенило: шатер поставили примерно на том месте, где Куань нашел Вей-Веня. Эта догадка лишь подогрела во мне страх, и ноги затряслись так, что я едва могла двигаться. Я поняла: все это время я надеялась, что никакой связи здесь нет, что ограда и военные не имеют к Вей-Веню никакого отношения.

Звонок. Телефонный звонок. Я так ждала его. Я сняла бы трубку и узнала, что Вей-Вень упал и ударился головой, что у него обычное сотрясение мозга и что он уже поправляется, что мы можем навестить его и совсем скоро забрать домой. Все эти надежды казались мне сейчас беспомощной и жалкой выдумкой.

Между мною и шатром высился целый штабель картонных коробок. Я прокралась ближе и спряталась за ним. Среди коробок были и смятые, и

еще целые. Приподняв на одной из них крышку, я засунула внутрь руку. Земля. И корешки каких-то растений. Сбоку на коробке было написано имя, почтовый индекс и название города. Пекин.

Я вернула коробку на место и медленно двинулась дальше, боясь, что моя неуклюжесть меня выдаст, что я опять сломаю ветку; я напрягала все мышцы, стараясь ступать как можно тише.

Спереди стенки шатра были такими же белыми и плотными, но имелась дверца, застегивающаяся на молнию. Я опустилась на корточки и принялась ждать. Рано или поздно кто-то выйдет или войдет.

От сидения на корточках ноги быстро затекли, и, хотя земля была сырой, я села на нее. Лишь сейчас я заметила неподалеку огромную кучу веток. Чтобы расчистить место для шатра, они срубили несколько десятков фруктовых деревьев, и теперь их сухие ветки чернели на фоне белого брезента.

Ничего не происходило. Время от времени изнутри доносились голоса, но слов я не разобрала.

Я долго просидела в темноте. Ушедшие минуты сложились в час. Густой неподвижный воздух нагонял дремоту.

А потом кто-то расстегнул молнию, в шатре обозначилась дверь и из нее вышли двое — оба в белых защитных костюмах. Склонив головы, они тихо, но оживленно о чем-то говорили. Я подалась вперед, вглядываясь в шатер позади них. Дверь открыли всего на минуту, но кое-что рассмотреть я успела. Внутри находился еще один шатер, поменьше и прозрачный, а в нем — растения. Стены того, другого шатра были из стекла. А за ними — цветы. Что-то вроде маленького парника? Ярко-зеленые листья, розовые, оранжевые, белые и красные соцветия, залитые мягким золотистым светом. словно картинка из книжки сказок, яркая и теплая, другой мир, живые растения, цветущие растения — растения, которых я никогда прежде не видела и которых не существовало в моем мире безликих фруктовых деревьев.

Один из тех, кто прятался в шатре, зашагал вдруг прямо ко мне. Я затаила дыхание. Человек все приближался. Я встала и отступила назад. Он замер и прислушался, будто почувствовав мое присутствие. Двигаться я боялась, поэтому замерла в надежде, что деревья меня скроют. постояв еще немного, он развернулся и направился обратно к шатру. А я побежала прочь. Я бежала со всех ног, бежала обратно к ограде, стараясь не шуметь.

Итак, я что-то видела. Но не знала что. Ограда, коробки, шатер. Все это казалось мне совершенно бессмысленным.

Ни здесь, ни в больнице я не нашла того, что хотела. Никто так и не

дал мне ответа. И сына моего мне тоже не отдавали.

Добежав до ограды, я вылезла на прежнем месте и прошла мимо храпевшего охранника.

И остановилась. Оглянулась на ограду. Вей-Веня здесь нет. Его вообще нет в этой части страны. Он там, откуда привезли эти растения. В Пекине.

Джордж

Как же красиво цветет черника! За зиму я успевал об этом забыть, но каждый раз, когда в мае Мэн встречал меня бело-розовыми холмиками, я останавливался и не мог насмотреться. Да, о такой красоте надо книжки писать, вот только без пчел цветы — просто цветы, а не ягоды, цветами не прокормишься. Поэтому, встречая нас, Ли каждый раз облегченно вздыхал. Он, видать, расхаживал по своим черничным полянам, смотрел на цветы и жалел, что они не умеют опылять сами себя и что из-за этого он с потрохами зависит от какого-то потного пчеловода из другого штата и его потных помощников.

Мы приехали туда на три недели. Ли платил восемьдесят долларов за улей — деньги очень хорошие, но я знал, что многие берут и больше. Гарет, например. По сравнению с ним я обходился дешево. К тому же за свои деньги Ли получал прекрасный товар. В каждом улье с рассвета и до заката трудилось пятьдесят тысяч пчел. Радостных и довольных. Из каждого улья доносилось бодрое жужжание. Жаловаться Ли было не на что. Я приезжал к нему каждую весну с того самого года, как ферма перешла к нему, и благодаря моим пчелам ягод у него было пруд пруди.

Я едва успел выйти из машины, как Ли едва не сбил меня с ног. Худой, кожа да кости, в огромных ботинках, коротковатых брюках и грязной панаме, он схватил мою руку своей — тощей и костлявой — и так долго тряс, словно боялся, что я испарюсь вместе с пчелами и те не успеют сделать то, зачем приехали.

Мне показалось, что в прошлый раз рука у него была помясистей. И шевелюра погуще.

Он заулыбался, явив добрую половину своих лошадиных зубов. Я тоже улыбнулся:

— Ты гляди-ка, сколько у тебя морщин повылезло!

Ли ухмыльнулся:

— На себя посмотри!

Вообще-то от нас до Мэна путь неблизкий, и я вполне мог бы подыскать себе работу не так далеко. Но за все эти годы Ли стал мне вроде друга, и я, можно сказать, ездил сюда и ради него тоже. Мы столько успевали обсудить — он все выпрашивал про пасеку и про пчел и не уставал слушать. Я в шутку часто называл его фермером-профессором. В девяностых, проучившись много лет в университете, Ли вдруг загорелся

желанием купить старую развалившуюся ферму. В те времена он прекрасно знал, как оно должно быть. В теории. И планировал, что ферма его будет специализироваться на экологически чистой продукции.

Ну да, держи карман шире. Шли годы, Ли успел сделать и все ошибки, о которых рассказывалось в учебниках, и те, о которых там не говорилось. На поверку оказалось, что книги все врут.

За последние годы он совершенно изменил способ ведения хозяйства, теперь ферма его не отличалась от множества других, и по полям здесь тоже ползали гигантские опрыскиватели. Впрочем, на месте Ли я поступил бы так же.

Я кивнул в сторону Тома, стоявшего чуть поодаль:

— Помнишь Тома?

Том подошел поближе и послушно протянул Ли руку.

— Ты глянь-ка, — удивился Ли, — в прошлый-то раз ты был в два раза меньше. (Том вежливо посмеялся.) Приехал, значит, с отцом.

— Ну вроде того.

— А учеба как же?

— Отпустили.

— А тут ему чем не учеба? — сказал я.

* * *

Ребята отогнали грузовики, и наступила тишина. Ульи мы уже расставили, и теперь во дворе остались только Ли и мы с Томом. Том сидел в машине. Читал, наверное, а может, спал. Последние несколько часов он все больше помалкивал, но все, о чем я его сегодня просил, Том выполнял, и неплохо.

Ли снял перчатки, поднял сетку и закурил.

— Ну вот, теперь надо только подождать. Прогноз погоды я посмотрел, дождя вроде не будет.

— Вот и хорошо.

— Небольшие осадки обещают, но не скоро.

— Если небольшие — это не страшно.

— И у меня теперь новые изгороди.

— Отлично.

— На случай, если эти пожалуют.

— Будем надеяться, это их остановит.

Мы умолкли. Я представлял, как здоровенные медвежьи лапы ломают

улей, и никак не мог избавиться от этой картинки.

— Если что, платить все равно тебе, — сказал я.

— Спасибо. И без тебя знаю. — Он глубоко затаился. — Готовишь, значит, смену? — спросил Ли, мотнув головой в сторону машины, где сидел Том.

— Пытаюсь.

— А ему-то самому хочется?

— Да вот как раз сейчас решить пытается.

— А зачем ему вообще учиться? Может, пускай лучше дело осваивает?

— Но ты же ходил в колледж.

— Вот-вот, поэтому я знаю, о чем говорю. — Он криво усмехнулся.

* * *

Первые пару дней на новом месте пчелы ведут себя тихо. Затаиваются и из улья почти не вылетают. Однако немного погодя начинают совершать короткие вылазки наружу — проверяют, что их тут ждет. И со временем такие полеты становятся все протяженней.

На третий день пчелы совсем осмелели и воздух наполнился жужжанием. Ли уселся прямо среди кустиков черники, метрах в пятидесяти-шестидесяти от ульев. Наклонив голову, он сосредоточенно шевелил губами и меня не видел.

Я подкрался сзади:

— Бу!!!

От неожиданности он аж подпрыгнул:

— Твою ж мать!

Я расхохотался, а он с досадой махнул рукой:

— Ты меня сбил!

— Да ладно, я тебе помогу.

— А я тебе не верю. Вдруг ты приврешь.

Я присел на корточки рядом с ним.

— Ты их пугаешь, — улыбнулся он, — и занял их место. — Ладно-ладно, ухожу. Я поднялся, отошел метров на десять в сторону и взгляделся в поросший кустиками черники холмик площадью около метра.

Вот они, мои пчелы. Одна из них как раз взлетела с цветка, и на него в ту же секунду опустилась другая.

А потом и третья.

Я посмотрел на Ли:

— У тебя там как?

— Нормально. Тут две штуки. А у тебя?

— Три.

— Точно? — переспросил он. — Небось прибавил пару.

— Это ты у нас плохо считаешь, — сказал я.

Он еще немного выждал.

— Хорошо. Вот и еще прилетели.

Я встал и улыбнулся. В среднем две с половиной пчелы на квадратный метр — для опыления отлично. Именно поэтому Ли сидел и как помешанный подсчитывал: от количества пчел на квадратном метре черничных кустов зависел урожай, который он снимет, когда придет время.

Две на его участке. Три на моем. Совсем неплохо.

Вот только потом начался дождь.

Уильям

Наконец-то привезли! Спрыгнув с облучка, Конолли подошел к телеге, на которой стоял он — новенький и невероятно светлый на темной, заляпанной грязью телеге. Я подошел к Конолли, пожал ему руку и дотронулся до улья. Мои пальцы заскользили по теплому гладкому дереву, обработанному по всем канонам и правилам, крышку Конолли изготовил из трех реек, но стыки были почти незаметны, а к дверцам приделал маленькие ручки. Я провел по ним рукой — ни единого, даже самого крошечного, сучка. Я осторожно потянул за ручку, дверца бесшумно отворилась, и я заглянул внутрь. Там в несколько рядов висели рамки, готовые принять жильцов. Улей источал упоительный аромат свежей древесины, этот запах облаком окутал меня, так что я едва в обморок не упал. Я обошел вокруг улья. Мастерство Конолли лишило меня дара речи. Каждому уголку он придал совершенную округлую форму, а одну стенку даже украсил резьбой. Да, все слышанные мною похвалы в его адрес были правдой: изготовленный им улей оказался шедевром.

— Ну, что скажете? — Конолли гордо, как ребенок, улыбался. — Довольны?

От восхищения я не мог вымолвить ни слова и лишь кивнул, надеясь, что по моей улыбке все ясно и без слов.

Мы с ним взялись за улей, подняли его и поставили на землю перед домом. Улей был таким светлым и чистым, что опускать его в пыль показалось мне почти святотатством.

— Куда вы его поставите? — спросил Конолли.

— Вон там. — Я показал в сторону осины.

— А пчелами вы уже обзавелись? — поинтересовался он.

— Да, я перенесу их в этот улей. А потом пчелы дадут потомство, и мы построим еще несколько ульев.

Конолли смерил меня взглядом.

— Я хотел сказать — когда вы постройте, — поправился я и чуть виновато улыбнулся.

— Построить — построю, а вот все остальное уж будет ваша заслуга, — ухмыльнулся он.

Конолли повернулся и посмотрел на соломенный улей. Оттуда доносилось ровное жужжание: тысячи пчел были заняты своими повседневными хлопотами. Одна пчела сорвалась с улья и полетела к нам.

Конолли отшатнулся.

— Туда вы уж его сами тащите.

— Они не ужалят.

— Что-то не верится. — Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, он отступил назад.

Я наградил его улыбкой — одновременно снисходительной и мягкой.

— Что ж, не стану вас принуждать.

Мы вдвоем погрузили улей на тачку и попрощались так, словно знали, что до нашей следующей встречи осталось совсем недолго.

Улей ждал меня. Ждал пчел.

* * *

Сегодня я с особым тщанием облачился в мое белое одеяние, надел шляпу и натянул перчатки. Торжественно, подобно опускающей вуаль невесте, я накрыл лицо марлевой накидкой, а затем покатил тачку по саду. Теперь к улью вела протоптанная в высокой траве тропинка, напомнившая мне вдруг о церковном проходе, ведущем к алтарю. Я представил себя идущей под венец невестой, полной радости и предвкушения, и расхохотался. Это был поистине великий день — день, решающий мою судьбу.

Отодвинув старый улей, я поставил на его место новый и, отступив на шаг, посмотрел на него. Золотистая древесина сияла на солнце. Рядом с новым старый соломенный улей выглядел тусклым и потрепанным.

Медленно и осторожно я принялся переселять пчел. Сперва отыскал матку и перенес ее, и она быстро нашла себе место. За маткой последовали и все остальные. Мое спокойствие передалось и им. Я чувствовал себя настолько уверенно, что снял перчатки и брал пчел голыми руками. И пчелы не противились, они позволяли управлять собою, словно были совсем ручные.

Я предвкушал, как проведу здесь время: лишь я и они, покой, молчаливое взаимопознание и обоюдное доверие, постепенно крепнущее. Но в этот момент я вдруг почувствовал, что по ноге кто-то ползет, потом судорожные взмахи крылышек, прижатых тканью брюк, — и обжигающая боль. Я подскочил и громко, по-женски, взвизгнул, но, к счастью, меня никто не услышал. Рука машинально потянулась вниз и хлопнула по ужаленному месту. Я дернул брючину, и на траву вывалилась пчела — с мохнатым тельцем, блестящей спинкой и беспомощно задранными кверху

лапками.

Место укуса нестерпимо саднило. Удивительно, такое крошечное существо — и такая жуткая боль. Наступить на нее, растоптать, раздавить, пусть даже пчела уже мертва. Но я посмотрел на улей, на ее сестер и обуздал свою злость. Пора привыкать к непредсказуемости этого мира.

Я быстро заправил брюки в сапоги, надел перчатки, постаравшись не оставить ни единого просвета, и продолжил работать. Наверное, время безграничного доверия еще не пришло. Впрочем, у пчел пока тоже не имелось оснований мне доверять. Но доверие — это вопрос времени, в этом я нимало не сомневался. Я не дам им повода меня покинуть, и однажды мы станем единым целым.

Долгие, бесконечные минуты — и пчелы были перенесены на новое место.

Я отступил назад и оглядел плоды своего изнурительного труда. Именно пчелам суждено было стать судьями, им предстояло решить, станет ли этот незнакомый улей для них домом. Многие из них по-прежнему крутились возле старого улья, озадаченные пропажей матки. Я поставил соломенный улей на тачку. Теперь мне оставалось лишь сжечь его и ждать, что получится.

Тао

Свитера. Брюки. Белье. На сколько дней? На неделю? На две?

Я решила взять столько, сколько поместится в старую дорожную сумку, принадлежавшую раньше моему отцу. Я торопилась, как торопится тот, кто уже извелся от ожидания. Вернувшись домой после ночной вылазки, лечь спать я не стала и просто бродила по комнате. Но не оттого что я не знала, куда себя деть. Наоборот — у меня появился план. Мне больше необязательно сидеть и ждать, ждать и надеяться, что мне позвонят и все объяснят, ждать и корить себя за то единственное слово, которое я так и не сказала Куаню. Одно простое короткое слово — «прости». Я не могла. Ведь если бы я сказала «прости», это стало бы правдой. Вина легла бы на мои плечи.

Да, иначе поступить нельзя.

Я застегнула молнию. «З-зип!» Звук получился слишком громким — видимо, из-за него я и не услышала шагов позади, а когда повернулась, Куань уже стоял рядом. Растрепанный и сонный, он озадаченно смотрел на меня.

— Я еду в Пекин.

— Как это? — Он разинул рот — возможно, удивился, что я решила уехать, а возможно, оттого что я не позвала его с собой. В эту же секунду я поняла, что ошиблась — надо было сказать «мы». Мы едем. Но ехать вдвоем мне и в голову не пришло.

— Но как...

— Я должна его найти.

— Ты даже не знаешь, в какой больнице он лежит.

— Я должна туда поехать.

— Но... Пекин... Ты хоть знаешь, с чего начать?

Он сильно похудел. Кожа туго обтягивала кости. Таким худым я еще никогда его не видела. И осунулся.

— У меня есть адреса. Я обойду все больницы.

— Одна? — Голос его окреп. — Но разве... В Пекине же опасно.

— Это наш сын.

Мои слова прозвучали слишком жестко.

Я старалась не смотреть на Куаня, но чувствовала, как ему хочется что-то сказать. Что он поедет со мной?

— Но как... Чем ты будешь расплачиваться? Билеты, гостиница?

Я замерла. Что он спросит об этом, я не сомневалась.

— Я совсем немного возьму, — тихо сказала я.

Куань метнулся к серванту, открыл его и быстро оглядел полки. Его лицо будто окаменело. Он повернулся ко мне, и теперь его взгляд был удивительно холодным. Куань вырвал из моих рук сумку, открыл ее и уставился на лежавшую сверху коробочку.

— Нет! — почти закричал он, как никогда не кричал на меня прежде.

Куань разжал руку, сумка шлепнулась на пол, а сам он шагнул ко мне.

— Тао, ты его не найдешь, — сказал он. — Потратишь все, что у нас есть, но его не найдешь.

— Я все не потрачу. Я же сказала, что возьму лишь чуть-чуть.

Хотя в сумке уже лежало достаточно свитеров, я вытащила из шкафа еще один и принялась складывать его, стараясь двигаться медленно и спокойно. Синтетическая ткань потрескивала.

— Я должна попытаться. — Я смотрела вниз, на пол, стараясь не глядеть на сумку. Иначе я просто схватила бы ее и убежала. Пол прорезала царапина. Совсем недавно, зимой, Вей-Вень уронил здесь игрушку, желтую деревянную лошадку. Я тогда рассердилась: игрушек у нас было мало. А он плакал, потому что одна нога у лошадки отвалилась.

— Но если ты потратишь деньги... Мы три года копили... Совсем скоро мы станем старыми... Без денег у нас не будет...

Осекшись, он молча смотрел на меня. Между нами стояла открытая сумка, поверх вещей лежала коробочка с деньгами.

— Это бесполезно, — проговорил он наконец, — бессмысленно.

— А сидеть тут — в этом какой смысл?

Куань не ответил. Возможно, ему просто не хотелось со мной пререкаться. Он молчал, не в силах высказать все, что накопилось у него на душе: мало того, что Вей-Вень исчез, что мы его потеряли, так еще и виноватой в том была я. И сейчас я лишала мужа последнего шанса еще раз стать отцом.

Я отвела глаза, смотреть на него было невыносимо, и думать об этом мне не хотелось. Моя вина. Моя вина. Нет. Я же знала, что это не так. Он был виноват не меньше моего. В тот день мы могли бы остаться дома. С прописями и книгами. Но Куаню захотелось прогуляться. Он виноват не меньше моего. Мы оба виноваты.

— Поедем со мной. (Он не ответил.) Давай поедем вместе.

Я заставила себя взглянуть на него. Рассердился? Он посмотрел мне прямо в глаза. Нет. Лишь расстроился.

А потом он слабо качнул головой:

— Мне лучше остаться здесь. На всякий случай. К тому же... на двоих выйдет дороже.

— Я не потрачу все, — тихо сказала я. — Обещаю, что не потрачу.

Я быстро схватила сумку, сунула в нее свитер, закрыла коробочку. И опять застегнула молнию. Остановить меня Куань не пытался.

Я отнесла сумку в прихожую и сняла с вешалки куртку. Куань пошел за мной.

— Ты уезжаешь прямо сейчас?

— Поезд ходит всего раз в день.

Мы стояли в прихожей, Куань не сводил с меня глаз. Неужели он ждет, что я скажу это сейчас? И тогда все станет проще? Если я прокричу об этом? Выплесну свою вину наружу?

У меня не получилось. Попросить прощения означало признать, что если бы мы поступили, как того хотел он, то сейчас бы здесь не стояли. В тот день мы пошли бы куда-нибудь еще, а значит, Вей-Вень был бы...

Я надела куртку. Обулась. Подхватила сумку и направилась к двери.

— Ладно, пока.

Куань шагнул за мной. Хочет вырвать у меня сумку? Нет. Он хотел обнять меня. Я отвернулась и схватилась за дверную ручку. Мне сделалось дурно при мысли о том, что его тело прижмется к моему, его щека дотронется до моей, его губы коснутся моей шеи, что он, возможно, против моей воли пробудит во мне прежние чувства. Хотя, возможно, все это лишь усилит тошноту. И даже хуже — может, я вызову у него те же чувства? Нужна ли я ему? Этого я не знала и знать не хотела.

* * *

Я спокойно вздохнула, лишь когда отыскала в вагоне свое место, села и откинулась на спинку кресла, чувствуя, как потертый пластик вытягивает из меня усталость. Осторожно положив голову на подушечку, я смотрела в окно — на дома, людей, деревья и поля. Все это там, за окном, меня не касалось. Поезд мчался так быстро, что деревья превращались в собственные тени. Если верить расписанию, то уже к вечеру поезд оставит позади 1800 километров железнодорожных путей, однако продолжительность поездки зависела от количества проверок.

Мой собственный мир растворялся. По мере того как мы двигались на север, природа постепенно преображалась. Привычные фруктовые сады, поросшие зеленью холмы и террасные поля сменились рисовыми

плантациями, а еще немного погодя, когда поезд взобрался на гору, за окном замелькали бесплодные пустоши. Затем поезд вновь съехал вниз, в пустынный однообразный пейзаж. Унылая, голая равнина, на которой почти не встречались деревья. Десятки миль тоскливого однообразия. Смотреть было не на что, и я отвернулась.

Прежде я бывала в Пекине лишь раз, в детстве. Там жили друзья моих родителей, и мы поехали к ним в гости. У меня сохранилось всего несколько воспоминаний. Большая оживленная улица, пыльная и шумная. Оглушительный грохот, и повсюду люди — столько людей я еще никогда не видела. И путешествие на поезде — совершенно такое же, как сейчас, я прекрасно его запомнила. Поезд тоже не изменился. За всю мою жизнь техническое развитие не продвинулось вперед ни на шаг. У человечества не осталось времени на изобретения.

Я задремала, и перед глазами поплыла череда похожих друг на друга снов. Вот я приезжаю в Пекин, начинаю поиски и встречаю кого-то, кто вызывается отвести меня к Вей-Веню. Сначала это сотрудник гостиницы — по его словам, он знает, где Вей-Вень, и ведет меня по узким переулкам и оживленным улицам. Мы бежим, он впереди, а я за ним. Я наталкиваюсь на людей и время от времени теряю своего проводника из виду. Наконец я догоняю его, но он вырывается. От ужаса я не могу дышать... Тут я проснулась. В следующем сне моей помощницей стала продавщица из магазина. Дальше все повторилось. Она говорит, что отведет меня к нему. Мы идем по бесконечному лабиринту улиц, где солнце прячется за небоскребами, а уличные продавцы то и дело пытаются нас остановить. Женщина бежит так быстро, что я отстаю и понимаю, что потеряла единственный шанс увидеть сына.

Потом я оказываюсь в каком-то другом месте. Это праздник, устроенный в саду. Может, этот сон мне подсунули воспоминания? Тепло, на мне летнее платье. Я — ребенок и пришла на какой-то праздник наподобие выпускного. Мы едим печенья, сухие, с яичным порошком и почти без жира. И водянистое мороженое, искусственное, но все равно вкусное. Я потею, холодное мороженое обжигает горло.

Несколько девочек водят хоровод и поют, песня разливается по саду, громче и громче, некоторые голоса чистые и звонкие, другие — слегка капризные и немелодичные, какие часто бывают у детей. Я стою в тени и смотрю на девочек.

Лакомства на столе становится все меньше. Кое-кто из детей то и дело подбирается к столу и хватается печенье. Я вижу Дайу, мою одноклассницу, с маленькими, глубоко посаженными глазами. На ней голубой брючный

костюмчик с короткими штанишками, а волосы собраны в хвостики. Черные туфельки блестят на солнце, и мне кажется, что Дайу в них жарко. Она подошла к столу с угощениями, выбрала большой кусок торта, положила его на тарелку, взяла вилку и вернулась к своим родителям.

Теперь возле стола стоит другой ребенок. Мальчик. Вей-Вень. Мой Вей-Вень. Что он здесь делает? Он тоже берет кусок торта. Большой кусок, еще больше, чем у Дайу.

И уходит.

«Нет, — думаю я, — только не торт. Не бери его!»

Но Вей-Вень уже исчез. Толпа смыкается, и Вей-Вень с тарелкой в руках исчезает, однако потом появляется вновь, в другом месте. Нужно догнать его, пока он не успел откусить кусок торта. Нельзя, этот торт есть нельзя. Нет, нельзя. Теперь я — взрослая, такая, как в жизни, и я спешу за ним, бегу, расталкиваю людей, вот он, прямо передо мной, но опять исчезает, снова появляется, и опять его нет. Людей вокруг становится все больше и больше.

Его красный шарф превращается в далекую точку в толпе.

И Вей-Вень вновь пропадает.

Я проснулась, когда поезд приехал на темный обшарпанный вокзал. Пекин.

Джордж

Мы сидели в номере мотеля. Стены здесь были выкрашены в желтый, на полу лежал грязноватый ковер, а в нос бил запах нафталина и плесени.

Дождь за окном лил стеной. Нет, это был не милый летний дождик, на смену которому приходит приятная прохлада, а птицы начинают чирикать особенно радостно. Нет. Это был настоящий потоп, прямо как в Библии. Причем уже пятый день пошел, а ливень все не унимался. Я уж решил, что меня кто-то сглазил и что в скором времени придется мне ковчег строить.

На следующий день Том собрался уезжать, а сейчас сидел, уткнувшись в книгу, и желтым фломастером подчеркивал в ней что-то. Я только и слышал, как фломастер скрипит, — похоже, Том решил всю книжку изрисовать.

Пойти нам было некуда. Когда мы заселились, номер показался нам довольно просторным, я специально попросил дать нам номер побольше, на двоих, но за последние дни он словно бы уменьшился в размерах. Единственное окно выходило на задний двор. Две двуспальные кровати занимали чересчур много места. Подвернув цветастое покрывало, я сидел на той, что стояла возле стены. Над кроватью висели две картины, в которых я уже дырку проглядел. На одной — красotka на цветущем лугу, на другой — лодка в море. Стекло заляпанное, и прямо на красоткином лице — жирный отпечаток пальца. Том расположился в кресле возле окна, а книги разложил на низеньком столике. Возле кресла стояла сумка, тоже битком набитая книжками.

Том почти все время там просидел. Нет, с развлечениями тут особо не разбежишься, но ему словно никакого дела не было. Ни до пчел, ни до дождя. Ладно бы злился и ругался — так нет же, он просто сидел и читал. Читал и рисовал в учебнике толстые линии. Розовые, желтые, зеленые. У него, похоже, имелась какая-то своя система, потому что фломастеры он разложил на столе в определенном порядке и брал их по очереди.

У меня зазвонил мобильник, и от неожиданности я вздрогнул. На экране высветился номер Ли.

— Да?

— Ну, что новенького?

— За последние полчаса-то? Да пока ничего.

— Слушай, я еще один прогноз погоды нашел, — сказал Ли. — Там написано, что сегодня вечером вроде дождь закончится.

— А остальные пять что сказали?

— Что не закончится, — потерянно ответил он.

— Слушай, иногда изменить что-то нам не под силу, — утешил его я.

— А вот... — он замялся, — может, останешься еще на несколько дней?

Отчасти мы это уже обсуждали, но напрямую он еще не спрашивал.

— У меня уже машины заказаны. И помощь.

— Ясно...

Больше он ничего не сказал — знал, что не уломает меня.

— Не переживай, скоро закончится. — Я надеялся, что голос мой похож сейчас на мамин.

— Угу.

— И всего-то несколько дней погоды не сделают.

— Ну да.

Мы помолчали. По подоконнику барабанили капли дождя. Машины за стеной разгоняли шинами воду в лужах.

— Я, наверное, съезжу сейчас туда, — произнес вдруг он.

— Это еще зачем?

— Просто посмотрю.

— Я там уже был утром. Пчелы сидят в ульях. И больше ничего не происходит.

— Ну, я на всякий случай.

«Поступай как знаешь, сейчас это твои пчелы», — чуть было не вырвалось у меня.

Он тихо рассмеялся, но радости в его смехе было мало. Я положил трубку. Том оторвался от книги и посмотрел на меня:

— Почему ты не скажешь ему все как есть?

— В смысле?

— Он же потеряет урожай.

— Ну да.

— Он взрослый человек, вряд ли правда убьет его. — Том решительно надел колпачок на фломастер. Колпачок щелкнул. Я посмотрел на сына, и в меня словно бес вселился. Выражался он, чтоб ему пусто было, прямо как пятидесятилетний профессор.

— Ты ж вроде как читаешь.

— Я уже дочитал.

— И что же — ты теперь сидишь и мои разговоры подслушиваешь?

— Папа, прекрати. Ты сидишь в трех метрах от меня.

— Ты чего это вдруг? Поумничать решил?

— Прости, ты о чем?

Бес, который в меня вселился, совсем распоясался.

— «Прости, ты о чем?» — передразнил я его. — Шатаешься тут неделю как неприкаянный и думаешь, что тебе можно всюду нос совать?

Он встал. Высокий, выше меня.

— Я не шатался. Я работал. Потел и горбатился не меньше твоего. И ты это прекрасно знаешь.

— Ну, счастья-то тебе это мало принесло.

Я сделал шаг к нему, и он машинально отступил, но, видать, и сам это заметил, потому что вдруг выпрямился и резко остановился.

— Я никогда не утверждал, что мне все это интересно. Ты сам меня попросил с тобой поехать — забыл?

— Такое, пожалуй, долго не забудешь.

Он молча смотрел на меня. Я бы дорого дал, чтобы узнать, о чем он думает. А потом он вдруг спросил:

— Рик и Джимми — какие они? Можешь их описать?

— Чего-о?

— Какие они? Опиши их.

— Джимми и Рик? А тебе-то до них какое дело?

— Мне — никакого. И все же, если я попрошу тебя их описать, ты наверняка немало сможешь рассказать, верно?

Я смотрел на него и никак не мог взять в толк, что ему в голову взбрело.

— Я тоже о них много знаю, — сказал Том. — Просто потому, что слышал, как ты о них говоришь. И о Ли. Мне известно, что им нравится, чем они занимаются в свободное время и чего боятся. Потому что ты мне об этом рассказывал. — Он заговорил тише и мягче. — Что Рик нужна девушка, например. А Джимми... Судя по твоим словам, тебе кажется, будто он вообще не по части девушек.

Сперва я открыл было рот, чтобы ответить, рассказать про Джимми, но промолчал. Потому что, строго говоря, речь сейчас шла не о Рике и не о Джимми. Я понял, что Том к чему-то клонит, но все не мог сообразить, к чему именно. Он словно запихнул мой мозг в коробку и теперь тряс ее.

— А меня — как ты опишешь меня? — спросил он.

— Тебя?

— Да. Что мне нравится? Что я умею? Чего боюсь?

— Ты ж мой сын, — ответил я.

Он вздохнул и улыбнулся, слегка язвительно. Мы молча смотрели друг на друга, и меня прямо-таки распирало. Но потом Том вдруг отвел глаза,

повернулся и подошел к сумке с книгами.

— Если делать все равно нечего, поучу историю. — И он вытащил из сумки толстую книгу с Биг-Беном на темно-синей обложке.

Том развернул кресло, уселся спиной ко мне и уткнулся в книгу.

Я пожалел, что у меня нет с собой книги. И кресла там лишнего не было, а то я б тоже его развернул. Но больше всего я жалел, что у меня в запасе нету остроумного ответа. Том меня победил. Бес, который в меня вселился, по части слов был не мастак — не подсказал мне ни единого.

* * *

Через час или полтора дождь поутих, а небо стало если не голубым, то менее серым. Похоже, шестой прогноз погоды оказался правильным.

Том наконец отложил книжку в сторону, встал и надел куртку:

— Пойду прогуляюсь.

— Машину не бери.

— Ладно.

— Она мне может понадобится.

— Знаю. Я просто пройдуся.

— Ладно.

Он едва успел открыть дверь, как опять позвонил Ли и попросил нас приехать как можно быстрее.

Tao

Совсем рядом с вокзалом я нашла отель, старый и пустой, зато дешевый. На другой стороне улицы был ресторанчик с простой и недорогой едой. Сегодня я решила поесть горячего и зашла туда. Каждый день так питаться не получится, иначе денег хватит лишь на неделю. А сколько мне придется здесь пробыть, я не знала. Пока не найду его. Я не уеду, пока его не найду.

Молодой паренек поставил передо мной тарелку. Жареный рис — кроме него, в этом семейном ресторане ничего не подавали. Паренек, принесший еду, рассказал, что готовит его отец, а работают в ресторане они вдвоем.

В просторном зале я сидела одна. Народа на улице тоже было мало. Я запомнила этот город совершенно другим, шумным и многолюдным. Сейчас же дома выглядели заброшенными, а улицы опустели. Работы здесь больше не было, и я знала, что многих местных жителей против их воли переселяли в сельскохозяйственные регионы, где требовались рабочие руки, однако тишина испугала меня. Этот город рос и развивался, а потом жизнь вдруг замерла, и теперь все приходило в упадок. Словно старик на пути к смерти, он делался все более одиноким и тихим и с каждым днем двигался все медленнее. Улица, на которой находился мой отель, совсем вымерла, а свет горел лишь в этом маленьком ресторанчике.

Я подвинула стул, его ножки проскребли по полу, и этот звук эхом разнесся по пустому залу. Я принялась за еду, а официант стоял поодаль и ждал. Молодой, лет восемнадцать, не больше, и очень худой. Волосы у него были длинные, похоже, уже давно не стригся, а униформу носил с юношеской небрежностью. Двигался он легко и непринужденно. Учись он в колледже, ровесники тянулись бы к нему. Обаянием природа наградила его не скупясь. Такие всегда становятся душой компании. Парнишка вдруг заметил, что я наблюдаю за ним, ему стало неловко, и он быстро спрятал руки за спину.

— Как вам еда? — спросил он.

— Очень вкусно, спасибо.

— Простите, что не можем предложить ничего другого.

— Ничего страшного. У меня все равно не хватило бы денег, — улыбнулась я.

Он улыбнулся в ответ — кажется, мои слова его обрадовали и он

понял, что мы с ним в одинаковом положении.

— Здесь всегда так пусто? — спросила я.

Он кивнул:

— В последние годы — да.

— Тогда как же вы живете?

Он пожал плечами:

— Ну, изредка кто-нибудь все же заходит. А еще мы продали часть посуды. — Он качнул головой в сторону кухни, где его отец мыл кастрюлю. — Самые лучшие ножи, мясорубку, котлы, большую плиту. Теперь у нас есть деньги — мы подсчитали, до ноября хватит.

Паренек умолк, видимо задаваясь тем же вопросом, что и я: как они будут жить дальше?

— Почему вы не уехали? — спросила я.

Официант принялся протирать и так чистый стол.

— Когда всех наших знакомых переселили, нам разрешили остаться, потому что наш ресторан очень старый. Папа несколько месяцев выбивал разрешение. — Паренек свернул полотенце и теперь мял его в руках. — Помню, он прибежал домой, такой радостный, и сказал, что нам можно не переезжать. Можно остаться дома.

— А что же теперь?

Он отвел взгляд.

— Теперь уже поздно. Мы никуда не уехали.

Он дернул себя за волосы и внезапно стал немного похож на Вей-Веня. Какой же он молодой, даже моложе, чем мне поначалу показалось, совсем мальчишка — лет четырнадцать или пятнадцать. Еще не вырос.

Я придвинула ему тарелку:

— Хочешь? Я наелась.

— Нет, что вы! — Он недоверчиво посмотрел на меня. — Вы же заплатили.

— Но я больше не хочу. — Я протянула ему палочки: — Вот, держи. И садись.

Он украдкой посмотрел в сторону кухни, на отца, но тому не было до нас никакого дела, и мальчик быстро выдвинул стул, сел и взял палочки. Он заглатывал рис мгновенно, и я вспомнила Вей-Веня, когда тот ел сливы. Но потом вдруг мальчик замер, точно мое внимание смущало его. Я приветливо улыбнулась, и он вновь принялся за еду, по всей видимости уговаривая себя не торопиться.

Не желая больше его смущать, я поднялась и собралась уходить. Мальчик тут же вскочил.

— Не вставай, — сказала я и направилась к двери.

— Хорошо. — Он замялся. — Хотя нет.

Он подошел ко мне. Положив руку на дверную ручку, я уж собиралась открыть дверь, но замерла и посмотрела на мальчика. Я не могла взять в толк, чего он хочет.

— Где вы живете? — спросил он.

— Вон там. — Я показала на гостиницу на другой стороне улицы.

Он подошел ближе и выглянул наружу: ни машин, ни людей, ни единого признака жизни.

— Вы идите, а я послежу, пока вы не дойдете до отеля.

— Как это?

— Я постою здесь, — по-взрослому серьезно сказал он.

— Спасибо.

Я открыла дверь и вышла из ресторана. На пустынной улице пахло мокрым бетоном, пылью и гнилью. Освеженный город. Ободранные здания. На одной из стен висел информационный экран, где вновь и вновь прокручивались первые десять секунд какой-то передачи. Ли Сьяра, руководитель Комитета. Наверное, говорит о единстве и умеренности. Но звука не было, поэтому ее слова остались для меня тайной. Магазины закрыты, на дверях замки. Окна разбиты. Все вокруг коричневое или серое, других цветов здесь не осталось, будто город утонул в коричнево-сером тумане. И тяжелой гнетущей тишине.

Перейдя улицу, я обернулась. Да, мальчик и правда стоял возле двери. Он кивнул в сторону гостиницы, будто подгоняя меня.

Джордж

Ли суетился возле ульев, пытаясь исправить положение. На нем был комбинезон, шляпа и накидка, я видел, что он сам не свой от тревоги. Четыре улья валялись на земле, а над ними во влажном после дождя воздухе висело черное облако сердитых пчел, внезапно лишившихся крова.

— Ай! — Ли вдруг схватился за шею.

— Не оставляй зазоров. — Я подоткнул его накидку. Жало потом вытащит, ничего с ним не станется.

Он выругался, на глазах у него даже слезы выступили. Может, из-за боли, а может, он разревелся еще до того, как его укусила пчела.

— Я думал, что через забор он не полезет... — тихо проговорил он.

— Нет, если уж учуял мед, то его уже не остановишь. Тут я заметил, что Том не сводит с меня глаз.

— Ты же сказал, что медведи здесь перевелись?

Посмотреть на него я не отважился, а на вопрос решил не отвечать. Вместо этого поднял улей. Осмотрел его. Вроде целый.

— Поддай-ка мне вон ту. — Я показал на валявшуюся чуть поодаль рамку.

Не сводя с меня взгляда, Том поднял рамку и протянул мне. Я увидел, что руки у него дрожат. И наконец посмотрел ему в лицо. Глаза у него были огромные, совсем как в тот раз. От профессора и следа не осталось — теперь передо мной стоял маленький мальчик.

— Он близко? — тихо спросил Том.

Я взял у него рамку и заглянул сыну в глаза:

— Нет. Медведь как улей ломает, так сразу же убегает.

Он молча глядел на меня. Сомневался.

Я приобнял его, хотя сам от себя подобного не ожидал.

— Том. Так, как тогда, больше не будет. Теперь все по-другому. Такое бывает каждый год, но самого медведя я ни единого раза не видел. Пчелам — да, им здорово достается. Но хуже всего Ли, ведь платить-то ему.

Том кивнул и руку мою не сбросил.

— Мы же именно поэтому живем в мотеле, понимаешь? А не в палатке, — добавил я.

Он опять кивнул.

Я сжал его плечо. Мне ужасно захотелось прижать его к себе, я был

нужен ему. Я по-прежнему был ему нужен. Но тут к нам подошел Ли.

— Три улья, — сообщил он. — Это будет... двести сорок долларов?

Я отстранился от Тома и кивнул, но, увидев, как физиономию Ли перекосило отчаянием, сказал:

— Двести сорок? Нет. Пусть будет двести.

— Но, Джордж, ты же...

— И говорить не о чем. Считаю, что это я тебе одолжил.

Ли отвернулся и сглотнул. Том все еще смотрел на меня. Он молчал, но глаза говорили за него. И они ничего не забывали.

Это случилось, когда я впервые приехал к Ли. Я тогда вообще в первый раз вывез пчел с пасеки. Мы взяли с собой всего несколько ульев — сколько поместилось в пикапе. Я считал всю эту затею экспериментом и думал, что если все пройдет удачно, то можно потихоньку заняться опылением. Но в основном я относился к этой поездке как к отпуску. Потому и взял с собой Тома, которому тогда было всего пять лет. Лишь мы с ним вдвоем, а вокруг — бескрайний лес. И ни души. Будем ловить рыбу, пить воду из ручья, жечь костры. Мы беспрерывно болтали с ним, планируя, чем займемся.

Поставив улья, мы отыскивали неподалеку холмик, всем неплохой: от ветра защищен, земля ровная и без кочек, еще и вид оттуда открывался отличный. С палаткой возился несколько часов, каждый колышек вбил как следует, проверил, чтобы стенки нигде не провисали. В этой палатке нам предстояло прожить три недели, поэтому я постарался.

Тома я попросил разложить спальные мешки. Он тоже подошел к заданию со всей ответственностью — дома он не раз видел, как Эмма застилает постели. От работы Том не отлынивал и без умолку болтал — похоже, по маме еще не скучал. «Ничего, — думал я, — мы и вдвоем с ним прекрасно справимся. Три недели пролетят — и глазом моргнуть не успеешь, а поездку эту он на всю жизнь запомнит».

Мы разожгли костер, прижались друг к дружке и жарили маршмеллоу. Том немного дрожал, и я обнял его за худенькие плечи. Мы разглядывали небо, я показывал ему знакомые созвездия. Сперва я нашел только Большой ковш и Орион, но, присмотревшись, отыскал еще парочку.

— Смотри, вон там — Змея.

— Где?

— А вон!

Он посмотрел туда, куда указывал мой палец, а я ткнул пальцем еще в несколько звезд.

— А почему оно называется Змея?

— Оно не просто так называется, оно и есть змея. И я рассказал ему про змею. Вообще сказочник из меня хуже некуда, но на этот раз я придумал такую сказку, что закачаешься. Может, потому что под боком у меня сидел Том, может, отсутствие телевизора и других развлечений разбудило во мне какие-то древние навыки, а может, меня подстегнула радость от того, что мы с сыном проведем целых три недели вдвоем.

— Змея жила в расщелине скалы, рядом с небольшой дереvушкой, — начал я, — и была эта змея самая злая в мире и жутко голодная. Что бы ни попалоcь на ее пути — она все пожирала. Сперва она сожрала лес, потом — урожай на полях, а следом добралась и до огородов. Фрукты, овощи, ягоды — ничем не брезговала и становилась все толще и толще. Когда она съела все кусты, выкопала каждую картофелину, даже самую крошечную, и в окрестностях не осталось ни травинки, змея принялась за людей. На завтрак она лопала детей, а на обед — стареньких бабушек. И все росла и росла, а в конце концов стала такая огромная и толстая, что обернулась вокруг деревни кольцом. Лежала и заглатывала местных жителей, одного за другим. Люди сидели по домам, прятались в шкафах, под кроватью и в погребе. Но змея и туда умудрялась добраться, она заползала в каждый угол и съедала бедняг, так что никому не было от нее спасения.

Я почувствовал, что Том дрожит, и понял, что не только холод этому виной. Я крепче обнял его, а он сильнее прижался ко мне.

— Как избавиться от змеи, никто не знал. Люди были перед ней бессильны. Вот и смерть пришла, думали они, скоро нас съедят. И все старались спрятаться получше. Все, кроме одного мальчика.

— Какого мальчика? — спросил Том, тихо и с неподдельным интересом.

— Это был... о-о нет, это был довольно необычный мальчик.

— Почему?

— Этот мальчик был пчеловодом.

— Понятно, — быстро проговорил Том, как будто боялся, что скажи он еще хоть слово — и я перестану рассказывать.

— У него был большой и красивый улей, и пчелы там жили — мечта, а не пчелы: никогда не болели, работали много и жалили редко. Матке уже исполнилось три года, а яиц она отложила великое множество. И вот пошел этот мальчик к своему улью, открыл его и шепотом попросил пчел помочь ему. — Я театрально умолк. Окончание сказки я уже придумал и был ужасно доволен собой.

Том ждал, но я не торопился. Он буравил меня круглыми от

нетерпения глазами, однако мне хотелось немножко помариновать его.

В конце концов он не выдержал:

— А дальше что было?

Я медленно заговорил:

— Пчелы выслушали и задумались, а змей уже шипел совсем рядом, подбираясь к мальчику. — Том глядел на меня, открыв рот. — И как раз в ту секунду, когда змей уже разинул пасть и собирался проглотить мальчика, на помощь подоспели пчелы! Огромный их рой набросился на змею, они жалили и жалили, в голову, в шею, в хвост, в глаза, все туловище искусили, змея не выдержала и уползла прочь.

Том сидел у меня под боком, сжавшись и не смея дышать.

— И все спаслись? — тихо, почти неслышно спросил он, явно боясь услышать ответ.

Я еще немного помолчал, а потом ответил:

— Ну да.

Том радостно выдохнул.

— Но пчелам этого показалось мало, — сказал я.

— Мало? — Том даже хихикнул.

— Они гнали змею все дальше и дальше.

— Совсем далеко, да?

— Ага, дальше и не придумаешь.

Том наконец расслабился. Его тело напоминало мягкий теплый комочек.

— Они прогнали ее на небо, — сказал я, — там она и живет. По сей день.

Том кивнул, задев головой мой локоть.

— Вон он, — добавил я, — а вон там — улы.

— Где?

— А во-он там. Вон — один, второй и третий. — Я нарисовал пальцем в воздухе три квадрата.

— А пчелы где?

— Пчелы? — Я задумался, а потом на ум мне пришел ответ, от которого я сам себе показался гением: — Все остальные звезды на небе — это и есть те пчелы.

«Целых три недели вместе, — думал я, — какое же счастье!»

Вскоре мы легли спать, и Том заснул почти сразу, а я лежал и прислушивался к его дыханию. Нос у него был слегка заложен, и оттого Том посапывал. Он завозился в спальном мешке, укладываясь поудобнее. А вскоре заснул и я.

А потом пришел медведь. Нас разбудил стук — это упал на землю висевший над костром котел. И звездных пчел заслонил черный силуэт. Под его лапами затрещали кусты, так близко, что слышно было, как шерсть цепляется за ветки. Я обнял Тома, но теперь толку от меня было мало. Широко распахнув глаза, Том не мигая вглядывался в темноту.

Медведь хозяйничал возле палатки, а мы слушали. Вот он разорвал пакет с маршмеллоу. Разломал поленницу, которую я так старательно укладывал. И застучал лапой по переносному холодильнику.

А потом все стихло.

Мы еще долго так сидели. Шелохнуться боялись. Я погладил Тома по голове, надеясь, что он повернется и посмотрит на меня, но он смотрел перед собой, в пустоту. Как же мне его успокоить? И что теперь скажет Эмма? Я не знал и поэтому молчал, лишь крепче прижимая Тома к себе. Однако тело его было как взведенная пружина.

В конце концов я набрался храбрости и выглянул наружу. Похожий на медведя на славу, маршмеллоу съел все до одной, но самого его видно не было. У меня будто гора с плеч свалилась.

Я заглянул в палатку:

— Все хорошо, он ушел.

Но Том не ответил. Он по-прежнему сидел, сжав губы и уставившись перед собой. Я поднял его и отнес в машину, а на следующий день отправил на автобусе домой. Что еще мне оставалось? Мы договорились, что Эмма встретит его на вокзале. Том без малейших колебаний согласился в одиночку проделать такой длинный путь. Прежде он ни за что бы на это не решился.

Когда я рассказал Эмме о случившемся, голос ее в телефонной трубке звучал сухо и неласково. Я знал, что она думает, пусть даже она и ограничивалась «да» и «нет». Надо было заранее проверить — вот что она думала. Надо было местных расспросить. Надо было поинтересоваться, нет ли в округе медведей. От смерти вас отделял тоненький брезент — повезло тебе, дураку, не по заслугам.

Автобус тронулся с места, а я смотрел на белевшее в окне личико Тома. В его глазах, огромных и испуганных, читалось облегчение.

Больше он никогда не ездил со мной в Мэн.

До этого раза — никогда.

Когда мы сели в машину, погода еще не испортилась. Ли уехал раньше — сказал, что хочет написать жалобу на производителей электрических изгородей.

По дороге в мотель Том ни слова не проронил. Может, ждал, когда медведь выскочит на дорогу, кинется на нашу машину, расколошматит капот, выбьет стекла и вытащит нас, как мышей из норы.

В мотеле он бросился собирать вещи — сгреб со стола фломастеры, запихнул в сумку книгу с Биг-Беном на обложке. Я стоял посреди комнаты и наблюдал за ним.

— Ты куда торопишься-то?

— Хочу заранее собраться, — пробормотал он, даже не оглянувшись на меня.

На меня он посмотрел, только когда застегнул молнию на сумке. К тому времени я сидел на кровати и делал вид, будто читаю газету.

Том стоял возле сумки, явно не зная, куда девать руки. Он было засунул их в карманы, но потом опять вытащил. Глаза у него как-то странно блестели.

— Ты чего? — не выдержал я.

Он не ответил, но, похоже, какая-то мысль никак не давала ему покоя.

— Ну как хочешь, дело твое. — Я уткнулся в газету и слегка нахмурился, будто зачитался чем-то особенно увлекательным.

— Зачем ты это все делаешь? — выпалил вдруг он.

Я оторвался от газеты:

— В смысле? Ты о чем это?

— Зачем ты их таскаешь по всей стране?

— Чего-о?..

— Я про пчел. — Он вздохнул. — Сегодня ты потерял три улья. Три пчелиных роя лишились дома. — Его голос окреп, глаза широко раскрылись, и он обхватил себя руками, словно пытаясь удержаться за самого себя. — Они же полжизни трясутся в грузовиках. Ты вообще задумывался, каково им это?

Совсем малец, а трагедию развел как взрослый. Мне стало смешно. И я засмеялся. Губы скривились в усмешке, а из горла вырвался хриплый смех, получившийся, однако, каким-то неестественным.

— Ты что, не любишь чернику? — спросил я.

Том оторопел:

— Чернику?

Я смотрел на него, снисходительно улыбаясь, — пытался спрятаться за этой улыбкой.

— Если бы не пчелы, то черники в Мэне было бы намного меньше.
Он сглотнул.

— Папа, я знаю. Но сама система — почему ты поддерживаешь ее?
Сельское хозяйство... каким оно стало...

Я сложил газету и, стараясь не сильно размахивать руками, бросил ее на стол. Спокойно — главное, говорить спокойно и не сорваться.

— Если бы сын Гарета задал этот вопрос своему папаше, я бы понял.
Но я — не Гарет. И я веду дела не так, как он.

— По-моему, ты на него равняешься, разве нет?

— Я равняюсь на Гарета?

— Ты же говорил, что хочешь больше ульев.

Он не спрашивал, а утверждал. И вроде как не обвинял, хотя если это не обвинение, то что?

Я опять рассмеялся. Получилось невесело.

— Ну да, конечно. Еще я вступил в гольф-клуб. И заказал кучу табличек с моим именем.

— В смысле?

— Ничего, забудь.

Он глубоко, полной грудью вдохнул и посмотрел в окно. Дождя по-прежнему не было.

— Пойду все-таки погуляю, — сказал он куда-то в сторону.

И ушел.

Все мои великие планы просто открыли обшарпанную дверь и ушли прочь. Бросили меня.

Уильям

— Но куда же он подевался?

Мы были на кухне — я и Тильда с девочками. Я наконец решился показать им то, чему посвящал в последние дни все свое время. Я собирался отвести их к улью и, оставив на безопасном расстоянии, чтобы пчелы до них не добрались, планировал осторожно открыть улей и объяснить его устройство. Чтобы и они все, и Эдмунд поняли, какое изобретение должны благодарить, когда их жизнь изменится, какое изобретение прославит нас и навсегда увековечит наши имена.

Солнце уже уткнулось в раскинувшиеся за нашим садом поля и теперь словно бодалось с горизонтом и наступавшими с запада темными облаками. Совсем скоро солнце сядет, и, возможно, ночью прольется дождь. Я хотел показать родным улей прямо сейчас, потому что именно в предзакатный момент пчелы собираются внутри.

— Он предупредил, что к ужину не придет, — сказала Тильда.

— Вон оно что. И какова же причина?

— Об этом я не спрашивала.

— Но ты сказала ему, что сегодня я собираюсь вам кое-что продемонстрировать?

— Он молодой мужчина, и у него своя жизнь. И где он сейчас, я не знаю.

— Ему следовало бы быть сейчас здесь!

— Он устал, — не уступала Тильда. Она говорила о нем как о грудном младенце, со слащавым сюсюканьем, хотя его даже не было рядом.

— А если он не способен выполнять обязательства, то как же он будет учиться?

Ответила она не сразу — сперва хорошенько все обдумала, шмыгая носом.

— По-твоему, это ему нужно?

— О чем это ты?

— Лучше ему еще годик побыть дома. Пусть отдохнет как следует. — Она говорила, раздувая ноздри, к горлу у меня подкатила тошнота, и я отвернулся.

— Разыщите его, — сказал я, не глядя на нее.

Восемь пар глаз неотступно следили за мной, но никто из присутствующих и с места не сдвинулся.

— Разыщите его! — повторил я.

Наконец мои слова возымели действие: одна из них в конце концов поняла, кто здесь глава семьи. Шагнула к двери и сняла с крючка капор:

— Я сбегаяю.

Шарлотта.

* * *

Мы все сидели на кухне и ждали его, а темнота постепенно выползала из углов и обнимала нас. Лампу никто не зажигал. Каждый раз, когда кто-то из девочек открывал рот, Тильда шикала, и та умолкала. В окно было видно небо, однако облака давно уже закрыли солнце, да и сами почти слились с сумеречным небом. Вскоре ночь лишит нас способности видеть и будет чересчур поздно что-либо показывать.

Куда же он подевался?

Я вышел на крыльцо. Атмосферное давление упало, воздух был липким и тяжелым, ни ветерка. Над деревней повисла тишина. Пчелы давно уже вернулись в улей, я не слышал даже их жужжания.

Где он постоянно бродит? Разве есть в мире что-то важнее изобретения, которое я так жаждал показать ему?

Я вернулся в дом. Тильда с трудом сдерживала зевоту, Джорджиана уснула, положив голову на колени Доротеи, а близнецы, кренясь друг к дружке, сонно моргали. Они сильно припозднились — им давно уже следовало лечь спать. Мне стало вдруг неловко, и я отступил в сторону. На столе стоял кувшин, я налил себе воды. Под ложечкой неприятно засосало, а в животе тихо заурчало. Я торопливо выдвинул стул в надежде, что этот звук заглушит урчание, и сел, надавив обеими руками на живот и чуть склонившись вперед. Урчание стихло.

Дверь неожиданно распахнулась. Я вскочил. Первой вошла Шарлотта — опустив голову и глядя в пол. За ней виднелся темный силуэт. Эдмунд. Она все-таки разыскала его.

— Дорогой мой, да что же это?! — Тильда метнулась к нему.

С него капала вода. Пошатываясь, Эдмунд сделал несколько шагов. Волосы и куртка насквозь промокли, но брюки были сухими — его словно окатили водой из ведра.

— Шарлотта?.. — начала Тильда.

— Эдмунд... он...

— Я упал в ручей, — медленно проговорил Эдмунд и, спотыкаясь,

сделал еще несколько шагов.

Я подошел к нему и положил руку ему на плечо. Мне хотелось поскорее отвести его к улью, чтобы он наконец понял. Но тело его под мокрой одеждой дрожало, а зубы стучали от холода.

— Эдмунд?

— Я... я хочу спать... — не оборачиваясь, тихо пробормотал он и, стряхнув мою руку, зашаркал к ведущей на второй этаж лестнице.

Тильда засемила следом, вылитая наседка, даже завохтала, совсем как курица:

— Мальчик мой милый... Пойдем, пойдем, я тебе помогу... Ох, осторожнее, не споткнись. Я тебе уже и постельку приготовила... Обопрись на меня... Вот так, да.

Его сгорбленная фигура скрылась в темноте лестницы, а я посмотрел на свою руку, мокрую, оттого что я прикасался к его одежде. Я торопливо вытер ладонь о брюки.

Черная меланхолия, так беспощадно мучившая меня, — быть может, она проснулась и в моем сыне? Быть может, вместе с моей кровью ему передался и мой недуг? Бывают ли такие заболевания наследственными? Может статься, именно поэтому Эдмунд никогда не раскрывал передо мной своей души?

Сдавило грудь. Нет, только не он. Не Эдмунд.

Я очнулся и заметил окруживших меня девочек. Некоторые из них покачивались от усталости, однако все они смотрели на меня и молча ждали. Все, кроме Шарлотты — та упорно отводила взгляд, хотя лицо ее тоже были бледным и усталым.

Я вздохнул.

— Завтра, — тихо сказал я. — Покажу вам все завтра.

Тао

— Вы не подскажете, как мне туда добраться?

Я стояла в безликом и обшарпанном гостиничном фойе и показывала администратору точку на карте. Эта больница была одной из последних в моем списке. Все остальные я уже проверила и вычеркнула.

— Раньше сюда можно было доехать на метро, — ответила женщина за стойкой, показав на карту, — с пересадкой вот здесь. — Ее палец отполз в сторону и остановился совсем рядом с потрепанным краем карты.

Администратор была высокой и худой и по малейшему поводу разражалась неестественно громким раскатистым смехом. Она работала круглосуточно, потому что всех остальных, по ее словам, заставили переселиться, а для нее и для ее дочери эта гостиница, с трудом державшаяся на плаву, — единственный источник дохода. Дочка — девочка лет десяти — приходила каждый день после школы, садилась в фойе и делала уроки. Лишь в это время матери и дочери удавалось побыть вместе.

— Но сейчас эту ветку метро Городской комитет не рекомендует использовать, — добавила администратор. Я вопросительно посмотрела на нее. — В этих районах опасно. Они оккупированы. Хотя нет, что это я. Оккупированы — это я неправильно сказала. Но там живут те, кто потерял все. И надзора над ними нет.

— Что это за люди?

— Те, кто отказался переселяться, и их оставили здесь. Сначала они прятались, а потом было уже поздно. Может, потом кто и передумал, вот только ничего не изменишь. — Она сглотнула и отвернулась. Возможно, ее история была похожей на ту, что рассказал мне мальчик из ресторана, но расспрашивать я не стала — еще одного такого рассказа я бы не выдержала.

Мне хотелось побыстрее выйти из гостиницы, отправиться на поиски, как отправлялась я ежедневно с того самого дня, как оказалась здесь. Мой сын где-то в этом городе — значит, я его найду. Я вставала на рассвете, клала в сумку деньги и несколько сухих хлебцев и шла искать. По одному району и одной больнице на день. В некоторые из них я уже звонила — еще из дома или отсюда, из отеля, а потому мне были известны названия отделений и имена врачей. Сейчас я осаждала их уже лично. Мне казалось, что лицом к лицу со мной им будет труднее отмахнуться — сложно отказать матери, когда та стоит прямо перед тобой. Некоторые помнили

меня и разговаривали с явной неохотой. Но были и те, у кого хватало смелости взглянуть мне в глаза и сказать, что они понимают мое отчаяние.

Однако результат был повсюду одинаковым: имени Вей-Веня в больничных записях не встречалось. Никто из врачей о нем не слышал. И меня отправляли дальше: вы ездили во Фенгтай? А в центральной детской больнице Чаоянг узнавали? Возможно, вам следует обратиться в Центр лечения заболеваний дыхательных путей в Хаидане?

В каждой больнице я старалась дойти до главврача, не довольствуясь объяснениями первого же доктора, изъявившего готовность поговорить со мной. Приходилось ждать. Часами. Я сидела, стояла, бродила — вдоль окон, в темных коридорах, залитых холодным светом залов, со стаканом воды в руках, с чашкой чая из автомата, чаще всего одна, но иногда меня отправляли в приемную, где сидели еще люди. Посетителей было мало, и тем не менее меня словно сдвигали в самый конец списка, очень часто нужный врач соглашался поговорить со мной лишь под самый вечер. Порой я замечала раздражение на лицах собеседников: что же ей дома не сидится? У нас столько больных, каждый третий страдает от истощения, а тут всего лишь ребенок, когда же она наконец уймется, у нас и так времени не хватает. Но я не уходила. Не скандалила, а тихо ждала и в конце концов добивалась своего. Не раз меня принимал сам главврач. Тогда меня проводили в кабинеты — просторные комнаты, уставленные массивной мебелью, когда-то роскошные, но сейчас обветшавшие. Я представлялась и излагала свою просьбу, и ко мне всегда относились с пониманием. Они сверялись с архивами, звонили в другие больницы. Старались. Но помочь никто из них не смог. Вей-Вень исчез.

Сперва я звонила Куаню каждый вечер. Но слов друг для друга у нас почти не находилось. Я говорила, что ничего важного не узнала, а он отвечал, что ему тоже никто не звонил. Наши сухие деловые беседы с каждым вечером становились все короче и короче. Еще он спрашивал о деньгах — сколько я уже потратила и сколько осталось. Я врала, боясь признаться, что только билет на поезд обошелся мне в пять с половиной тысяч юаней. Однажды вечером я решила не звонить ему. Сам он тоже звонить не стал. Рассказать нам было не о чем, мы оба знали об этом и без слов договорились, что первым позвонит тот, кто о чем-то узнает.

По ночам я спала крепко, без сновидений; как только голова моя касалась подушки, кто-то будто набрасывал темную тряпку на клетку моего сознания. Я делала все, что было в моих силах, и осознание этого придавало мне спокойствия. Я не сомневалась, что в конце концов отыщу его. Главное — не останавливаться. Но дни шли, и моя уверенность таяла.

С количеством галочек, которыми я отмечала проверенные больницы, крепла тревога. Потому что Вей-Веня нигде не было и никто о нем не слышал. А деньги таяли быстрее, чем я ожидала, коробочка уже почти ничего не весила. Теперь в ней лежало всего семь тысяч юаней. У нас с Куанем оставалось в запасе еще два года, и постарайся мы как следует — накопим столько, сколько требуется. Но еще билет домой — за него тоже придется заплатить.

— Я давненько из тех краев ничего не слышала, — тихо проговорила администратор, сворачивая карту. — Возможно, там больше никто не живет. Нам не рекомендуется посещать эти районы.

— А как же больница?

— Она прямо на границе. — Женщина ткнула в карту. — А неконтролируемые районы начинаются вот тут. К югу от них находиться можно. Но... вам точно туда надо?

Я кивнула.

Она посмотрела мне в глаза. Она поняла. Ей было известно, что я разыскиваю сына, но не более того. Впрочем, этого было достаточно. Те, у кого есть дети, понимают, что этого достаточно. Что какая бы опасность ни угрожала тебе самому, ты просто отодвинешь ее на второй план.

* * *

Я запрокинула голову и посмотрела вверх, на крышу. Красная черепица, с которой время и ветер обошлись со всей суровостью, когда-то была блестящей и яркой. Такой покрывают крыши храмов. Стены поблекли, краска облупилась. С неба донесся тихий ровный гул. Там что-то двигалось. Я сощурилась, но источник гула исчез за крышей.

Надо мной нависало непроницаемое серое небо. Когда я вышла из гостиницы, светило солнце, но здесь все укрывал туман, словно поторопивший наступление сумерек.

На дорогу я потратила четыре часа. Мне пришлось сделать порядочный крюк и трижды пересечь с одной линии на другую, но за пределы районов, которые администратор назвала спокойными, я не выходила. Тем не менее поезда и станции были такими обшарпанными, а пассажиры — такими молчаливыми, что я то и дело подозрительно озиралась.

Прежде я несколько раз связывалась с этой больницей, но ответ их ничем не отличался от других: о Вей-Вене они ничего не знают и помочь

мне не могут. А в последний раз, позвонив туда, я наткнулась на автоответчик с бесполезным голосовым меню.

Первое, что я увидела, когда вошла внутрь, была засохшая цветочная композиция. Лампочка на потолке озаряла коридор тусклым светом, а значит, электричество в больнице еще не отключили. В просторном фойе никого не было. Я подошла к темной деревянной стойке регистратуры, но и там не обнаружила ни души, но зато возле стойки стоял древний аппарат для регистрации поступивших больных, вероятно поставленный здесь еще до Коллапса. Я нажала на кнопку, экран вспыхнул, но тут же погас.

Я бесцельно двинулась по коридору. Сначала свернула было направо, но наткнулась на запертую дверь. Слева обнаружился лифт. Я нажала по очереди на несколько кнопок, но безрезультатно, и я двинулась по бесконечным темным коридорам. Дергала за ручку каждой двери, но все было заперто.

Наконец я отыскала дверь, ведущую на темную лестницу. Я поднялась на второй этаж, но и там меня встретила запертая дверь. А вот на третьем этаже оказалось открыто, и я вновь очутилась в коридоре, таком же пустом, как и все остальные. Я сделала несколько шагов, отдававшихся глухим стуком по каменному полу, и остановилась возле окна. И увидела. В одном больничном крыле горел свет. Я зашагала в том направлении, надеясь, что коридор приведет меня туда.

Впереди послышался какой-то звук, царапанье металла о линолеум.

— Эй! — тихо окликнула я.

Одна дверь была открыта. Двойная стеклянная дверь. Но что находилось внутри — этого я не видела.

Сердце вдруг заколотилось. Что-то было не так. Наверное, надо побыстрее проскочить вперед, к светящемуся крылу больницы, но тогда придется пройти мимо дверей. Я прибавила шаг.

Опять звуки. На этот раз шарканье.

А потом передо мной возникло это существо. Сперва мой взгляд упал на босые ноги. Отросшие ногти на скрюченных, морщинистых пальцах. Она — а судя по всему, это была женщина — едва шагала, толкая перед собой стойку с капельницей. Стойка и издавала позвякивание. Но резервуар на капельнице, в который обычно наливают лекарство, был пуст. Седые волосы торчали клоками, а на затылке сваялись в большой колтун. На женщине была лишь длинная больничная сорочка, грязная и заляпанная, а под ней угадывался подгузник. Лишь когда я разглядела его, в нос мне ударил запах.

Бедняга смотрела на меня так, будто забыла, что умеет говорить.

Я отшатнулась.

Она открыла рот и зашипела, а потом опять. Хотела что-то сказать мне. Я постаралась взять себя в руки. Вдохнула. Бросать ее было нельзя.

Я шагнула к ней. Она пошатнулась, и мне показалось, что сейчас упадет.

— С-с-с... — едва слышно выдохнула она, — смотри...

Она опять пошатнулась, и я подхватила ее под локоть. Зловоние разъедало глаза, рука была худенькой, как у ребенка. Она тянула меня в палату, откуда вышла.

Я толкнула дверь, та бесшумно распахнулась, и мы вошли внутрь. Я не выпускала локоть женщины, боясь, что ноги ее не удержат. К горлу подступила тошнота, зловоние навалилось плотной непроницаемой массой, высасывая из груди воздух.

Палата была огромной. Вдоль стен выстроились кровати — блестящие стальные больничные кровати, застеленные когда-то белыми простынями. Посчитать их мне не пришлось в голову, но кроватей было не меньше сотни.

На кроватях лежали люди. Пожилые, старики и совсем дряхлые старцы. Они всхлипывали, стонали, цеплялись за кровать, моргали и поднимали вверх руки. Иные лежали неподвижно, с закрытыми глазами. Будто спали. Заметив меня, многие приподнялись. Невероятно худые, истощенные и все одинаково неухоженные. Как и та, что привела меня сюда. Старики принялись сползать с кроватей. И вот уже не меньше двадцати человек, пытаясь побороть собственное тело, преодолеть силу тяжести, медленно двигались вперед, ко мне. У некоторых не выдерживали ноги, и старики падали на четвереньки. И все твердили одно и то же.

Помоги. Помоги мне. Помоги нам.

Снова и снова.

Но спящие так и не пошевелились. Не открыли глаза. Несмотря на поднявшийся шум, на вскрики вокруг. Лишь сейчас я поняла, что не сон приковывает их к кроватям. А смерть.

И тогда я развернулась и побежала.

Я кричала. Кричала без слов. Надеялась, что кто-нибудь откликнется, но ответа не было.

Почти в полной темноте я неслась к противоположному крылу, туда, где горел свет.

Топот собственных ног по линолеуму, мое дыхание — и никаких других звуков.

Я завернула за угол и увидела прямо перед собой освещенные палаты. Подбежав к одной из дверей, я распахнула ее и увидела женщину в

белом — врача или медсестру, — укладывавшую в большую коробку постельное белье. Заметив меня, женщина выпрямилась:

— Вы кто?

Лишь сейчас я заметила, что плачу. Я вытерла слезы и попыталась заговорить, но слова застревали в горле.

— Сядьте, сядьте. — Она подтолкнула меня к стулу.

— Нет. Нет! Старики... Им надо помочь.

Она отвела глаза. И вновь принялась складывать простыни.

Я потянула ее за руку:

— Я покажу вам... Пойдемте!

Она осторожно, по-прежнему не глядя на меня, высвободила руку.

— Мы знаем, — спокойно сказала она.

Я опять схватила ее за руку:

— Но они же больны! И еще там... мне кажется, там и мертвые есть.

Она отступила назад.

— Взять их с собой мы не можем.

— Взять с собой?

— Мы переезжаем из этой больницы. В этом районе стало беспокойно.

Пациентов мы перевозим в другую больницу, на юг. В Фаншань. Нас здесь совсем мало, и мы не справляемся. Нас почти перестали снабжать едой и лекарствами, и работать тут никто не хочет.

— А как же старики?

— Они умерли.

— Нет, я же видела их — там есть и живые!

— Они скоро умрут. — Она посмотрела мне прямо в глаза, будто решив больше не щадить меня.

Я замерла.

— Нет!

Она положила руку мне на локоть:

— Сядьте. — Она подошла к раковине, повернула вентиль и подставила под кран стакан. В кране зашипело, но воды не было. Тогда она направилась к двери: — Я сейчас.

Вскоре она вернулась и протянула мне стакан тепловатой воды, и я вцепилась в него как в волшебную палочку.

Она присела рядом со мной, участливо спросила:

— Вы родственница?

— Да. Нет. Не знаю. То есть... Здесь моих близких нет. (Недоумение в ее глазах.) Я разыскиваю сына.

Она кивнула.

— Вы правы — здесь его нет. Последних пациентов мы вывезли сегодня утром. Осталось вывезти лишь оборудование.

— А старики?

Она резко поднялась, оставив мой вопрос без ответа.

— А как же старики?! — повторила я.

— Им уже не поможешь. — Бесстрастно сказав это, она отвела взгляд и взялась за, на которой стояла коробка с бельем. — Я вынуждена попросить вас уйти.

Горло вновь сдавила тошнота.

— То есть вы бросите их здесь?

Она отвернулась.

— Уходите.

— Нет!

Когда она наконец посмотрела на меня, в глазах ее светилась мольба.

— Уходите. И забудьте все, что видели здесь.

Я рванулась вперед — хотела схватиться за тележку, удержать, но женщина рванула ее в сторону, тележка с грохотом ударилась о дверной косяк, но в проем не вписалась, и женщине пришлось отступить назад и с усилием пропихнуть ее через порог. Оказавшись за дверью, женщина быстро двинулась по коридору, толкая перед собой тележку. Колеса с дребезжаньем катились по полу, и казалось, будто этот дребезг иголками втыкается в мои барабанные перепонки.

* * *

Я стояла посреди улицы, не зная, как там очутилась. Я бросила их, бросила, как и все остальные, я ничем не отличалась от других. Это наш мир. Мы приносим в жертву стариков. Неужели и мою маму постигла та же участь? Ее просто увезли. Все произошло так быстро. Она исчезла. А я и пальцем не шевельнула, чтобы помочь ей. Я сама допустила это.

Мама.

Я согнулась, опустилась на колени, желудок сжался, и меня вывернуло.

Меня рвало до тех пор, пока внутри ничего не осталось. Я неподвижно стояла на коленях посреди улицы. Надо вернуться. Накормить их, дать воды. Вытащить их оттуда. Или найти кого-то, кто поможет мне. Надо поступить по-человечески. Кто-то должен что-то предпринять. И возможно, этот кто-то — я и есть. Возможно, руководство больницы даже не знает о решении бросить стариков. Возможно, они и правда не знают ничего.

Вот только... Я не за этим сюда приехала.

Вей-Вень.

Старики в больнице — это меня не касается. Пусть они будут на совести врачей. И родственников. Кто-то же отправил их туда. На этот раз не я.

Мама. Я предала ее. И главное теперь — не предать Вей-Веня. А люди в больнице... Я не в силах им помочь. Мне надо думать о ребенке.

Меня опять вырвало — тело словно бунтовало против таких мыслей. От губ протянулись тоненькие ниточки слюны, в горле саднило. Так мне и надо.

Обессиленная, я все стояла на коленях. Голова кружилась. Потом я медленно поднялась и побрела по улице. Куда идти, я не представляла, знала лишь, что хочу оказаться подальше от этого места.

Во рту у меня пересохло, я старалась дышать носом и то и дело облизывала губы. Но это не помогало. Тут я вспомнила, что захватила бутылку с водой. Я вытащила полупустую бутылку и большими глотками осушила ее. И поплелась дальше. Я совсем потеряла счет времени. С одной стороны небо было светлее, и меня тянуло туда. Может, там светит солнце и я избавлюсь наконец от всей этой серости? Но просвет быстро таял, и легкая дымка вскоре превратилась в плотную пелену.

Когда я поняла, что заблудилась, было почти темно.

Джордж

Мы вернули ульи туда, где они стояли прежде, — на луг, на опушку леса и на обочину дороги. Туда, где, по мнению Тома, было их законное место. Вот только Том, видать, вообще считал, что не его это забота — с пчелами возиться. Я приехал на луг возле Алабаст-Ривер задолго до обеда. Солнце припекало, поэтому моя белая шляпа, комбинезон и маска быстро нагрелись. Под комбинезоном у меня ничего не было, только трусы, и, добравшись до их резинки, капли пота собирались в щекотные лужицы. Небось во Флориде-то сейчас похуже, чем в аду. Слава тебе господи, что с этой идеей раз и навсегда покончено!

По местным меркам лето выдалось жарким. Погода последние недели держалась прямо-таки удивительная. Ни дождика. Пчелы сновали туда-сюда — улетали на восходе, а прятались в улье, лишь когда поздно вечером солнце скрывалось за владениями Гарета.

Мое любимое время, лучше не бывает. Я старался подольше находиться возле ульев. Никуда не торопился. Бывало, они танцуют, а я стою и любуюсь. Никаких закономерностей в их движениях я не видел, но знал, что именно так пчелы рассказывают друг дружке, где искать лучший нектар.

Я слегка взмахну крылышками, отлечу вправо, потом два шага влево, а теперь сделаю еще кружочек, и все это означает, что вам следует лететь мимо большого дуба, потом на холм, а оттуда через ручей — и вот та-ам, сестренки, там вас ждет лучшая в мире луговая клубника, целое поле!

Они сновали туда-сюда, залетали в улей, танцевали и снова скрывались — искали, находили и приносили. А ульи все тяжелели и тяжелели. Время от времени я пытался приподнять их и прикидывал, сколько они весят. Внутри уже скопилось немало меда. Жидкие золотистые деньги. Деньги на страховку, деньги на кредит.

Мы давно уже снабдили каждый улей дополнительными рамками для меда. А сейчас главное было не позволить пчелам отроиться, не дать старой матке забрать с собой часть семьи, чтобы освободить место для новой матки и ее расплода.

Алабаст-Ривер расположена довольно далеко от любого жилья, однако меня не раз просили убрать пчелиный рой, облюбовавший фруктовое дерево в чьем-нибудь саду. Я откликался на просьбу, и на месте меня

встречали сердитые кумушки и их перепуганные детишки, которые запирались в доме и, прижавшись носом к окну, с ужасом наблюдали, как я стряхиваю рой и пересаживаю пчел в новый улей. Из-за таких отроившихся пчел за нами могла закрепиться дурная слава, поэтому я изо всех сил старался подобного избегать. Ну а пчелы, отдыхая от работы и дожидаясь, когда их собратья-разведчики отыщут им новый дом, как назло так и норовили окопаться не в ничейном лесу, а в чьем-нибудь саду.

Поэтому я то и дело залезал в ульи в поисках мисочек, и если находил хоть малейшие признаки, то сразу же придавливал их. Ведь если дело дойдет до личинок, то придется делить рой.

В некоторых ульях пчелиным семьям прямо-таки не терпелось роиться. Отчего это происходило, я так никогда толком и не понимал, но матку приходилось менять, выбирая на развод лучших и борясь с искушением сохранить прежнюю. Большинство маток я в этом году уже поменял, но кое-где оставил в живых старых. Особенно надежных, тех, что способны откладывать яйца три года подряд. Образцово-показательных, чье потомство мне хотелось сохранить.

В улье, к которому я подошел, жила как раз такая матка. Улей был розовым, а рой в нем — невероятно трудолюбивым. Жившие в розовом улье пчелы приносили самые большие взятки^[3]. На этих пчел я мог положиться, они меня никогда не подводили. Меда здесь уже накопилось столько, что мне пришлось добавить две дополнительные рамки. Две тяжелые рамки с сотами, полными меда. Я сюда целых две недели не заглядывал — все больше занимался ульями в других местах пасеки.

Том все никак не шел у меня из головы, и я даже на леток особо внимания не обратил — просто взял и снял крышку. Похоже, Том вообще решил с нами не разговаривать. Ни про стипендию не рассказывал, ни о том, чем думает дальше жить. А может, он и звонил, но лишь когда меня не было дома. Может, разговаривает с Эммой, а она все от меня скрывает. Ну, я события тоже не торопил. Вдруг Тому просто надо хорошенько пораскинуть мозгами? Когда новостей нет — это, считай, хорошие новости. Где меня искать, он знает, ферма как стояла, так и стоит, никуда не делась с того раза, как он изволил сюда пожаловать.

Да что же это, я, что ли, соскучился по нему?

Я положил крышку на землю и лишь сейчас собрался с мыслями. Потому что звук был не такой, как обычно. Не такой, каким должен быть. В улье было чересчур тихо.

Я вытащил утеплитель. Ну теперь-то я их услышу?

Наклонившись пониже, я осмотрел леток.

Пчел там не было.

Потом я проверил верхнюю рамку. С сотами все было в порядке. И меда много.

Вот только куда же подевались пчелы?

Наверное, в следующей рамке. Ну да. Наверняка.

Где же им еще быть-то?

Я поднял верхнюю рамку, и спина моя взбунтовалась. *Ногами! Присел и поднял!* Я старался унять тревогу, медленно и осторожно положил рамку на траву, выпрямился и заглянул в следующую.

Никого.

Расплод. Ну естественно — они в сотах для расплода! Я быстро вытащил решетку, отделявшую трутней и матку от остальных пчел. Солнце висело прямо у меня над макушкой, так что не заметить чего-то я просто не мог.

Пустой. Улей был пустым.

Нет, расплода-то в нем было много, но этим все и ограничивалось. Еще там ползало несколько только что вылупившихся пчел. Бедные неприкаянные сиротки...

В самом низу я отыскал матку. На спинке у нее была бирюзовая точка — так я помечал всех маток. К матке жались молодые пчелы. Дети. Они не танцевали и казались какими-то вялыми. Одинокие. Брошенные. Мать и дети, покинутые рабочими пчелами. Покинутые теми, кто должен был о них заботиться. Обреченные на смерть.

Я осмотрел землю вокруг улья. Но и там пчел не было. Они просто исчезли.

Осторожно вернув на место решетку и рамки, я заметил вдруг, что подозрительно быстро моргаю. А руки у меня тряслись и похолодели, словно тут вдруг наступила сырая промозглая осень.

Я повернулся к другому улью. Леток смотрел в другую сторону, так что я с того места, где стоял, его не видел, но я и так все понял: в другом улье тоже было тихо.

Клещей тут нет. И ничем мои пчелы не болели. Ни на кладбище, ни на поле битвы не похоже. Ни единойдохлой пчелы.

Они просто ушли.

Бросили матку почти одну.

Грудь сдавило, и я побыстрее закрыл улей крышкой. И открыл следующий.

Во мне еще теплилась надежда, поэтому руки мои быстро сорвали крышку.

Но нет. Та же картина.

Еще один улей.

То же самое. Следующий. И еще один.

И еще.

Я поднял голову.

Они стояли передо мной, разбросанные по полю. Мои ульи. В которых жили мои пчелы.

Двадцать шесть ульев. Двадцать шесть пчелиных семей.

Уильям

Пока Эдмунд спал и набирался сил, я посвятил себя пчелам. Наступил новый день, вновь показалось солнце, осушившее мои слезы. Разумеется, ничем он не болен, просто устал. Тильда права. Днем раньше, днем позже — какая, в сущности, разница? Главное, чтобы он увидел мое изобретение, и тогда уж непременно пробудится к жизни!

Я создал невероятные возможности для наблюдения, а чтобы лишний раз не нагибаться и не мучить спину, разместил улей на порядочной высоте. Приспособились пчелы удивительно быстро. Они собирали пыльцу и нектар и постоянно давали расплод. Все шло так, как и должно было. Лишь одна их особенность вызывала мое непрестанное удивление: стремление непременно прикрепить восковые пластины к какой-нибудь поверхности. Я пытался вмешаться, однако если пластины располагались чересчур близко к стенкам улья, то пчелы залепляли щель смесью воска с прополисом, вязкой субстанцией, во многом состоявшей из древесной смолы. Если же пластины значительно отстояли от стенок улья, то пчелы чувствовали свободу и принимались строить диагональные соты. Потребность пчел во что бы то ни стало отыскать опору для сот значительно усложняла сбор меда. Здесь крылась загадка, над которой мне еще предстояло поломать голову.

Когда он пришел, я стоял возле улья. Я заметил его раньше, чем он меня. От его вида сердце мое сжалось. На нем была его вечная широкополая шляпа, отбрасывающая на лицо тень, и рубаха, такая просторная, что его худощавое тело казалось еще более щуплым. На плече висел мешок — хорошо мне знакомый старый мешок из парусины, битком набитый пробирками, пинцетами, скальпелями и даже мелким зверьем.

Я сделал вид, будто занят ульем. Возможно, этого момента я и ждал так бесконечно долго, однако мне вовсе не хотелось показывать, что именно я поставил на карту. Толком не соображая, что делаю, я засунул руки в улей, так что если смотреть на меня со спины, с тропинки, казалось, будто я с головой ушел в работу, поглощенный моим детищем — только моим, и ничьим более.

Его шаги звучали все ближе. Он остановился. Кашлянул.

— Ну надо же!

Я обернулся, изображив притворное удивление:

— Рахм.

Он сухо улыбнулся:

— Значит, слухи оказались правдивыми?

— Слухи?

— Вы оправились от болезни и вновь в строю.

Я выпрямился:

— Не просто в строю. Таким полным сил я никогда еще себя не чувствовал. — Это прозвучало глупо и напыщенно.

— Рад слышать, — без улыбки ответил он.

Я питал надежду, что профессор примется расспрашивать, хотя бы поинтересуется, откуда я черпаю силы, однако он молчал, повернувшись ко мне вполборота, словно собираясь вот-вот удалиться.

Подойдя к изгороди, я снял шляпу и маску. Мне хотелось удержать его, протянуть руку для рукопожатия, сжать его ладонь в своей. И тут я сообразил, что лицо мое наверняка покраснелось и, вероятнее всего, блестит от пота. Я украдкой вытер лоб, но от его взгляда это не укрылось.

— В таком одеянии жарко, — сказал Рахм, и я кивнул. — Впрочем, при такой работе наиболее разумным будет прикрыть тело.

— Да... — Я не понимал, к чему он клонит.

— Если не прикрываться, можно нанести значительный ущерб собственному здоровью, — продолжал он знакомым назидательным тоном, будто сообщая мне нечто новое.

— Это мне известно, — коротко ответил я, сгорая от желания поделиться с ним каким-нибудь мудрым и незаурядным наблюдением, заставить его улыбнуться, но на ум приходили лишь банальности.

— Поэтому пчелы никогда не воодушевляли меня. До них невозможно дотронуться.

— Это зависит от вашей уверенности в себе.

Но он будто не слышал.

— Если, конечно, вы не Уайлдмен. — Его губы растянулись наконец в улыбке.

— Уайлдмен?

Рахм, совсем как раньше, подсунул мне незнакомое имя. Как это похоже на него! Не человек, а бездонный кладезь знаний.

— Ах вот как. Вы не читали об Уайлдмене?

— Нет... Впрочем, не уверен... Кажется, что-то слышал.

— Циркач, фокусник. Шарлатан. И большой шутник. Он брал пчел голыми руками и пускал ползать по лицу. Без всякой защиты. Прославился благодаря номеру под названием «Пчелиная борода». — Для пущей наглядности Рахм провел рукой по лицу. — Он сажал пчел на щеки,

подбородок и шею. Уайлдмен даже выступал перед королем Георгом Третьим. Кажется, это было... в 1772, верно? — Он вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая ответа. — Впрочем, это несущественно. Этот Уайлдмен был настоящим безумцем. Его номер иначе как русской рулеткой не назовешь, а он делал вид, будто повелевает пчелами. На самом же деле он просто заставлял пчел роиться. Закармливал их сиропом и вытаскивал из улья матку. А ведь пчелы всегда устремляются за маткой. — Судя по тону, Рахм и мысли не допускал о том, что это мне известно. — Его отец по молодости тоже проделывал подобные фокусы. Томас Уайлдмен. Но со временем взялся за ум и стал уважаемым пчеловодом. Его признавали даже дворяне. Отпрыск же его, напротив, так всю жизнь и предавался безрассудствам. Бог знает, что он хотел доказать.

— Да уж, — поддакнул я.

— Ну что ж. — Рахм приложил руку к шляпе. — Вы, господин Сэведж, на Уайлдмена не похожи. Это мы оба знаем. И тем не менее будьте осторожны. — Он отмахнулся от пчелы. — Жалят они больно. — И Рахм зашагал прочь.

— Рахм! — Я шагнул за ним.

— Да? — Он обернулся.

— Может, вы уделите мне минутку... мне хотелось бы показать вам кое-что.

* * *

Пока я показывал ему улей, он не проронил ни слова. А я нахлобучил шляпу Шарлотты и завесил маской лицо, поэтому глаз его разглядеть не мог. Я говорил все быстрее, тонул в объяснениях, окрыленный возможностью впервые показать кому-то мое собственное детище. И сказать нужно было так много, так много объяснить. Я продемонстрировал, с какой простотой смогу теперь извлекать мед, как легко вынимать соты, объяснил, как, почти не прилагая усилий, поддерживать в улье чистоту. Я отдал должное и моему предшественнику, упомянул, что на создание этого улья меня вдохновил Юбер, но что моя модель намного проще в обращении и позволяет сохранять внутри более приятную для пчел температуру. И разумеется, я не забыл отметить роль, которую мое изобретение сыграет в дальнейшем изучении пчел.

Наконец поток объяснений у меня иссяк, и я заметил, что даже запыхался.

Наконец-то.

Я ждал ответа, но его не последовало.

Молчание становилось все более тягостным, подогревая зародившийся во мне страх.

— Я был бы очень признателен, если бы вы поделились со мной своими соображениями, — решился я наконец.

Он обошел вокруг улья, с великим тщанием осмотрев его со всех сторон. Открыл его. Закрыл.

Я убрал руки за спину, чувствуя, как пот буквально просачивается сквозь ткань перчаток.

А потом он заговорил:

— Вы сконструировали улей Дзержона. — Я молча смотрел на Рахма, не понимая, о чем он толкует, и тогда профессор медленно повторил: — Вы сконструировали улей Дзержона.

— Прошу прощения?!

— Ян Дзержон. Священник и пчеловод. Он поляк, но живет в Пруссии. Этот улей — его изобретение.

— Да нет же... Это я сам... Я... я и не слышал об этом... Как его... Тсе...

— Дзержон. — Рахм повернулся спиной к улью, отошел чуть в сторону и снял шляпу. Лицо его было красным. Неужели я так разгневал его? — Я впервые прочитал о его улье более десяти лет назад. Дзержон опубликовал несколько статей в *Bienenzeitung*. — Он смерил меня ничего не выражающим взглядом. — Впрочем, насколько я знаю, вы этого журнала не читаете, а за пределами научных кругов его статьи малоизвестны, поэтому неудивительно, что вы о них не слышали. — Опять этот назидательный тон. — Тем не менее созданный вами улей, как вы верно заметили, позволит вам весьма успешно проводить исследования *in vivo*. Я не исключаю, что эта работа принесет плоды.

Он улыбнулся, и я догадался, что не от гнева покраснело его лицо, а от с трудом сдерживаемого смеха, безрадостного и сдавленного. Я опять разочаровал его, и смех — единственное, что ему оставалось.

Однако Рахм не дал волю смеху — он лишь молча стоял и смотрел на меня, совершенно очевидно ожидая ответа. Я был не в силах произнести ни слова. Ведь это все неправда? Неужели мои усилия потрачены впустую? Горло перехватило, кровь бросилась мне в лицо. Поняв, что ответа от меня не дожидаться, он вновь заговорил:

— Я советовал бы вам ознакомиться с соответствующей научной сферой заблаговременно, перед тем как вы направите силы на

последующие изыскания. За последние годы данная научная дисциплина шагнула невероятно далеко. Например, Дзержон утверждает, что пчелиные матки и обычные рабочие пчелы выводятся в результате оплодотворения, трутни же, в свою очередь, развиваются из неоплодотворенных яиц. Данная теория весьма спорная, однако шуму наделала немало. Кроме того, работы Дзержона вдохновили молодого монаха по имени Грегор Мендель на исследование наследственности, равного которому в научном мире не видели. Как вы понимаете, пищи для размышлений здесь немало. — Он взмахнул шляпой. — В любом случае, отрадно видеть, что вы вновь полны жизни. И я крайне признателен вам за то, что вы показали мне эту занятную игрушку.

Я сжимал в руках шляпу, и протягивать ему руку показалось мне от этого неуместным. Сказать я тоже ничего не смог — боялся, что за словами последуют рыдания.

Привычным движением Рахм водрузил на голову шляпу, коротко кивнул, прикоснувшись к полям головного убора, развернулся и зашагал прочь.

А я остался. Мальчишка со своей занятой игрушкой.

Джордж

Я быстро зашагал к реке, по лугу, мимо дуба. В животе все сжалось. Не могли же они взять и исчезнуть. Я вытащил мобильник и уставился на экран — может, кто звонил, кто-то, обнаруживший вдруг у себя в саду здоровенный пчелиный рой? Но нет. Звонок я бы услышал.

Не было никакого роя. Конечно, нет. И я это прекрасно знал. Во время роения в улье все выглядит совершенно иначе. И рой не бросает старую матку.

Я прочесал окрестности — каждый метр по несколько раз.

Ничего.

Тогда я опять достал мобильник. Надо разобраться, надо выяснить, в чем дело, но одному мне не справиться.

Я набрал номер Рика, и тот ответил сразу же, перебивая шум. Он, похоже, в пабе сидел.

— Рик к вашим услугам! — весело заорал он. У меня перехватило горло, и слова застряли где-то на полпути. — Алло! Джордж?

— Да. Привет. Прости.

— Случилось чего? Погоди-ка... — Шум стих — судя по всему, Рик вышел из паба. — Привет. Во, теперь ништяк.

— Рик, слушай... Ты, это... может, подъедешь сейчас? Я на лугу возле речки.

До него дошло, что дело дрянь, и веселье из его голоса улетучилось.

— Прямо сейчас? Чего случилось-то?

— Да. Да...

— Джордж?! В чем дело?

— Здесь.... — голос у меня сорвался, — столько всего случилось. Столько всего...

* * *

Эмма расплакалась. Она стояла под деревом и ревела. Листья отбрасывали тень на ее мокрые щеки, и тень эта дрожала. Возможно, Эмма надеялась спрятаться здесь, под деревом, хотела скрыть отчаяние. Но я нашел ее. Нашел и крепко обнял, как делал всегда, когда она плакала. Это помогло — Эмма успокоилась. Да я и сам поостыл.

Вокруг нас валялись ульи, яркие — вырви глаз. Домики, раскиданные злобным великаном. А великаном этим был я. На меня что-то накатило, кровь ударила в голову, я, задыхаясь, бегал по полю и заглядывал в ульи.

Я не всех пчел потерял. В нескольких ульях все было по-прежнему, пчелы там как ни в чем не бывало крутились, занимаясь своими делами. Но ульев таких осталось мало, я их и не считал даже, просто заглядывал внутрь и бежал к следующему.

Рик с Джимми тоже примчались, но держались чуть поодаль. Рик медленно переступал с ноги на ногу, в кои-то веки молча. Он слегка покачивался, словно не знал, с чего начать. Джимми же сразу принялся за работу — поднимал пустые ульи и бережно ставил их в ряд.

— Это же все не просто так случилось! — всхлипнула Эмма, уткнувшись в мою водолазку. Ответить мне было нечего. — Значит, что-то было... не так.

Я разжал руки.

— Ты что же, думаешь, за ними ухода не было?

— Да нет. — Плач утих. — Но... а питались они хорошо? — Эмма подняла голову, на лицо ее падала тень, а глаза она отводила.

— Хорошо? Да ты на календарь-то погляди, ты же понимаешь, что еды у них сейчас выше крыши!

— Ну да, верно. — К ней вернулось самообладание. Я же стоял перед ней, не зная, куда девать руки. — Сейчас так жарко. А пчелы целый день на солнцепеке. Многие из них.

— Слушай, они каждое лето так, поколение за поколением.

— Верно. Прости... Просто не верится, что они взяли и исчезли. Без всякой на то причины.

Челюсти мои сами собой сжались, и я отвернулся.

— Вон оно как. Поверить, значит, не можешь. Но от этого мало что изменится — хочешь верь, хочешь нет.

Мимо нас прожужжала одинокая пчела.

— Прости, — тихо проговорила она. — Иди сюда. Она протянула ко мне руки, такая мягкая и надежная.

И я позволил ей обнять меня. Даже уткнулся в ее свитер. Я б тоже с радостью поплакал, но глаза у меня оставались сухими, как песок. Только дышать трудно было. Свитер мешал дышать, а тепло ее кожи обжигало даже сквозь ткань.

Я высвободился из ее объятий и начал собирать разбросанные вокруг подставки, однако сложить их было некуда, и в конце концов я просто бросил их на землю. Бессмысленное занятие. И бестолковое.

Эмма подошла ко мне и опять протянула руки:

— Послушай...

Меня предали, прямо как Купидона. Вот только поплакаться мне было некому. И обвинять тоже некого — я не знал, откуда пришла беда...

И не могу же я разреветься, как ужаленный пчелой младенец.

Глядя на Эмму, я затряс головой:

— Мне работать надо.

Я поднял еще несколько подставок и положил их сверху на кучу. Штабель опасно накренился.

— Ладно. — Она опустила руки. — Я приготовлю вам перекусить. — Развернулась и двинулась прочь.

* * *

Предзакатное солнце напоминало проделанную в небе раскаленную дыру. Лучи у него были прямыми, а тени получались длинными. Тело ломило, но о боли я не думал. Мои ульи стояли на семи участках, и повсюду меня ждала одинаковая картина.

Мы уже добрались до последних ульев, расставленных в лесу за фермой Мак-Кензи. Ну, как в лесу — в небольшой рощице, со всех сторон зажатой полями. Ульи стояли в тени, и обычно из-за пчелиного жужжания здесь даже трелей местных пичуг было не слышать. Но сейчас и тут царил тишина.

Джимми, словно фокусник, вытащил откуда-то три раскладных стульчика.

— Давайте-ка присядем, — сказал он.

Он выбрал местечко подальше от ульев, а я и Рик поплелись следом. Рик за весь вечер ни словом не обмолвился, и я поймал себя на мысли, что соскучился по его историям. Но каждый раз, встретив мой взгляд, Рик отворачивался — видать, не хотел, чтобы я заметил, как у него глаза блестят.

Джимми достал термос и пачку печенья. Он что, все это с собой притащил? Или Эмма подсустилась? Этого я так и не понял. Джимми снял с печенья обертку, а потом разлил по кружкам кофе. Мы молча взяли кружки, но чокаться не стали.

Раскладной стул поскрипывал. Я старался не двигаться, пытался вообще не шелохнуться, чтобы не слышать больше этого звука. Звуча, который принадлежал другой эпохе. Джимми отхлебнул кофе. И этот звук

тоже был не к месту. Такой обыденный. Чашка в его руке даже не дрожала, и мне вдруг захотелось схватить его за руку и выплеснуть кофе ему в рожу, чтоб не слышать больше этого прихлебывания. Господи, да что ж на меня нашло-то... Бедный Джимми. Он-то тут при чем...

У нас троих всегда находилось о чем поговорить. Мы болтали о пчеловодстве. О сельском хозяйстве, об инструментах, ремеслах, обсуждали, кто как плотничает. И про деревню нашу. Про соседей. Гарету кости могли часами перемывать. Еще о женщинах трепались — ну, по крайней мере, мы с Риком. Обычно мы за словом в карман не лезли, в темах для разговора недостатка не было, и посмеяться мы тоже любили. Мы с Джимми вели беседу, вроде как мячик перекидывали, а Рик предпочитал длинные монологи.

Но сегодня слова куда-то делись. Каждый раз, когда я пытался что-то сказать, они пропадали. И с другими, похоже, была та же история, потому что Джимми то и дело покашливал, а Рик переводил взгляд с одного на другого и набирал в легкие побольше воздуха. Но до слов так и не доходило.

Мы пили кофе и ели печенье. И старались не шевелиться, чтобы скрип стульев не напоминал нам об этой жуткой тишине. Кофе остыл и сделался совсем безвкусным. Печенье быстро закончилось, и, надо сказать, оно капельку помогло, хотя, съев его, я понял, что режет у меня в животе от голода.

Мы сидели там до заката, пока темнота не окружила нас и не подползла к нашим ногам.

Тао

Табличек с названиями улиц я не обнаружила, по карте определить свое местоположение не сумела. А прохожих, у которых я могла бы спросить дорогу, вокруг не было. Но уверенность, что забрела я туда, куда не следовало, с каждой минутой крепла. Я очутилась в районе, о котором рассказывала администратор в гостинице. В районе, что не подчиняется властям. Где живут те, кто отказался переезжать. Те, кого оставили здесь. Те, кто спрятался.

Я завернула за угол и увидела еще одну пустынную улицу. Темнело, тени вытягивались, а тишина казалась все более гнетущей. Краем глаза я заметила какое-то движение и резко обернулась. Ворота во двор одного из домов были открыты. Это там? Там, внутри, кто-то есть?

Я двинулась дальше, оставив ворота позади. До сих пор я не боялась, мне лишь хотелось выбраться отсюда. Но сейчас почувствовала, как тело напряглось, каждая клеточка. Может, лучше повернуть и пойти назад?

Я сделала еще несколько шагов, медленнее. Однако больше ничего не заметила. Возможно, просто показалось. Или это было животное. Кошка. Или крыса. Существо, пытающееся выжить в этом заброшенном всеми уголке, где людской еды не осталось, а растительность ограничивалась убогими сорняками, пробивающимися сквозь трещины в асфальте.

Подняв голову, я разглядела в самом конце улицы какой-то бело-голубой знак и прибавила шагу. Теперь я отчетливо видела белый значок на голубом фоне. С электричеством были перебои, и значок мигал, но сомнений не оставалось — в конце улицы был вход в метро.

Я почти перешла на бег. Возможно, поезда не ходят, но на станции наверняка есть карта. И возможно, рельсы приведут меня в жилые районы. Здесь ветки метро были наземными, и поезда двигались не по туннелям, как в центре.

Однако бежала я недостаточно быстро. Из подворотни позади меня выскочило какое-то существо и метнулось следом за мной. Я лишь успела разглядеть долговязое нескладное туловище. Тишину разрезал резкий пронзительный свист, и сзади появились еще двое, они выбежали с обеих сторон, оттуда, где, как мне показалось, спрятаться было невозможно.

Между нами было метров двадцать, но мои преследователи бежали быстро и скоро почти догнали меня. Высокая костлявая девчонка и двое мальчишек. Не дети. Не взрослые. С гладкой кожей и глазами глубоких

стариков. Худые, на грани истощения. Но, похоже, при виде меня сил у них прибавилось.

Дождаться я не стала — чего они хотят, мне и так было понятно. Судя по их взглядам, они готовы были на все, что утолило бы их голод. В их глазах светилось то же отчаяние, что и у стариков в больнице, но сил у них было больше, тела подростков позволяли отчаяние преобразовать в действие.

Я рванулась вперед. Тогда, бросив в больнице стариков, я бежала от собственного отвращения, сейчас же от быстроты зависела жизнь.

Но они уже были совсем рядом. Обернуться у меня не хватало смелости, но я слышала их топот. Стук ботинок об асфальт. Нестройный топот шести ног. Все громче и громче.

Синий знак был уже близко. Если я добежу, если доберусь до станции, если придет поезд...

Но я понимала, что обманываю себя. Поезда сюда не ходят. Здесь только я. И они. Трое отчаявшихся голодных подростков, потерявших всякую надежду на жизнь. Которые выжили лишь благодаря врожденному инстинкту самосохранения. Но ведь наш мир — это и они тоже.

Нас разделяли всего несколько метров. Я слышала их дыхание. Вот-вот они настигнут меня. Схватят за плечи. Повалят на землю.

Выбора у меня не оставалось.

Резко остановившись, я развернулась и подняла вверх руки, давая понять, что сдаюсь.

Они тоже остановились, и ярость на их лицах сменилась удивлением. Я попыталась поймать взгляд девочки. Почему ее? Может, потому что она, как и я, была женщиной. Может, подумала, что ее будет легче убедить. Я постаралась вложить в свой взгляд мольбу о сострадании, постаралась заглянуть ей прямо в глаза. Замешкайся я — и она, возможно, вообще не посмотрит мне в лицо. Однако девочка быстро заморгала, и я поняла, что смутила ее. Девочка замерла и перевела взгляд с меня на своих спутников. Мы молча стояли посреди улицы. Я не отваживалась опустить глаза, так что мне не оставалось ничего иного, как смотреть по очереди на подростков — в надежде, что они увидят меня, увидят по-настоящему и успеют задуматься. Успеют увидеть во мне не только добычу. Признают меня человеком.

— Вы здесь одни? — тихо спросила я. Никто из них не ответил. Я шагнула вперед: — Вам нужна помощь?

Девочка едва слышно всхлипнула, и в этом всхлипе я услышала «да». Она повернулась к одному из мальчиков, тому, что был повыше, — похоже,

вожаку.

Я решила рискнуть и обратилась непосредственно к нему:

— Я могу вам помочь. Давайте выберемся отсюда. Все вместе.

Его губы скривились в усмешке:

— Ты боишься. — Голос у него оказался неожиданно тонкий.

Я медленно кивнула, не сводя глаз с мальчика:

— Да. Я боюсь.

— Значит, наболтать можешь что угодно.

Отрицать я не стала и вместо этого спросила:

— Метро работает?

— А ты сама-то как думаешь?

— Вы не пробовали перебраться в другой район?

Он глумливо засмеялся:

— Мы чего только не пробовали.

Я сделала шаг вперед:

— Там, где я живу, есть еда. Я могу купить вам еды.

— Это какая же еда там?

— Какая? — Я растерялась. — Обычная. Рис.

— Обычная... — передразнил он меня. — Чего же нам, из-за тарелки риса из дома уходить?

Мой взгляд скользнул по улице за его спиной. Разруха. Пыль. Ничего похожего на дом.

Он кивнул девочке и другому мальчику, и те шагнули ко мне. Готовились наброситься?

— Нет. Погодите. — Я сунула руку в сумку. — У меня есть деньги! — Пальцы наткнулись на шуршащую упаковку. — И еда. Вот, печенье.

Я вытащила упаковку и протянула им.

Подскочив ко мне, девочка выхватила печенье и надорвала бумагу. Я быстро отступила.

— Эй! — Высокий парнишка кинулся к девочке.

Та сдавила упаковку, и печенье с хрустом раскрошилось. Девочка явно собиралась улизнуть, но мальчик опередил ее. Он разжал ее пальцы и отнял печенье. Она ничего не сказала, но в глазах заблестели слезы.

Мальчик замер, разглядывая добычу. Незамысловатый черно-белый логотип на бумаге слегка расплылся — наверное, руки у девочки были потными.

— Все надо делить, — сказал мальчик, глядя на девочку, — у нас все общее.

Я их больше не интересовала.

Может, разумнее всего сейчас сбежать? Нет. Я должна отдать им все, что у меня есть, должна проявить щедрость. Только не убегать. Иначе они набросятся на меня. Выбора не оставалось.

Я снова запустила руку в сумку. Сглотнула. Решиться было сложно, но иначе никак.

— Смотрите, деньги.

Не смея подходить ближе, я положила несколько выдавших виды купюр на землю. Последние. В коробочке, которую я хранила в гостинице, оставалось лишь несколько мелких монет.

Мальчик посмотрел на деньги.

Я отступила. Слезы сдавили горло.

— Я отдала вам все, что у меня есть. (Он по-прежнему не сводил глаз с банкнот.) И теперь я ухожу.

Я сделала еще шаг. Развернулась. И спокойно зашагала прочь, к метро.

Один шаг.

Второй. Третий.

Ноги сбивались на бег, но я запретила себе торопиться. Надо оставаться для них человеком, не провоцировать погоню, не превращаться в добычу. Не опускать голову, не оборачиваться.

Я слышала, как они двигаются. Как шуршит ткань на чьей-то куртке. Как кто-то из них кашлянул. Тишина не прятала ни единого звука. Но топота ног по асфальту я не слышала.

Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый.

По-прежнему тихо.

Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый.

Я едва заметно ускорила шаг. Станция была закрыта, а на дверях висела цепь с замком. Лишь тогда я повернулась.

Они стояли на прежнем месте и смотрели мне вслед. Похоже, никто из них не собирался бросаться в погоню.

Не выпуская их из поля зрения, я направилась к повороту.

Я завернула за угол и потеряла их из виду. Передо мной лежала еще одна улица, такая же пустынная. Справа тянулись рельсы метро, слева выстроились заброшенные дома. Людей здесь не было.

И тогда я побежала.

Уильям

Десять дней спустя я получил посылку. Труды Дзержона. Забрав сверток, я поднялся на второй этаж и закрылся в комнате, которая теперь целиком и полностью принадлежала мне. Тильда больше здесь не спала, даже сейчас, когда моя болезнь осталась в прошлом. Быть может, она ждала, что я попрошу ее вернуться на супружеское ложе, быть может, ей хотелось, чтобы я взмолился, но в этом случае ждала она напрасно.

Кровать манила меня, просторная, мягкая и надежная. Как это просто — улечься в нее, в объятия одеял, утонуть в тепле и мраке.

Нет.

Вместо этого я уселся возле окна, положив на колени сверток. За деревьями я разглядел спину Шарлотты. Одета в белый костюм, дочь склонилась над ульем. Она часами просиживала там, принесла себе стол и стул, бумагу и чернильницу и без усталости наблюдала и записывала что-то в маленький блокнот в кожаном переплете. В ее движениях сквозила такая легкость, что я вспомнил себя в былые времена — когда-то я и сам так работал, хотя ныне казалось, что с тех пор прошла не одна человеческая жизнь. Сам я после разговора с Рахмом к пчелам не подходил. Я забросил улей, мне хотелось швырнуть его на землю, разбить вдребезги, попрыгать на нем, так, чтобы щепки в стороны разлетались. Но я сдержался: меня удержали пчелы, мысль о тысячах лишившихся крова пчел, готовых изжалить меня до смерти.

Я развязал бечевку, сломал сургуч, развернул бумагу и, вооружившись немецким словарем, погрузился в чтение, до последнего лелея надежду, что Рахм ошибается, что он что-то упустил, что улей Дзержона далеко не такой совершенный, как мой. Мой немецкий хромал, и я понимал лишь ничтожную долю, но, несмотря на это, сомнений не оставалось: его улей невероятно напоминал мой. Дверцы располагались чуть иначе, и крыша выглядела чуть менее скошенной, однако сама конструкция и принципы обращения с ульем были одинаковыми. Кроме того, Дзержон сделал ряд выводов, основанных на наблюдениях за пчелами, которые обитали в его ульях, и порядочная часть трудов была посвящена кропотливым научным изысканиям. Каждая идея подкреплялась неоспоримыми доказательствами, что свидетельствовало о безграничном терпении: все наблюдения записывались, а аргументы обосновывались. Труды Дзержона были выше всякой критики.

Я отложил журналы в сторону и посмотрел в окно. Закрыв улей, Шарлотта отошла в сторону и сняла шляпу, а потом, улыбаясь чему-то, направилась к дому.

Я открыл дверь и услышал внизу шаги дочери. Подойдя к лестнице, я взглянул на Шарлотту — та уселась за маленький столик, достала блокнот и, открыв его, положила перед собой. На секунду задумавшись, она сосредоточенно смотрела в стену, после чего склонила голову и принялась записывать. Когда я спустился по лестнице, она подняла голову и улыбнулась мне.

— Папа. Как хорошо, что ты здесь, — сказала Шарлотта, — я должна кое-что показать тебе, вот, смотри! — И она протянула мне блокнот.

Однако я, не удостоив ее вниманием, направился к вешалке, быстро накинул пальто и надел шляпу.

— Отец? — Она вся светилась.

— Не сейчас. — Я отвел глаза.

Воодушевление, сиявшее в ее взгляде, отбивало у меня всякую охоту находиться с ней в одной комнате. Я живо направился к двери.

— Но, папа, это совсем быстро. Ты только посмотри, к каким выводам я пришла.

— Позже.

Больше Шарлотта ничего не сказала, но взгляд ее не утратил решительности и настойчивости, словно она не собиралась принимать отказ.

У меня не было сил даже на притворное любопытство. Любые ее наблюдения или выводы уже были сделаны до нее, но сил на объяснения у меня не было, я не желал разочаровывать ее, рассказывать, что за все проведенное возле улья время она не узнала ничего нового, что догадки, к которым она пришла, давно известны. Я медленно открыл дверь, чувствуя, как тело сковывает апатия, и тихо непроизвольно вздохнул. Пора готовиться к тому, что вздохать мне в самом ближайшем времени придется часто. В руках я сжимал ключ от моей скромной сельской лавочки, торговавшей семенами и рассадой. Там мое место, и нигде больше.

* * *

От сваммерпая рот обволакивало жиром, но оторваться я не мог. За утро я уже успел съесть две штуки. Их запах доползал из пекарни до моего магазина, просачивался сквозь самые узкие щели, даже когда я закрывал

дверь, и напоминал мне о том, как просто пойти и купить еще один. Или несколько. В пекарне с меня даже отказывались брать полную их стоимость: пекарь считал меня чересчур отощавшим. Впрочем, такими темпами я быстро исправлю эту досадную оплошность. Я чувствовал, как тело начинает расплываться, будто стремясь побыстрее обрести свою прежнюю форму.

На улице было тепло, холодный ветер улегся, и у прохожих больше не возникало желания заскочить погреться в ближайший магазин, новость о моем выздоровлении устарела, и посмотреть на меня приходили все реже. За полдня у меня не было ни единого посетителя. Большие заказы сеянцев я давно уже обработал, и теперь наибольшим спросом пользовались специи и семена таких быстрорастущих съедобных растений, как салат и редиска.

Я с жадностью откусил еще, хотя пирог был пересолен, и запил тепловатой водой прямо из черпака, однако это положение не спасло.

Подойдя к двери, я выглянул наружу: как раз в это время из столицы возвращался вечерний дилижанс. Он остановился в конце улицы, и пассажиры устремились в разные стороны, но ко мне никто не направился. Я кивнул седельнику, смазывающему жиром седло, любезно улыбнулся колеснику, который как раз выкатил из мастерской новенькое колесо, и обменялся коротким приветствием с Альбертой — той, что прежде работала у меня, а сейчас затаскивала в магазин колониальных товаров два больших рулона сукна. Вот они, наши трудолюбивые сельские муравьишки, занятые своими делами. Очевидно, даже Альберта научилась приносить пользу. Быстро переступая крепкими ногами, она взбежала вверх по лестнице.

— Мистер Сэведж! — улыбнулась она мне и осеклась, словно вспомнив о чем-то. — Я вам тут лакомство одно припасла! Погодите-ка немножко.

Она затащила сукно в магазин, а спустя минуту выскочила оттуда с узелком в руках и подбежала ко мне. От запаха ее тела мне стало дурно.

— Что у тебя за дело ко мне? Мне сейчас некогда.

— Я слыхала, вы теперь пчел разводите. — Ее влажные губы растянулись в улыбке, а за ними показались кривые зубы. Мне вдруг вспомнились морские чудовища Сваммердама, но я тотчас же отбросил эту фантазию. — У папаши моего тоже пчелы имеются. Пять ульев! Глядите-ка! — Она взмахнула узелком: — Это вам, попробовать. Вкуснотища!

Не дожидаясь приглашения, она зашла в магазин и, положив узелок на прилавок, развязала его. Внутри оказалось несколько ломтей хлеба и маленький горшочек меда. Альберта приподняла горшочек и громко

причмокнула.

— Держите! — И она махнула рукой, подзывая меня. Кожа у нее была грубая, землистого оттенка, на подбородке алели два прыща. Интересно, сколько ей сейчас? По меньшей мере далеко за двадцать — это наверняка. Руки и лицо выдавали, что Альберта чересчур часто работает на солнце.

Она протянула мне ломоть хлеба с расплзшимся по нему медом — непрозрачным, неопределенного цвета.

— Попробуйте-ка! — И Альберта откусила большой кусок от своего ломтя.

От запаха ее кожи, меда и недоеденного сваммерпая желудок у меня сжался, но отказаться мне не позволили воспитание и нелепая вежливость, поэтому я послушно откусил.

И кивнул, чувствуя, как хлеб разбухает у меня во рту:

— Недурно.

Я жевал, стараясь не думать о личинках и расплоде, которых вытащили из соломенного улья и перемололи вместе с медом.

Доедая, Альберта не сводила с меня глаз, а когда от хлеба ничего не осталось, она облизала перемазанные медом пальцы, полная смехотворной самоуверенности.

— Чудесно. А теперь за работу.

Она наконец ушла, так виляя бедрами, что я был не в силах глаз оторвать.

Когда Альберта скрылась из виду, я быстро, почти задыхаясь, обошел по кругу магазин. Заметив на прилавке каплю меда, стер ее, уничтожая вместе с ней Альберту, с ее влажными губами, прыщами и почти неприличными вихляющими бедрами. Бедрами, в которые я мог бы вжаться, словно в землю. Но я обуздал себя. Превозмог похоть, пусть даже мне пришлось собрать для этого все силы.

Единственный стул в магазинчике манил меня к себе, и я, спотыкаясь, доплелся до него и плюхнулся всей тяжестью своего начавшего полнеть зада, а потом скрестил на животе руки, словно для того, чтобы удержаться на месте. Несколько минут я просто хватал ртом воздух, но вскоре жар угас, а тошнота отступила. Да, я действительно смог себя обуздать.

Воздух прогрелся, прямо передо мной в луче солнца танцевали пылинки, медленно кружили в воздухе. Сложив в трубочку губы, я дунул на пылинки, и они разлетелись в стороны, но тотчас возобновили свой танец.

Я снова дунул, на этот раз сильнее. Пылинки вновь отбросило в разные стороны, и вновь они быстро вернулись к своему бесформенному

бытию, легкие и не подвластные никаким силам.

Я попытался следить за одной-единственной пылинкой, но в глазах зарябило. Пылинок было чересчур много. Тогда я попробовал увидеть в них единое целое, однако его не существовало — передо мной висело беспорядочное множество крошечных частиц пыли.

Бесполезно. И здесь я бессилен. Они победили меня. Даже над пылью я не властен.

Разбитый и побежденный, я сидел посреди магазина, опять обратившись в беспомощного ребенка.

* * *

Мне было одиннадцать лет. Лучи солнца, проникавшие сквозь плотную листву деревьев, окутывали все вокруг золотистым маревом. Я сидел на земле, влажной и теплой. Стараясь не двигаться, я заворуженно наблюдал за большим муравейником. На первый взгляд передо мной было настоящее воплощение хаоса. Каждое отдельное существо казалось таким маленьким и незначительным — как им вообще удалось построить муравейник с меня высотой? Однако шло время, и горизонты моего понимания расширялись. Это занятие никогда не надоедало мне, я часами мог наблюдать за муравьями. Их движения были подчинены строгой логике. Они несли что-то, клали ношу в нужное место и возвращались за следующей партией. Кропотливые и мирные труженики, они выполняли упорядоченную работу, обусловленную инстинктами. И труд этот совершался не отдельной особью, но коллективом. Каждый из них по отдельности ничего из себя не представлял, а все вместе они вырастали в целый муравейник, в единый живой организм.

Осознание этого пробудило в моей душе нечто удивительное, разожгло огонь, страсть. Каждый день я звал отца в залитый золотом лес, охваченный желанием показать ему, что удалось создать этим малюткам, на что способны эти движимые чувством единства существа. Но отец лишь смеялся: «Муравейник? Не лезь туда. Займись лучше чем-нибудь полезным, покажи, что ты умеешь».

В тот день все было так же: он посмеялся надо мной, и я отправился в лес один.

Я сразу же заметил, что в муравейнике что-то изменилось. С восточной стороны, там, где муравейник ничего не защищало от солнечных лучей, сидел жук. По сравнению с муравьями он выглядел настоящим

великаном, его спина блестела в лучах солнца. Жук не двигался. Вокруг него словно образовалась пустота — не приближаясь к жуку, муравьи занимались своими обычными делами. Ничего необычного не происходило.

Но вскоре я заметил, что один муравей отбился от семьи и направляется к жуку.

Мало того — он еще и тащил с собой что-то.

Я прищурился. Что же это такое? Что он такое тащит? Личинки. Муравьиные личинки.

За ним последовали еще несколько муравьев, их становилось все больше и больше, муравьи нарушали давно знакомый уклад, и все они действовали одинаково. Каждый из них нес своих собственных детей.

Я наклонился ниже. Приблизившись к жуку, муравьи положили перед ним личинок, а тот потер передние лапки и принялся поедать принесенные дары.

Жучиные челюсти задвигались, и я склонился еще ниже, почти уткнувшись в жука носом. Одна за другой личинки исчезали у него во рту, а муравьи выстроились в очередь, готовые скормить чудищу свое потомство. Во мне крепло отвращение, но оторваться я был не в силах.

Очередная личинка исчезла во рту жука, муравьи же послушно ждали. Нарушив привычный распорядок, они пожертвовали общностью ради разворачивающейся передо мной фантазмагии.

Они заползали на меня, проникали внутрь. Щеки у меня пылали, тело охватил жар, казалось, будто каждый миллиметр моего тела налился кровью. Гадливость вынуждала меня отвернуться, но я не мог. К собственному изумлению, я почувствовал, что гульфик вдруг встопорщился. Прежде это ощущение лишь слегка намекало о себе, но сейчас предъявило свое полное право на мое тело. Я сжал ноги, силясь спрятать между ними внезапно затвердевшую плоть. Жук раздавил жвалами еще одну личинку. Его близко посаженные глазки блестели, хоботок подергивался. Я распростерся на земле, вжался в нее, испугавшись за брюки — ведь их потом не отстираешь, но остановиться не сумел. В ту же секунду к горлу подступила тошнота: личинки гибли, исчезая у жука в утробе. Прежде ничего подобного мне видеть не доводилось. И оно взяло надо мной верх.

Извиваясь, я ерзал по земле, когда позади послышались шаги. Шаги отца. Он все-таки пришел и увидел, однако совсем не то, что я так жаждал показать ему. Он видел только меня, ребенка, каким я тогда был, и мой великий, безграничный стыд.

Эти минуты... Я лежу на земле. И мой отец — сперва он изумился, а потом я услышал его смех, отрывистый и холодный, в котором радость уступила место отвращению и издевке. Посмотри на себя. Ты жалок. Какой позор. И какой же ты примитивный.

Это было хуже всего на свете, хуже ремня, которым меня отстегали вечером, хуже пронизывавшей все тело боли, которая не давала спать ночью. Мне так хотелось показать ему, объяснить и поделиться моим воодушевлением, но ничего, кроме стыда, он не увидел.

Джордж

Я доехал до центра Отима. Хотя какой это центр. Весь Отим — это, считай, один-единственный перекресток и есть. Шоссе, которое вело на север, пересекалось с таким же, но ведущим в западном направлении, и на этом перекрестке стояло несколько домов. Бензин у меня заканчивался, но заправляться я не стал. Я взял в привычку заливать по полбака, а потом ездил, пока эти полбака не закончатся. Словно дешевле залить половину в пустой бак, чем до конца наполнить уже наполовину полный.

У исчезновения пчел имелось теперь научное название — синдром разрушения пчелиных семей. И все его повторяли. Я повертел слова на языке. Как камешки. В них был и свой ритм, и даже буквы в названии выстроены симметрично: «с», потом «р» и «п» и опять «с». Как строчка из стишка. Синдром разрушенья пчелиных семей. Пчелодром семяшенья. Раздром пчелоченья. А еще в нем чудилось что-то медицинское, как будто оно описывало явление, возникшее не на моей пасеке, а в просторной лаборатории, где расхаживают люди в белых халатах и висят камеры на стенах. Я этого названия никогда не произносил. Не я его придумал. Случившееся я называл *исчезновением*. Или *проблемами*. Если же настроение у меня было плохое — а такое случалось нередко, — то иначе как *сучьей хренью* я эту ситуевину и не величал.

Единственное свободное место на парковке перед банком было между зеленым пикапом и черным седаном, причем машина моя явно входила впритык. Я огляделся, но на всей улице другого подходящего места не обнаружил. Подъехав задом к пикапу, я еще немного сдал назад. Терпеть не могу параллельную парковку, прямо как не мужик, и до последнего стараюсь припарковаться как-нибудь иначе. Но об этой моей слабости даже Эмма вряд ли догадывается. Вот только на этот раз мне до зарезу надо было в банк. Причем сегодня же. Я и так уже затянул хуже некуда. Дни шли, а я терял деньги. Дни шли, ульев у меня не было, а на лугах цвели цветы.

Я вывернул руль вбок, сдал назад, наполовину проехав мимо пикапа, вернул руль в прежнее положение и отъехал еще немного назад.

Криво. Слишком уж я высунулся на тротуар.

Ладно. Опять выезжаем.

Проходившая мимо дамочка с интересом посмотрела на меня, и я вдруг почувствовал себя подростком, севшим за руль вчера.

Я собрался с духом и попытался заново. Спокойно вывернул руль, медленно сдал задом и выровнял машину.

Сучий потрох!

Тут просто места мало, поэтому у меня ничего и не выходит! Я выехал оттуда и покатил к расположенной чуть поодаль общественной парковке. С какой стати мне вообще вписывалось припарковаться прямо перед банком? Совсем обленился, как, впрочем, вся страна. Могу и пешочком пройтись — небось ничего со мной не случится.

В зеркало заднего вида я увидел, как к месту, откуда я выехал, подрулил здоровенный «шевроле». Он слегка повернул и ловко, одним движением, встроился между машинами.

* * *

Когда я открыл дверь и вошел в банк, холодный воздух из кондиционера чуть с ног меня не сбил. Оттого что я так облажался с парковкой, меня слегка потряхивало, потому я спрятал руки в карманы.

Элисон сидела на своем месте, щелкая по клавиатуре. У нее хватало смелости одеваться как взрослая женщина, вот и теперь на ней была блузка в цветочек, элегантная и отглаженная, которая отлично сочеталась с ее молодой веснушчатой кожей и ярко-зелеными глазами. Выглядела Элисон чистенько и пахла тоже чистотой. Она подняла взгляд и улыбнулась. С такими зубами ей бы зубную пасту рекламировать.

— Джордж, привет! Как поживаешь?

Встречаясь в банке с Элисон, я чувствовал себя немного особенным, словно был самым ее любимым клиентом. Иначе говоря, работу свою она знала.

Я плюхнулся на стул перед ее столом. Чтобы она не заметила, как у меня дрожат руки, я на них сел, но от шерстяной обивки ладони зачесались, и тогда я положил руки на колени — так дрожь наконец унялась.

— Давно тебя не было. — Она вновь сверкнула зубами.

— Это точно.

— Как дела у вас? Все живы-здоровы?

— Вообще бывало и получше.

— Ох, ведь и правда, я и позабыла. Прости! — Белые жемчужины скрылись за пухлыми юными губами.

— Но я как раз подумал, что ты поможешь нам выбраться из этой

передряги. — Я улыбнулся.

Однако ответной улыбки я не дождался. Элисон сразу посерьезнела.

— Я сделаю все, что в моих силах.

— Все, что в твоих силах? Вот и отлично, об этом я даже и не мечтал. — Я было рассмеялся, но подумал вдруг, что она решит, будто я к ней клеюсь, и опять засунул руки себе под зад.

— Ну-ка, — она повернулась к монитору, — посмотрим, что у нас тут. Ага, вот и твои счета. — Элисон внимательно разглядывала цифры, но увиденное, похоже, особого энтузиазма у нее не вызвало. — А у тебя вообще какие планы? — спросила она.

— Ну как. Кредит хочу взять.

— Ясно. И сколько? — Я назвал сумму. У нее даже веснушки на носу побелели, а ответила она вообще не раздумывая: — Нет, Джордж, тут я тебе не помощник.

— Вон оно как... Ну хоть прикинуть-то можешь?

— Нет. Скажу сразу — ничего не выйдет.

— Ясно. Тогда давай я с Мартином поговорю?

Мартин был ее начальником. Опасливый и осторожный, он был не из тех, кто лезет в драку, и по большей части отсиживался в кабинете, а выходил, только когда требовалось одобрить крупный кредит, — все это мне выложил Джимми, который недавно оформлял себе ссуду на дом. Встречал я его нечасто, но с каждым разом его шевелюра казалась все более жидкой. Я посмотрел на Мартина, чей кабинет отделяла от зала стеклянная стена. Его лысина поблескивала в отсветах лампы.

— Это не поможет, уж поверь мне, — сказала Элисон. К горлу подступил комок. Ей что же, хочется, чтобы я на колени перед ней встал? И ведь она на добрых двадцать лет моложе. Помнится, давным-давно, когда Элисон была совсем крошкой, Эмма присматривала за ней раз в неделю и рассказывала, что девочка хрупкая, ну прямо новорожденный ягненок. Кто бы мог подумать, что из нее вырастет такая упрямица?

— Элисон, ну ладно тебе.

— Слушай, Джордж, неужели тебе и впрямь нужна такая огромная сумма?

В глаза ей я смотреть не отваживался.

— Мне надо всю пасеку заново отстроить... — тихо пробурчал я, опустив голову.

— Но... — Она на секунду задумалась. — Давай вместе порассуждаем, как можно восстановить пасеку и обойтись при этом без таких крупных инвестиций? (Мне хотелось заорать на нее, но я промолчал.

Что она вообще знает о пчеловодстве?) Какая у тебя основная статья расходов? На что уходит больше всего денег?

— Ну, ясное дело, на помощников. На меня двое работают, ты же знаешь.

— Да, конечно.

— Потом текущие расходы. Корма, бензин и прочее.

— А сейчас на что ты планировал потратить эти деньги? Без чего никак не обойтись?

— Без ульев. Старые-то я почти все сжег.

Она принялась грызть кончик ручки.

— Так. И сколько стоит один улей?

— Зависит от материала. Заранее сложно сказать. Их же надо заново строить.

— Строить?

— Ну да. Я сам их строю, целиком и полностью. Каждый улей. Кроме гнездового корпуса для матки.

— Гнездового корпуса для матки?

— Да, он располагается... А, ладно, забудь.

Элисон вытащила изо рта ручку. На пластмассе появились две глубокие отметины. Укуси она посильнее — и разгрызла бы колпачок. Вот у нее тогда видок бы был — губы и зубы в чернилах, блузка заляпана, на лице пятна, прямо как на Хэллоуин.

— Но... — Она опять задумалась. — Я видела, что Гарету — ну, знаешь, Гарету Грину — ульи привозили. В смысле, готовые, на грузовике.

— Это потому что Гарет заказывает готовые ульи, — проговорил я медленно и четко, словно разговаривая с ребенком.

— Это дороже, чем построить улей самому? — И она отложила в сторону ручку. Похоже, сегодня я ее перепачканной чернилами мордашкой не полюбуюсь. Комок упорно полз по горлу вверх, вскоре он доползет до того места, откуда его уже не прогнать. — Я просто хочу сказать, — Элисон опять улыбнулась, будто собираясь пошутить, — что, возможно, тебе стоит заказать готовые ульи? И сэкономить деньги. И время. Ведь время — это тоже деньги. Может, на этот раз не станешь строить ульи вручную?

— Да, я понял, — тихо сказал я. — Понял, о чем ты.

Уильям

Когда я наконец поднялся, снаружи уже стемнело. На улице было тихо, и лишь из паба доносились крики и брань. В эту жалкую дыру, тесную и грязноватую, каждый вечер стекались все сельские пропойцы. Как раз в этот момент двое таких проковыляли мимо моего окна. Они пели, выли и гоготали, но вскоре гуляки удалились и крики умолкли.

Я замерз. Перед тем как заснуть, мне и в голову не пришло притворить дверь, поэтому в магазинчике было свежо, как на улице. Шея затекла. Во сне голова у меня упала на грудь, а вытекшая изо рта слюна намочила рубашку. Поднявшись, я на негнущихся ногах доковылял до двери и захлопнул ее.

А что, если кто-то заметил меня? Вдруг какой-нибудь редкий покупатель заглянул ко мне в лавочку и увидел, что я сплю посреди бела дня, рассевшись на стуле в центре магазина? Тогда я вновь стану героем местных сплетен и сохраню за собой репутацию сельского чудака. Оставалось лишь надеяться, что вечер в моем магазине прошел подобно утру, впустую, хотя на этот раз отсутствие покупателей пошло бы на пользу моему реноме.

Желудок молил о еде, и я посмотрел на последний кусок сваммерпая, засохший, холодный, с каким-то землистым налетом. Поборов отвращение, я доел его, поклявшись, что никогда больше не поддамся искушению и не возьму в рот ни единой крошки этого пирога. Возможно даже, и от других пирогов откажусь. Впрочем, все это совершенно несущественно.

Я закрыл дверь, запер магазин и направился домой.

Голоса в пабе звучали все громче.

Желтые квадраты окон тепло светились во мраке. Меня поманило туда, впервые в жизни. Закажу кувшин дешевого пива, вреда от этого не будет. Я остановился. Даже если кто-то увидит меня там, что с того? Неужели это что-то изменит?

Каждый вечер возле паба разворачивалось одно и то же действо, и сегодняшний вечер исключением не был. Двое работяг громко бранились, один с силой толкнул другого, и между ними завязалась драка. Подвыпивший толстяк захрипел песню и, пошатываясь, поплелся прочь по улице. В этот же момент дверь распахнулась и оттуда вывалился долговязый хлыщ. Завернув за угол, он исторг из своего желудка ужин и огромное количество выпитого спиртного — с улицы этого видно не было,

но такие звуки трудно с чем-то спутать.

Нет. Я решительно повернул в сторону дома. Что бы со мною ни случилось, так низко я еще не пал.

Проходя мимо трактира, я заметил, что актеров в сегодняшнем представлении больше, чем обычно.

К общему нестройному хору присоединился вульгарный женский визг: — Да отстань же! Вот пристал!

За этим замаскированным под отказ согласием последовало громкое хихиканье, и лишь сейчас я узнал голос. Альберта. Даже не видя девушки, я знал, что ее большая грудь вот-вот выскочит из платья, и, хотя стоял я довольно далеко, в нос мне ударил запах ее кожи.

Кто-то тискал ее, шарил руками в потайных уголках ее тела, что-то бормотал, уткнувшись в шею, снедаемый желанием, хмелем, похотью, вжимался в этот охваченный гниением падший плод, который вскоре раздуется на девять долгих месяцев. Судя по фигуре, это был молодой мальчик, лет пятнадцати-шестнадцати, едва ли старше. Его голос еще срывался на фальцет, а сам мальчик был намного моложе Альберты. Ему больше пристало бы сейчас спать дома, в собственной кровати, или, возможно, читать, учиться, строить планы на будущее, которые заставили бы родителей гордиться им, принесли бы ему славу. Дверь открылась, тусклый свет упал на поляну перед трактиром, и я узнал того, кто скрасил Альберте ее похотливое одиночество, юношу, который сам излишне рано отдался гниению, охваченный чувством, ошибочно принимаемым за страсть, — мальчика, поставившего на кон самую жизнь свою и не замечающего меня, отца, что давно полагал себя опустившимся на самое дно, отца, который в эту секунду почувствовал, как дно это уходит у него из-под ног.

Эдмунд.

Tao

Я двигалась вдоль рельсов, мимо станций, но людей по пути не встречала. Вообще не видела вокруг никаких признаков жизни. Километр за километром я преодолевала, то и дело переходя на бег, хотя в легких колело, а во рту стоял привкус крови. Каждая новая станция пробуждала во мне надежду, но каждая попытка открыть дверь и проникнуть на перрон была похожа на пощечину. Потому что станции не работали. Я по-прежнему не выбралась с заброшенной территории.

Я и не предполагала, что смогу столько пройти, что во мне столько сил. Однако силы были на исходе.

Я привалилась к стене и осела на землю. От нехватки кислорода грудь резало. Вокруг сгущалась тьма, надвигаясь на город. На то, что когда-то было городом. Прямо передо мной высилось полуразрушенное здание, до неузнаваемости изуродованное. Возможно, это сделали те, кто здесь жил, напоследок, перед отъездом. Не желали ничего оставлять. Следы людского давнего присутствия повсюду. Старые рекламные плакаты, сломанный велосипед, рваные занавески за разбитым стеклом, таблички с именами на дверях — некоторые из них простенькие, написанные от руки, другие металлические, изготовленные на заказ. Где они сейчас — все те, чья жизнь прошла в этих стенах?

Прежде я этого не замечала, но мусора не было, кто-то убрал его. Пустые мусорные баки стояли рядом вдоль тротуаров. Возможно, последним проявлением жизни, что видели эти дома, был мусоровоз, опустошающий контейнеры, чтобы предотвратить нашествие крыс. Или, возможно, мусорщики собирали остатки еды, пищевые отходы, которые можно было скормить скоту или даже нам, людям, — превратить помои в человеческую еду, подмешать в фарш, колбасу или консервы, добавить в них консервантов и усилителей вкуса, сделать съедобными.

Рот наполнился слюной. Упаковку печенья я берегла на обратную дорогу. Теперь есть нечего.

Я попыталась встать, но ноги не слушались. Мышцы пылали. Ухватившись за стену, я повторила попытку, на этот раз успешно.

Медленно переступая, я доплелась до ближайших ворот и осторожно дернула за ручку. Металлические ворота тихо загудели. За дверью оказался пустой двор. В углах лежали кучки сухой листвы, с обеих сторон двора было по двери.

Я подошла к одной из них. Дверь вела в пустой подъезд, на узкую и тесную лестницу. Внутри стояла почти непроглядная тьма — сумеречный свет проникал лишь сквозь крошечные окошки.

Я начала карабкаться вверх. Каждый шаг отдавался болью, однако дышалось уже полегче. Добралась до второго этажа. Здесь тоже было по двери с каждой стороны. Я подергала ближайшую ко мне. Заперто. Сделав несколько шагов, остановилась перед второй дверью и надавила на ручку. Я почти не сомневалась, что и эта дверь окажется запертой, поэтому, когда она открылась, я вздрогнула.

Зашла я не сразу — сперва чуть постояла, вдыхая запах из квартиры. В нем не было ничего особенного, но каждый дом пахнет по-своему. Людьюми, которые в нем живут. Едой, которую они готовят, одеждой, которую стирают, ношеной обувью. В этом запахе — их пот, их ночное дыхание, которые ощущаешь, когда наклоняешься над спящим человеком, их постельное белье, которое, возможно, пора поменять, сковорода, которую поленились вовремя помыть, так что остатки еды на ней засохли и отдавали душком.

Я вдыхала то, что осталось от этих запахов, то, что не умерло взаперти.

Наконец я шагнула внутрь. Квартирка была крошечной, прямо как наша с Куанем. Возможно, в ней тоже жила маленькая семья из трех человек. Окна спальни выходили во двор, а кухня была совмещена с гостиной.

Я закрыла дверь и прошла в гостиную. Вещей осталось совсем мало, хотя самую громоздкую мебель хозяева не забрали — нелепый угловой диван, занимавший почти полкомнаты, и обшарпанный массивный комод из черного полированного дерева у противоположной стены.

На кухне я быстро заглянула во все ящики, не смогла удержаться, хотя знала, что там пусто. В самом нижнем шкафчике обнаружилась большая выдавшая виды кастрюля. И ничего больше.

В комоде я наткнулась на старые провода и телефон с треснутым диском. Затем я прошла в спальню. Там меня встретили распахнутые шкафы.словно тот, кто вытащил из них вещи, не успел прикрыть дверцы. Из стен торчали гвозди, под ними — светлые квадраты, оставшиеся от висевших здесь когда-то фотографий.

Возле одной стены стояла узкая двуспальная кровать, на ней — голый матрас, и ни подушек, ни одеял. Здесь они спали, читали, ссорились, смеялись, любили друг друга. Где они сейчас? Вместе ли они?

К другой стене притулилась детская кроватка. Скорее всего, спавший на ней ребенок еще не ходил в школу. Уже не колыбель, но и для взрослой

кровати слишком короткая. На такой мог бы спать Вей-Вень. На кровати валялась подушка с вмятиной посредине — след от головы.

Ноги вдруг подкосились. Я села на детскую кроватку и сжалась. На много миль вокруг — ни души, ни единого человека. Пусто. Зброшено. И я такая же заброшенная, как эта квартира.

Нет.

Грудь сдавило. Неужели я тоскую по нему? До сих пор о Куане я едва вспоминала, отметала любые мысли о нем, и как только в памяти всплывало его лицо, я тотчас же прогоняла его. Заставляла себя думать только о Вей-Вене, о моем малыше, о том, как отыскать его.

Вернувшись в гостиную, я вытащила из комода телефон, огляделась и увидела возле дивана штепсель. Я подбежала к нему, воткнула вилку и прижала к уху трубку.

И услышала тихий гудок.

Я торопливо набрала домашний номер.

Сперва ответом мне было потрескивание. Сигналы беззвучно летели по почти уничтоженной сети.

А потом в трубке загудело.

И еще раз.

Вскоре меня заполнит его голос. Голос Куаня. Что говорить, я не знала, мне просто хотелось услышать его.

Два гудка.

Возможно, мы еще не потеряли друг друга, возможно, теперь, когда нас разделяют все эти километры, мы снова станем семьей.

Три гудка.

Может, его нет дома?

Секунды убегали.

Четыре гудка.

А потом гудок вдруг оборвался.

— Алло? — услышала я его голос.

От радости у меня перехватило дыхание.

— Привет...

— Тао!

В ответ я лишь всхлипывала, но ни слова сказать не могла.

— Что случилось? С тобой все в порядке?

— Я... Я не знаю, где я...

— В смысле?

— Я... Тут нет людей...

В трубке все стихло. Сбой сигнала.

— Куань? Нет!

Тихое жужжание в трубке. А затем телефон умолк.

Я снова набрала номер.

Тишина.

Я выдернула вилку и заново воткнула ее в штепсель.

Безуспешно.

Я положила трубку, поставила телефон на пол и встала, не сводя глаз с телефона.

А потом вдруг размахнулась и что было сил ударила по нему ногой. И еще раз. И еще, так что древние детали и осколки пластмассы разлетелись по всей комнате.

Я вернулась в спальню. Всего два шага — и я уже сидела на детской кровати.

Комната погрузилась почти в непроглядный мрак, а я все не двигалась. Чувство одиночества было таким пронзительным, что я начала задыхаться. Мгновение раздулось и превратилось в вечность. Я одна, в заброшенной квартире. Больше ничего не существует. Я все потеряла. Даже деньги.

Мой второй ребенок... Кто бы у меня родился? Еще один мальчик? Или девочка, похожая на меня? Угловатая, спокойная, немного застенчивая... Этого ребенка у меня никогда не будет. Я пожертвовала им, и у меня ничего не осталось. Жизнь остановилась.

Я легла на бок, поджав ноги. Нащупала подушечку и притянула ее к себе, обняла, стиснула, прижала к животу, к груди.

И заснула.

* * *

Волосы Вей-Веня пахнут детским потом и чем-то сухим, чем-то вроде песка. Я утыкаюсь ему в волосы и хватаю несколько волосинок губами.

— Ай! Мама, ты мне волосы съешь!

Я разжимаю губы и смеюсь, а потом целую его в щеку, мягкую, какие бывают только у детей. Кажется, будто сколько ему в щеку ни утыкайся — сопротивления не почувствуешь. Как хорошо лежать вот так и никуда не торопиться.

— Малыш ты мой. Солнышко мое.

Он громко чихает и смотрит на потолок, на наклеенные звезды и планеты Солнечной системы. Когда-то эти наклейки принадлежали мне — в свое время я убедила родителей купить мне их вместо куклы. Покидая

родительский дом, я осторожно оторвала их, сложила в пакет и спрятала в чемодан, на самое дно, вместе с другими детскими воспоминаниями. А когда наконец родился Вей-Вень, я наклеила их на потолок, словно связав мое собственное детство и его, нас с ним — и весь мир, наш мир — и Вселенную.

Мы выучили с ним названия всех планет. Мне хотелось, чтобы он понял, насколько мы маленькие и что мы всего лишь часть чего-то большего. Хотя осознать это такой кроха пока еще не мог. Для него звезды и планеты оставались наклейками на потолке. Он верил лишь в существование Луны и Солнца, потому что видел их собственными глазами, и никак не мог взять в толк, почему для Луны не сделали отдельную наклейку, ведь сама Луна почти такая же большая, как Солнце.

— Это Юпитер. — Он тычет пальцем в потолок.

— Угу.

Не в силах остановиться, я вдыхаю его запах, но это Вей-Веню не мешает.

— Он самый-пресамый большой.

— Да. Он самый большой.

— А это Сатум. У него кольца.

— Сатурн, — поправляю я.

— Сатум.

— Да. У него кольца.

— Он самый красивый. — Вей-Вень на секунду умолкает. — А почему у Земли нету колец?

— Хм. Не знаю.

— Пусть у Земли они тоже будут! Они такие красивые.

Я опять утыкаюсь носом ему в щеку.

Вей-Вень ерзает и отодвигается от меня.

— Мама, ты уходи.

— Ну можно я еще чуть-чуть полежу?

— Нет.

— Пока ты не уснешь?

— Нет. Уходи.

Он точно знает, что в постели с ним ничего не случится. А я свою задачу выполнила. Я напоследок целую его в щеку, и он нетерпеливо тянет на себя одеяло:

— Уходи. Я сплю.

— Хорошо. Я пойду. Спокойной ночи. До завтра.

— Спкнчидозафтра.

Мне хотелось остаться там, под Солнечной системой, под Юпитером из зеленой светящейся пластмассы, но, едва забрезжил рассвет, я проснулась. Занавесок на окне не было, и комнату медленно заполнял сероватый утренний свет. Я еще немного полежала в той же позе, пытаюсь нащупать путь назад, в другую комнату, к другой детской кроватке, но не сумела.

В то утро, проснувшись в чужой постели, я подумала о том же, о чем думала каждый день.

О Вей-Вене.

О моем малыше.

О том, какие у него мягкие щеки. И я представила себе его лицо.

Мне не хотелось ни о чем больше думать. Но перед глазами появилось другое лицо. Лицо из этого мира. Парнишка, нескладный долговязый подросток с пачкой печенья в руках. И его глаза. Взгляд человека, готового к нападению.

Следом за ним мне вспомнились старики. Многие из них не понимали, что происходит, не знали, что обречены на смерть. Но женщина, вышедшая мне навстречу, — а это наверняка была женщина, — она знала. Я разбудила ее. Пробудила в ней надежду.

Что с ней будет?

Что будет с тем нескладным парнишкой?

С официантом из кафе?

С его отцом?

Что произошло с Вей-Венем?

Что же с ним случилось?

Это касалось нас всех.

Обнесенный оградой лес, военные, забор, секретность...

Это касалось нас всех.

Я резко села в кровати.

Теперь мне все стало ясно.

Я начала не с той стороны. Я стала разыскивать его. Однако, пока я не узнаю, что с ним случилось, мне его не найти. Пока я не пойму, почему это так важно.

Снова лицо Вей-Веня. Но не пухлое детское личико, а его лицо в тот день. Вей-Вень на руках у Куаня. Бледность. Тяжелое, прерывистое дыхание. Воспоминания становились все отчетливее. Воспоминания,

которые я силилась уничтожить, с которыми не могла смириться. Я сползла на пол, глядя в стену перед собой.

Вот он. Лицо бледное, волосы влажные. Капельки пота на переносице. Его глаза. Когда Куань отыскал его, Вей-Вень был в сознании. Его маленькое тельце боролось за возможность дышать. Он хрипел и с ужасом смотрел на меня, не в силах даже попросить о помощи. Где-то на полпути между холмом и жилыми домами его голова откинулась назад. Он потерял сознание. Я видела, как это произошло, его взгляд затуманился, а потом малыш закрыл глаза. Когда мы добрались до поселка, лишь слабое дыхание связывало его с этим миром.

Я уткнулась в колени, заставляя себя вновь пережить те минуты. Смотри на его лицо, давай же. Почему ему было так трудно дышать? Из-за чего?

Бледность, испарина. Что-то такое я и прежде видела... Внезапно в памяти обозначился еще один образ. Еще одно лицо. Дайу. Праздник в саду. Дайу в голубом брючном костюмчике лежит на земле. Ее черные туфельки блестят на солнце. А на лбу тоже испарина. Она пытается вдохнуть и хрипит — совершенно так же, и в глазах у нее тот же ужас и мольба. «Помоги», — читаю я в ее взгляде. Мы столпились вокруг. Когда это случилось, взрослые сидели чуть поодаль, а мы, дети, играли здесь, под деревьями. Я смотрю на раскинутые руки Дайу. В одной из них она что-то сжимает. Кусочек торта. Она совсем недавно положила его себе на тарелку. Мы играли, а она стояла рядом и откусывала от него.

— Дайу не дышит! Она не дышит!

К нам подбегает ее мама. Мы пропускаем ее вперед, и мама Дайу кричит:

— Моя сумка! Принесите мне ее!

Она разжимает дочкину руку, берет кусок торта и поворачивается к нам:

— Он с орехами?

С орехами? Мы не знаем, никто из нас, но она так пристально смотрит, что я чувствую себя виноватой. *Обязанной* знать, есть ли в этом торте орехи.

Кто-то приносит сумку, и мама Дайу роется в ней, ищет что-то, но не находит, и тогда она высыпает содержимое сумки на траву. Помада, бумажные салфетки, расческа. Мама Дайу хватает маленькую белую коробочку, на которой зелеными буквами что-то написано. Она разрывает бумагу и вытаскивает шприц.

Ко мне подходит моя мама. Она прижимает меня к себе, не позволяя

смотреть, и осторожно уводит меня прочь.

— Мама, что случилось с Дайу? Что с ней? — спрашиваю я. — Что произошло?

Уильям

Наступило утро, и сито листвы не могло удержать солнечных лучей. Там, надо мною, все пришло в движение, ветер раскачивал деревья и гнал по небу облака. В этом мире не осталось места неподвижности. Голова закружилась, и я прикрыл глаза. Хотелось вечно лежать вот так, в желтой пустоте, не шевелясь, на холодной влажной земле. Существование утратило смысл, и ничто более не удерживало меня. Ни моя страсть — наука. Ни Эдмунд. Он потерян для меня, был потерян с самого начала. И даже похоть исчезла. Мне больше не хотелось прижиматься к земле, тешить наслаждением тело. Я желал, чтобы земля поглотила меня, жаждал сам превратиться в землю.

Я давно ничего не ел, но это не имело никакого значения. Во рту до сих пор стоял вкус сухого теста, горло пересохло.

Деревня, моя работа, мой дом — все это осталось далеко позади, за тысячи миль отсюда. Вчера ночью я шагал, пока ноги не заболели, пока не умерли звуки и меня не обступила полная тишина. Кое-где в лесу я набредал на тропинку, но сворачивал с нее, потому что она напоминала мне о людях. В конце концов я повалился в траву и уснул.

Разыскивают ли они меня? Тревожатся ли? Может, вскоре я услышу их крики, их голоса, зовущие меня, такие разные, от тоненького мяуканья Джорджианы до низкого грудного голоса Тильды. Впрочем, возможно, никто меня не ищет. Возможно, они привыкли к моему отсутствию и даже не заметили, что меня нет.

А может, их сейчас больше занимает Эдмунд? Ему сегодня, несомненно, нездоровится, впрочем, как обычно по утрам. Он взял в привычку просыпаться после полудня, на солнце бывает редко, поэтому бледен, подобно ночным существам. Однако причина этого — отнюдь не болезнь. Как же я не догадался... Нет, едва ли их беспокоит его недуг. Сегодняшний день ничем не отличается от других, и Эдмунд не впервые лежит вот так. Сегодняшний день — лишь один из вереницы дней, которые Эдмунд потратил, сном изгоняя из своего организма алкоголь. То, что я принимал за унаследованную от меня меланхолию, оказалось заурядным похмельем. Эдмунд был ничем не лучше работяг, которые топят свою жизнь в хмельном угаре. Горький пропойца.

Я следил за солнцем. Вскоре оно окажется прямо надо мной и высушит остатки жидкости во мне. На коже выступила испарина. Дышал я

ртом, и мне казалось, будто место языка занял сухой лишайник. Мне хотелось поднять руку и вытереть капли пота, но рука была слишком тяжелой.

День катился вперед. Солнце вновь спряталось за листвой, тени вытянулись, в воздухе повисла прохлада. Мое тело стало таким же холодным, как почва под ним. Веки опустились, и меня встретила темнота. А что, если земля уже поглотила меня?

— Отец! — Кто-то кричал. Голос чистый, не писклявый и не грудной. — Отец?

Кричали совсем рядом, и через секунду я услышал, как трещат под чьими-то ногами ветки.

Я открыл глаза и встретил ее взгляд, ясный и чистый. Шарлотта.

— Добрый вечер, — поприветствовала она меня, ничуть не удивившись.

Возможно, мое отсутствие вообще осталось незамеченным?

Я лежал, во весь рост растянувшись на земле, а она молча стояла и с любопытством разглядывала меня, словно насекомое. Я вдруг покраснел.

— Ну да. Вот и я. — Поспешно сев, я отряхнул рубашку и провел рукой по волосам, в которых запутались сосновые иглы. — Сложно было отыскать меня?

— О чем ты?

— Долго искала?

— Нет, не очень. Тропинка же совсем рядом, вот. — Она махнула рукой, и я увидел тропинку, что вела напрямик к моему дому, а возле тропинки — удивительно знакомые деревья. Значит, вовсе не в лесной чаще укрылся я от мира. Я вообще нигде не укрывался, а лежал все это время возле дома.

Шарлотта присела возле меня, и я лишь сейчас заметил в руках у нее какой-то предмет. Блокнот, тот самый, в который она то и дело записывает свои наблюдения.

— Я хочу кое-что показать тебе. Позволишь? — И, не дожидаясь ответа, она открыла блокнот. — Я очень долго над этим работала.

Я всматривался в страницы, но выведенные чернилами буквы червяками расползались по бумаге.

— Подожди. — Она сняла с меня очки, быстро протерла их краем платья и вновь водрузила мне на нос.

Стекла стали чище, но выпрямился я и постарался вникнуть в то, что Шарлотта собиралась мне показать, не только поэтому. От ее желания помочь у меня сдавило горло. Я был так благодарен, что именно она

пришла сюда, именно она отыскала меня, именно ей я предстал в таком виде, и никому иному. Я сглотнул и посмотрел на раскрытую страницу.

Рисунок. Улей. Но совсем не похожий на мой.

— Я подумала, что если поставить его вверх ногами, то все пойдет иначе, — сказала она. — Если не приделывать пластины к крышке, а вставить их внутрь сверху, то наверху все будет открыто и увидим мы больше.

Я смотрел на рисунки, и мало-помалу улей обретал очертания.

— Нет, — я кашлянул, — так не получится, — я старался подобрать нужные слова, — тогда пластины прилипнут к стенкам. — Я приосанился. Ведь я какой-никакой, но знаток. — Пчелы забьют пространство между ними прополисом и воском, и тогда пластины вообще не оторвешь.

Шарлотта улыбнулась:

— Если расположить их слишком близко друг к другу, то да. Но если между ними будет с четверть дюйма или даже меньше...

— Если увеличить расстояние между пластинами, то пчелы примутся строить соты, — возразил я. — Ничего не выйдет. Такую модель я тоже рассматривал. — И наградил ее снисходительной улыбкой.

— Знаю, но ты же не все возможности проанализировал. Главное — правильно высчитать.

— Боюсь, что не совсем тебя понимаю.

Она снова показала на рисунок:

— Отец, должна быть золотая середина. При каком расстоянии они перестают лепить туда воск и прополис? И когда начинают делать соты? Нулевая точка отсчета — что, если попробовать отыскать ее? Высчитать до десятой доли дюйма расстояние между внутренней стенкой и пластиной, при котором пчелы не делают воска и не строят соты?

Я посмотрел на нее. Посмотрел внимательно. Шарлотта сидела неподвижно, глаза ее сияли воодушевлением. Как она сказала? Воск. И соты. Золотая середина — существует ли она?

Силы вернулись ко мне, и я вскочил.

Нулевая точка отсчета!

Джордж

Я вышел из этого сучьего банка, сел в машину и поехал на луг возле Алабаст-Ривер. Теперь там было пусто, лишь несколько ульев сбоку стояло. В этих ульях по-прежнему жили пчелы, но кто знает, надолго ли? Эти пчелы ничем не отличались от других. Тогда с какой стати мне надеяться, что эти уцелеют?

Я мерил шагами луг и разглядывал оставшиеся от ульев отметины. Трава под ними была сухая и мертвая. Но между высохшими травинками уже проклевывались свежие — молодые и сочные. Вскоре здесь вырастет новая трава, и ничто больше не будет напоминать о пчелиных семьях, когда-то живших на этом месте.

Я пошел туда, откуда доносилось жужжание. Мне вдруг захотелось, чтобы какая-нибудь пчела меня ужалила. Обжигающая боль — вот чего мне не хватало. Чтобы кожа припухла. И тогда я бы громко и смачно выругался.

Как-то раз, всего один раз, пчелы и правда сильно меня искушали. Мне тогда всего восемь было. Помню, я на кухне сидел, а мама только из магазина вернулась. В этот день она привезла мне гостинец, не знаю уж, чего это она надумала. Хотя нет, знаю — задобрить меня хотела. У меня должен был родиться второй младший братец, и мама знала, что известие об этом в восторг меня вряд ли приведет. Обычно игрушки мне дарили разве что на день рождения и Рождество, но сейчас мама решила меня побаловать и привезла мне кое-что. Игрушечную машинку. Но это была не первая попавшаяся машинка. Это был грузовик «Хот виллз». Я о нем всю жизнь мечтал и так обрадовался, что совсем потерял голову. Мама так и не успела рассказать мне о малыше в животике — я схватил грузовик и понесся на луг.

На лугу я увидел отца — он ковырялся в улье. Ничего не соображая, я рванул к нему: «Гляди! Папа, гляди, что у меня есть!» А потом я увидел глаза отца за сеткой. «Не подходи! Быстро назад!» Но затормозить я уже не сумел.

Потом я несколько дней лежал в постели. Никто не считал, но думаю, меня ужалило не меньше сотни пчел. Температура подскочила до небес. Вызвали доктора, и тот прописал мне такие сильные обезболивающие, что они запросто и медведя с ног свалили бы. Ну а про малыша в животе я узнал намного позже.

После того случая я старался, чтоб пчелы меня больше не жалили.

Пчелиные укусы я всегда считал чем-то вроде наказания. Признаком того, что я допустил ошибку. Не прикрыл тело. Не проявил осторожность. Лето без укусов — вот какая у меня была цель, но без укусов не обходилось, нет таких пчеловодов, которых за все лето пчела бы хоть раз да не ужалила. А вот в этом году цели я почти достиг, только заплатил за нее дороже, чем хотелось бы.

Я ходил по кругу. Круги все сужались. Жужжали они тихо и как-то вяло. Я остановился сосчитать пчел. Нет, не особо много. Уж не две с половиной на квадратный метр — это точно.

Я с силой топнул ногой. К мне подлетела одинокая пчела.

Ужаль меня! Ну давай, жаль!

Облетев меня по кругу, она скрылась вдали. Не пожелала оказывать мне такую услугу.

Я развернулся и зашагал к дому, к мастерской.

* * *

Новых материалов я не покупал, а те, что заказал весной, валялись в углу и пахли свежей древесиной. Мне стало не по себе. Меня и ящик с инструментами связывало время. Часы. Много часов. Работа, которую нужно было проделать, чтобы получились ульи. А после останется только заказать рейки. Потому что строить ульи я буду сам. Пока я развожу пчел, то ульи собираю вот этими самыми руками.

Я взял рейку, взвесил ее в руке, пощупал деревянную поверхность. Дерево еще влажное. И мягкое, в самый раз. Живое.

Я надел перчатки. Сквозь них древесина казалась мертвой. Я достал наушники и подключил пилу.

На полу обозначилась вдруг длинная желтая полоса света, которая становилась все больше и больше, в ней нарисовалась человеческая тень, а потом полоса исчезла.

Я обернулся.

Возле двери стояла Эмма.

Она посмотрела на кучку реек, на меня и покачала головой.

— Ты чего это затеял? — спросила она, хотя ответ и так знала. Эмма шагнула ко мне. — С ума ты сошел, вот что, — она кивнула на рейки, — тебе же столько строить придется. Нам столько ульев надо...

Как будто я и сам не понимал. Как будто мне это было неизвестно.

Я пожал плечами и уже собирался надеть наушники, но что-то в ее глазах остановило меня.

— Лучше бы мы все продали, — сказала она. Я разжал пальцы, и наушники со стуком упали на пол. — Продали бы все зимой. Переехали бы. И сейчас уже были бы там. — Она умолкла, не договорив того, о чем думала.

Пока было еще не поздно. Когда за ферму можно было хоть что-то да выручить.

Я наклонился, поднял наушники, обеими руками поднял, словно одной бы не осилил, как ребенок.

Я надел наушники и отвернулся.

Как она ушла, я не слышал. На полу появилась желтая полоска, сначала узкая, затем шире. Тень в полоске, а потом свет исчез.

* * *

Больше мы это не обсуждали. Эмма молчала. Шли дни. Я вкалывал без продыху, до кровавых мозолей, до боли в спине, до порезанных пальцев. Чем в это время занималась Эмма, я не знаю. Но эту тему она больше не поднимала. Только смотрела на меня время от времени взглядом, в котором читалось: *Это ты во всем виноват.*

Мы пытались жить как прежде. Делали то же, что и прежде. Каждый день вместе ужинали. По вечерам сидели перед телевизором. Эмма обожала реалити-шоу, смотрела сразу несколько, смеялась и плакала, ахала, обсуждала со мной то, что увидела: «Нет, ты посмотри только! Да как же так можно-то. Ну вот за что ему все это?! А она — ох, ну какая куколка. Как же так вышло-то?»

Мы смотрели телевизор, сидя на диване, вместе, а не каждый в своем кресле, как заведено у некоторых. Эмма любила, когда я глажу ее по голове. По волосам. Но теперь я клал руки на колени и старался к ней не притрагиваться. Пальцы болели, ранки саднили.

Однажды, когда мы сидели вот так, зазвонил телефон. Эмма не сдвинулась с места. Я тоже.

— Сходи возьми, — сказала она, не отрываясь от телевизора, где как раз показывали голосование, и Эмме не терпелось узнать, кто вылетит — блондинка или брюнетка. Да уж, дело серьезное.

— Вдруг это Том, — сказал я.

— И что?

— Лучше ты с ним поговори.
Она изумленно уставилась на меня:
— Джордж, ты чего?!

— А что?

— Ты что, вообще больше с ним не разговариваешь? Так же нельзя!
Я промолчал.

А вот телефон не умолкал.

— Я не пойду, — заявила она и отвернулась.

— Как хочешь. Я тоже не пойду, — не поддался я.

Но она, ясное дело, победила — я вышел в коридор и снял трубку. Это был Ли. Звонил рассказать про чернику.

— Я каждый день туда мотаюсь! — заливался он. — И завязей видимо-невидимо!

— Надо же, — удивился я, — ведь тогда дождь все время шел?

— Но потом-то солнце! Они, видать, успели. Год-то, похоже, вполне себе будет. Зря я боялся.

— Ну что ж, неплохо.

— Ага! Это чтоб ты знал. Хорошие у тебя пчелы.

— Были, — поправил его я.

— Чего-о?

— Были. Хорошие у меня были пчелы.

На другом конце замолчали. Доходило до Ли медленно.

— Ох ты черт... И с тобой эта напасть случилась?

Они исчезли, да?

— Да.

— Но... я думал, на севере этого нет. Думал, что это только во Флориде. И в Калифорнии.

— Видать, не только. — Вообще говорил я бодро, но тут голос вдруг сорвался.

— Ох ты... Джордж. Господи. Ну что тут скажешь...

— Да, тут особо ничего и не скажешь.

— Да уж. А страховка у тебя была?

— Такие случаи она не покрывает.

— Но... И что делать? Что ты сейчас делаешь?

Я наматывал телефонный провод на указательный палец, вокруг глубокого пореза, и не знал, что ответить.

— Ну...

— Джордж! — Ли заговорил громче: — Ты скажи, если помочь надо!

— Спасибо!

— Я серьезно.

— Знаю.

— Я бы и денег тебе одолжил, но...

— Вот уж нет, ты б ни цента не одолжил, — усмехнулся я.

Ли рассмеялся — решил, похоже, что можно и пошутить.

— Но у меня и правда нету. Урожай, конечно, хороший, но не настолько.

— И даже моя скидка не спасла?

— Не-а. Не спасла. — Он помолчал. — Зря я согласился.

— Ты о чем?

— На скидку твою.

— Ли...

— Если б я знал...

— Да ладно тебе, Ли. Забудь.

Я раскрутил провод и высвободил палец, на котором спиралью осталась глубокая отметина.

— Знаешь, — вдруг с удивительной беспечностью проговорил Ли, — я тебе все наврал. Нету у меня никакой завязи. Ни единой ягодки вообще. Дурацкие у тебя были пчелы.

Я расхохотался:

— Приятно слышать.

— Хорошо, что их черти взяли, — сказал он.

— Да. Это точно.

В трубке опять все стихло.

— Но, Джордж, я серьезно. Ты делать-то что будешь? — Не знаю. Может, закажу готовые улы. — Готовые закажешь? Ну нет. Эти улы — это же твое семейное дело.

— Но сейчас они не окупятся.

— Тоже верно... — я слышал, как он сглотнул, — но ты... ты смотри не сдавайся.

— Я... Ладно. — Больше я ничего сказать не мог, как ни силился. Ли говорил так искренне, что я совсем раскис.

— Джордж? Ты тут?

— Угу... — Я вздохнул. Взял себя в руки. — Тут он я, ага. Никуда не делся.

Tao

Действующая станция метро обнаружилась в паре километров от дома, где я провела ночь. Значит, прошлым вечером я, сама того не зная, почти добралась до жилых районов. Кроме меня на платформе стояли еще двое. Изможденная старушка, худая, на грани истощения, с трудом доковылявшая до лавки. Вторым был мужчина лет пятидесяти с настороженным взглядом. В руках он держал набитые мешки. Возможно, нашел чем поживиться в заброшенных домах.

Через полчаса с грохотом подъехал поезд. Слишком долго. Мне не терпелось быстрее вернуться, отыскать библиотеку, найти ответ. Я проскользнула внутрь без билета, не заметив, что у старушки никак не получается шагнуть в вагон. Двери уже закрывались, когда я поймала ее взгляд, бросилась к ней и втащила ее внутрь. «Спасибо, спасибо», — повторяла она. Старушка явно собиралась завязать разговор, но у меня не было сил.

Я отсела подальше от остальных пассажиров. Мне не сиделось, хотелось вскочить, но поезд трясло так, что на ногах я бы не устояла. В древнем вагоне уже лет десять не прибирались. Пахло там скверно, стекла изнутри были вымазаны жиром, заляпаны тысячей пальцев, открывавших окно, когда на улице светило солнце, и закрывавших его в холод. Снаружи на окна оседали гарь и пыль. Оглушительное дребезжанье, с которым поезд ехал по городу, сбивало с мыслей. Тем не менее я чувствовала себя животным, которое взяло след. Я видела цель и готова была бежать к ней. Два лица. Вей-Вень и Дайу. Одинаково бледные. И одинаковый хрип.

Мне нужно было пересесть на другую линию. А потом еще два раза. Расписание со стены сорвали, а электронное табло давным-давно вышло из строя. Оставалось ждать, в первый раз — двадцать три минуты, потом четырнадцать, следующий поезд пришел еще через двадцать пять минут. Но я набралась терпения.

Три пересадки — и я в гостинице. Словно домой вернулась. Наконец-то знакомые улицы, хотя, судя по ощущениям, я покинула их не сутки назад, а намного раньше. Голод мешал думать, но время на еду тратить не хотелось, поэтому я сжевала на ходу упаковку печенья (опять печенье!) и спросила администратора, как добраться до ближайшей библиотеки.

Оказалось, что она всего одна. Во всем Пекине работала лишь одна библиотека. Находилась она в районе Сичен, куда из гостиницы можно

было доехать без пересадок. Мой путь проходил мимо старого зоопарка. Ветер и непогода давно стерли рисунки с ворот, внутри все заросло, а деревья и кусты грозили вот-вот повалить забор. Какая же судьба постигла зверей? Редких и вымирающих животных? Что случилось с последней коалой? Может, они бродят по улицам или поселились в каком-нибудь заброшенном доме? От этой мысли мне стало легче: хорошо, если эти животные продолжили свое существование на земле, пусть даже нас, людей, осталось совсем мало.

На площади перед библиотекой не было ни души. Я быстро направилась к входу, не давая себе времени на страх. Дверь была такой тяжелой, что сперва мне показалась, будто она заперта, но я дернула со всей силы, и она открылась.

Зал был огромный, в несколько уровней, похожий на гигантскую лестницу. И тысячи книг вдоль стен. На самом нижнем уровне стояли в ряд столы и стулья — столько, что я и сосчитать бы не смогла. Лампы не горели, единственное светлое пятно — огромное окно в потолке, так что в зале царил полумрак. Кроме меня, в библиотеке никого не было, и я вдруг испугалась, что библиотека не работает.

Я нерешительно шагнула вперед:

— Добрый день!

Ответа не последовало.

— Добрый день! — повторила я громче.

Наконец в глубине зала послышались шаги, и я увидела молодую девушку в форменном костюме.

— Да, слушаю вас.

Должно быть, в лучшие времена ее униформа была черной, но бесконечные стирки и время сделали ее серой. Девушка удивленно смотрела на меня. Видимо, посетители сюда уже давно не заглядывали.

Она обвела рукой полки с книгами:

— Вы за книгой? Выбирайте все, что понравится.

— А мне не надо записаться? Заполнить анкету?

Похоже, мои вопросы ее озадачили, она улыбнулась:

— Ничего, обойдемся без этого.

Она ушла, и я осталась одна.

Впервые за много лет я погрузилась в книги, окунулась в слова. Я охотно провела бы в библиотеке всю жизнь. Тао с красным шарфом. Чтобы выделяться. Но это была бы другая жизнь.

Начала я с отдела естественных наук. Вей-Вень отреагировал на какой-то внешний раздражитель — в этом я не сомневалась. Может, его укусила

змея? Я отыскала старый определитель змей Китая, большой и тяжелый. Положив справочник на стол, принялась листать. Я знала, что прежде здесь водились кобры, но они давно вымерли, — по крайней мере, так нам говорили. Кобры питались лягушками, которые, в свою очередь, ели насекомых, а когда большинство насекомых исчезло, то вскоре и кобр не стало. Я наткнулась на картинку: черная змея с раздутым воротником, изогнувшаяся, готовая к нападению, с характерным рисунком на голове. Может, некоторые все-таки спаслись?

Я дошла до описания укуса, симптомов. Потеря чувствительности, волдыри, острая боль, резь в груди, лихорадка, воспаление горла, затрудненное дыхание. Кое-какие из них я видела и у Вей-Веня.

Некроз, прочла я; укус китайской кобры всегда приводит к некрозу, омертвлению клеток. Что-то вроде гангрены вокруг ранки.

Никакой ранки я у него не заметила. Ведь мы наверняка обратили бы внимание? Но даже если и не заметили, если Вей-Веня действительно укусила кобра, разве стали бы из этого делать тайну? Зачем ставить там шатер и обносить все забором? Зачем забирать его у нас?

Я перешла в медицинский отдел. Если это не укус, то что? Я листала медицинские справочники и врачебные пособия, и ко мне приходило понимание. Возможно, я с самого начала это знала, просто не желала принимать, слишком велико было это знание и слишком серьезно.

* * *

Он ответил после первого же гудка.

— Тао, что случилось? Звонок сорвался. Откуда ты звонила?

Я попросила у дежурной разрешения позвонить, и она отвела меня в отдельный кабинет где-то в недрах библиотеки. Там стоял пыльный телефон, уже несколько месяцев молчавший.

— Неважно. — Я почти забыла, как звонила ему накануне вечером из пустой квартиры. — Теперь все в порядке.

— Но... Что произошло-то? Ты была какая-то... — Он произнес это с такой заботой, с какой обычно разговаривал только с Вей-Венем.

— Я заблудилась. Но потом нашла дорогу, — торопливо ответила я. Мне хотелось побыстрее закрыть эту тему и рассказать о своем открытии.

— Я о тебе весь день думал.

Опять эта его забота. Нет, сейчас она совершенно лишняя. Вчера я так нуждалась в ней, а теперь она помеха.

— Забудь об этом. Послушай, похоже, я выяснила, что случилось с Вей-Венем.

— Что?

— Анафилактический шок.

— Анафи...

— То есть аллергическая реакция. — Это прозвучало назидательно, и я попробовала сменить тон. — У Вей-Веня был аллергический шок. Реакция на какой-то раздражитель.

— Но почему... С чего ты так решила?

— Слушай. — И я зачитала ему отрывок о симптомах и лечении. Затрудненное дыхание, пониженное давление, потеря сознания, адреналин. — Все совпадает. Как раз так он и отреагировал.

— А ему ввели адреналин? — спросил Куань.

— В смысле?

— Когда приехала «скорая», ему ввели адреналин? Ты сказала, что если жизнь под угрозой, вводят адреналин.

— Не знаю. Я не заметила, чтобы они ему что-то вводили.

— И я тоже.

— Но... Возможно, ему сделали укол уже в машине. Он молчал, и я слышала лишь его тихое дыхание.

— Да. Наверное, так и было, — проговорил он наконец.

— Так и было, — согласилась я. — А как же иначе?

Куань не ответил. Он думал. И я знала о чем. Я думала об этом же с того самого момента, как проснулась в заброшенной квартире. Наконец он заговорил:

— Вот только почему? На что у него такая реакция?

— Возможно, на какую-то еду, — предположила я.

— Да... На какую? На сливы? Или он в лесу что-то нашел?

— Думаю, это случилось в лесу. Но это не из-за еды. Куань не ответил — возможно, не понимал, куда я клоню.

— Мне кажется, это не из-за еды, — повторила я. — По-моему, это было что-то живое.

— Что?

— Сперва я решила, что его укусила змея. Но симптомы не совпадают. Куань молча дожидался ответа, дыхание сделалось прерывистым.

— Это не змея. Это насекомое.

Уильям

Графство Херфордшир, четвертое августа 1852 года

Досточтимый господин Дзержон!

Я имею смелость обращаться к Вам как к равному, хотя, вероятнее всего, мое имя Вам неизвестно. Однако наши общие интересы побудили меня направить Вам это обращение. Ваш покорный слуга на протяжении длительного времени с неослабевающим интересом следил за Вашей деятельностью, в особенности же мое внимание привлекает Ваша работа, посвященная усовершенствованию пчелиных ульев. Не могу не выразить величайшего восхищения Вашими выдающимися трудами, умозаключениями, к которым Вы пришли, и самим ульем, каковой представлен в *Eichstadt Bienenzeitung*.

Отчасти руководствуясь принципами, на которые опирались и Вы, Ваш покорный слуга тоже разработал модель улья, и я смею питать надежду, что Вы найдете возможность уделить несколько минут Вашего бесценного времени и доверите мне Ваши соображения о моей работе.

Изобретение Юбера убедило меня в возможности создания улья, из которого несложно будет вынимать пластинки меда, не умертвляя при этом пчел и даже не вызывая их тревоги. Ознакомившись с записями Юбера, я пришел к выводу, что мы в большей степени, чем предполагаем, способны приручить этих загадочных существ. Этот вывод стал решающим в моей дальнейшей работе.

Сначала я сконструировал улей со съемными рамками, открывающийся сбоку. Однако такая модель не позволила мне преодолеть все возникающие препятствия. Как Вы, вероятно, сами отметили, вынуть пластинки из улья такой конструкции — занятие непростое, требующее времени и усилий, и, ко всему прочему, влечет за собой гибель пчел и расплода, что весьма прискорбно. Однако порой — хотя и огорчительно редко — на нас снисходит озарение, преображающая все «эврика». Ко мне оно явилось летним вечером, отыскав меня в лесной чаще, где я предавался созерцанию. В моем представлении улей всегда был

домом, с окнами и дверьми, на манер Вашего улья... Но почему бы не посмотреть на него с другой стороны? К чему уподоблять пчел людям, ведь их судьба — стать нашими слугами, служить нам. Подобно Создателю, взглянувшему тем вечером на меня с небес, — а я не сомневаюсь, что сам Господь приложил к этому руку, — подобно Ему должны мы смотреть на пчел. Несомненно, нам следует оставаться над ними. Я решил создать улей, открывающийся сверху, и у меня появилась идея, заставившая написать Вам, — мои съёмные рамки, которые я вскоре собираюсь запатентовать. Рамки служат опорой для пластин, так что те не касаются ни стен, ни дна, ни крышки улья. Это приспособление позволит мне вынимать или перемещать пластины так, как мне заблагорассудится, не вырезая их и не нанося вреда пчелам. Благодаря им я смогу переносить пчел в другие ульи и устраню препятствия, прежде мешавшие моим наблюдениям за пчелиной семьей.

Вы, несомненно, зададитесь вопросом, каким образом мы помещаем пчелам прилепить пластины к стенкам улья воском и прополисом или построить соты? Позвольте мне дать ответ и на этот вопрос! Прибегнув к расчетам и длительным экспериментам, я вывел основополагающее правило, которое, друг мой — если Вы любезно позволите так Вас называть, — назвал Правилom Трети. Расстояние между пластинами должно составлять треть дюйма. И на треть дюйма пластины должны отстоять от стенок, дна и крышки. Не больше, но и не меньше.

Меня питают вера и надежда, что в скором времени «Стандартный улей Сэведжа» станет известен во всей Европе и, возможно, даже за пределами нашего континента. В основу моей работы положен принцип простоты и практичности, чтобы улей нашел применение среди как начинающих пчеловодов, так и опытных пасечников, привыкших управлять сотнями ульев. Однако в первую очередь мой улей облегчит работу нам, натуралистам, позволив беспрепятственно наблюдать и делать новые открытия, связанные с этими не просто удивительными, но и полезными существами.

Я уже запросил патент на мое изобретение, но, как Вам, конечно же, известно, рассмотрение подобных заявок нередко затягивается. Я был бы весьма польщен, если бы Вы нашли возможность поделиться со мной своими соображениями

относительно моей работы, а также почту за великую честь, если Вы сделаете попытку сконструировать улей, руководствуясь моими принципами.

С глубочайшим почтением,

Уильям Аттикус Сэведж

Во двор въехала первая повозка, и сердце мое подпрыгнуло. Начало. Вот оно. Я облачился в свою самую нарядную одежду и вышел на крыльцо, вымытый и надушенный. Даже праздничную шляпу достал из недр гардероба. Я ждал, и они явились.

В самом дальнем углу сада в два ряда выстроились ульи. Да, их теперь было много. Трудился Конолли не разгибаясь. Жужжание тысяч пчел сливалось в гул, такой громкий, что слышно было даже в доме. Пчелы, прирученные мною, мои слуги, повинующиеся взмаху руки, труженики, день за днем усердно наполняющие улей сверкающим золотым медом.

За последние недели я отправил бесконечное множество приглашений, в которых сообщал о своем намерении представить «Стандартный улей Сэведжа». Среди адресатов были местные фермеры и столичные натуралисты. И Рахм. Многие из приглашенных изъявили согласие явиться. Но не он. Однако он должен прийти. Иначе и быть не может.

Даже Эдмунд посерьезнел, очевидно поняв всю важность приближающегося события. Да, вероятнее всего, это Тильда его вразумила. Ведь его еще можно спасти, он молод, а на этом жизненном этапе легко обмануться, угодив в ловушку примитивных удовольствий. Обрести страсть и позволить ей вести себя — этот совет он дал мне сам, и им я руководствовался, теперь же пришел черед Эдмунда отыскать свою достойную уважения страсть. Я питал надежду, что величие науки и природы принесет ему вдохновение, что гордость за меня, гордость за то, что он — часть этой семьи, что он носит наше имя, приведет его на узкую тропинку исследований.

Женщины вынесли в сад стулья и скамьи, расставили напротив ульев. Там во время моей лекции мы планировали рассадить публику. Несколько дней Тильда с девочками не выходили из кухни — резали, жарили, варили и томили. Готовили угощение. Иначе нельзя было, хотя нам пришлось потратить последние сбережения, даже отложенные на учебу. Какая разница, ведь эти траты временные и вскоре дела пойдут в гору, в чем я ни секунды не сомневался.

Шарлотта ни на шаг не отходила от меня. С того момента, как она отыскала меня в лесу, мы все делали сообща, ее спокойствие передалось и мне, вместе с ее воодушевлением. Этот день по праву принадлежал и ей, но мы, даже не обсуждая, пришли к выводу, что сегодня ее белый костюм пасечника останется в гардеробе. Шарлотта заняла место среди женщин. Она проворно хлопотала на кухне и выносила блюда с закусками, раскрасневшаяся от кухонного жара. Однако время от времени Шарлотта посылала мне радостную улыбку, говорившую о том, что ее снедает то же нетерпение, что и меня.

Первая повозка остановилась возле меня, и я приготовился приветствовать гостей. Но я лишь теперь увидел, кто это. Конолли. Это был всего лишь Конолли.

Я протянул ему руку, но, вместо того чтобы пожать ее, Конолли хлопнул меня по плечу и расплылся в улыбке:

— Я уж всю неделю жду не дождусь, никогда ничего подобного не видал! — Я улыбнулся в ответ, стараясь выглядеть уверенным, не желая сознаваться, что для меня это тоже великий день, но Конолли ткнул меня локтем в бок: — Вы и сами как на иголках, я ж вижу!

Переминаясь с ноги на ногу, мы стояли посреди двора, словно двое мальчуганов в первый школьный день.

Сначала явились местные фермеры. Двое из них уже разводили пчел, а третий только собирался. Поздоровавшись, все трое сразу направились к ульям.

Чуть позже прибыли два незнакомых мне господина. Они прискакали на лошадях, в шляпах и костюмах для верховой езды, запорошенные пылью и явно проделавшие долгий путь. Спешившись, они направились ко мне, и я узнал моих давних университетских приятелей. Шевелюры у обоих поредели, животы надулись, кожа на лицах обрела землистость, обозначились морщины. Как же они постарели, нет, не они, как же *все мы* постарели.

Они поприветствовали меня, поблагодарили за приглашение, осмотрелись вокруг и одобрительно закивали, заговорив о преимуществах жизни на природе и своем собственном существовании, так не похожем на мое, в городском лесу, где вместо деревьев — кирпичные дома, плодородная почва сгинула под брусчаткой, а над головой лишь бесконечные этажи, крыши и черные трубы.

Гости прибывали. Еще несколько фермеров — некоторые из них, очевидно, пришли из праздного любопытства — и еще трое зоологов из столицы, приехавших утренним дилижансом, что высадил их у поворота.

Рахма не было.

Я прошел в дом и сверился с часами на камине. Ровно в час — вот когда я собирался начать. В час, когда соберутся все приглашенные, я выйду и займу свое место. И Эдмунд, мой первенец, — он тоже увидит, как я стою там, перед ними.

* * *

Часы показывали половину второго. Собравшиеся начали проявлять нетерпение. Некоторые рассеянно вытаскивали из жилетного кармашка часы и быстро поглядывали на них. Гости уже отдали должное угощению и напиткам, которые разносила Тильда с девочками. Было жарко, и некоторые, приподняв шляпу,тирали носовыми платками лбы. Моя собственная шляпа превратилась в черный парник, она давила на голову и мешала думать. Я уже жалел, что выбрал этот наряд. Многие вопросительно смотрели на меня, а затем переводили взгляд на ульи. Терпение, в том числе и мое собственное, иссякло, но я не сводил взгляда с ворот. Рахм так и не почтил меня своим присутствием. Почему же он не пришел?

Ну что ж, в любом случае пора начинать. Я *вынужден* начать.

— Приведи детей, — попросил я Тильду.

Она кивнула, тихо позвала девочек и отправила Шарлотту за Эдмундом.

Я медленно двинулся к ульям, это не укрылось от внимания гостей, те умолкли и обратили на меня взгляды.

— Господа, прошу, окажите мне честь, занимайте места. — Я показал на расставленные в саду стулья.

Дважды просить мне не пришлось. Стулья стояли в прохладной тени, и гости уже давно косились в ту сторону.

Когда все расселись, я увидел, что переоценил их количество. Прибыли далеко не все приглашенные, но девочки и Эдмунд уже спешили мне на выручку. Неорганизованно, как умеют только дети, рассыпались они по моей импровизированной аудитории и заполнили самые большие прорехи.

— Итак, похоже, все на местах, — сказал я, хотя мне хотелось закричать об обратном. Здесь не было его, а без него сама идея теряла смысл. Но, встретившись глазами с Эдмундом, я приободрился. Ведь я делаю это ради Эдмунда. — Мне неловко злоупотреблять вашим

терпением, но прошу еще минутку — мне нужно облачиться в защитный костюм. — Я улынулся: — Ведь я, как ни крути, не Уайлдмен.

Все, даже фермеры, засмеялись, громко и искренне. А я-то думал, что мою шутку способны оценить лишь избранные, что такие шутки отделяют нас от них... Впрочем, какая разница? Главное сейчас — это улей, равных которому они не видели.

Я поспешил в дом, стащил с себя тяжелую шерстяную одежду и облачился в белый костюм. Тонкая ткань приятно холодила тело, и с какой же радостью я сбросил жаркую шляпу и нахлобучил легкую белую панаму с сеткой.

Я выглянул в окно. Гости и домочадцы покорно дожидались моего возвращения. Сейчас. Момент настал. Есть он или нет — уже неважно. Катись ты, Рахм, ко всем чертям, я и без твоего назойливого всезнайства справлюсь!

Я вышел на улицу и зашагал по тропинке к ульям. После того как по ней несколько раз проехала старая, принадлежащая Конолли тачка, тропинка стала значительно шире, а кое-где появились глубокие выбоины. Обычно в сад я подвозил ульи сам, Конолли не отваживался приближаться к пчелам, и мне приходилось толкать тачку в одиночку.

Увидев меня, все доброжелательно заулыбались, и это прибавило мне уверенности. Я встал перед ними и заговорил. Я наконец-то дождался возможности поделиться моим изобретением с миром, наконец-то я мог рассказать о Стандартном улье Сэведжа.

* * *

После выступления все ринулись ко мне. Один за другим, они по очереди пожимали мне руку. «Поразительно, невероятно, ошеломительно» — похвалы ливнем обрушились на меня, я был не в силах разобрать, кому принадлежит та или иная реплика, все они сливались в единый поток. Но самое важное не ускользнуло от моего внимания: меня слушал Эдмунд. Его взгляд был ясным и трезвым, в кои-то веки мой сын избавился и от вялости, и от присущей ему другой крайности — телесного беспокойства. Его внимание было обращено на меня, все время. Он видел и всех тех, кто подходил ко мне пожать руку. Даже того, кто подошел последним.

Стащив перчатку, я коснулся прохладных пальцев, и по телу моему словно пропустили электрический разряд.

— Поздравляю, Уильям Сэведж.

Он улыбнулся. Его губы сложились не в ухмылку, а в спокойную улыбку, которая, как это ни удивительно, шла ему.

— Рахм.

Он сжал мне руку и кивнул в сторону ульев:

— Вы придумали кое-что новое.

Язык мой словно прилип к небу.

— Но вы... когда же вы пришли?

— Как раз вовремя, чтобы ничего не упустить.

— Я... я вас не видел.

— Зато я вас видел, Уильям. Кроме того... — Он провел рукой по рукаву моего костюма, и я почувствовал, что от волнения по телу у меня побежали мурашки. — Как вам известно, я стараюсь не приближаться к пчелам без надлежащей одежды. По этой причине я стоял вон там, позади.

— Я... я думал, вы не...

— А я пришел.

Он обхватил мою руку своими, и его тепло с током крови разлилось по клеточкам моего тела. А краем глаза я заметил Эдмунда: оставаясь по-прежнему внимательным и участливым, он не сводил с нас взгляда. Нет, не с нас — с меня. Он меня видел.

Тао

Я провела в библиотеке целый день. Читала книги, старые научные статьи, смотрела фильмы на потрепанном экране в подвальном кинозале. Хотела убедиться. Многие из прочитанного мы проходили в школе, и в моей памяти всплыли уроки по природоведению и скорбный тон нашего учителя, такого занудного, что со временем мы окрестили его уроки скуковеденьем. Нам, малышам, не под силу было переварить то несметное количество фактов, что нам пытались скормить. Когда учительские глаза в сеточке морщин обегали нас, мы отворачивались к окну и придумывали, на что похожи облака в небе, или следили за стрелками настенных часов, подгоняя их к моменту, когда прозвенит звонок на перемену.

И вот теперь я погружалась в сведения, которые учитель в свое время пытался вложить в наши головы. Некоторые даты я помнила до сих пор.

2007-й. В этом году у трагедии появилось официальное название: Синдром разрушения пчелиных семей.

Однако все началось намного раньше. Я нашла фильм о развитии пчеловодства в прошлом веке. После Второй мировой войны разведение пчел процветало. Лишь в США насчитывалось девять с половиной миллионов пчелиных колоний. Однако их количество уменьшалось как в Штатах, так и в других странах. К 1988 году количество ульев сократилось вдвое. Во многих местах пчелы начали умирать, в Сычуане, например, еще в восьмидесятих годах того же века. Но только когда катастрофа начала набирать обороты, когда в 2006-м и 2007-м о массовых исчезновениях пчел заговорили американские пчеловоды, имевшие по несколько тысяч ульев, — только тогда явление получило название. Возможно, потому что это произошло в США. В те времена, чтобы событие считалось важным, надо было, чтобы оно случилось в США. А на гибель китайских пчел никто не обратил внимания. В те времена так было заведено. Впоследствии все изменилось.

Синдрому разрушения пчелиных семей было посвящено множество книг. Я листала одну за другой, но однозначного ответа не находила. Споря о причине Синдрома, ученые так и не пришли к общему мнению. Судя по всему, причин было несколько, и первой стали ядовитые удобрения. В 2013 году отдельные пестициды попали под запрет в Европе, а чуть позже — и в других странах мира. Лишь США решили от них не отказываться. Некоторые ученые утверждали, что под влиянием яда навигационная

система пчел вышла из строя и они утратили способность находить дорогу к улью. Содержащиеся в удобрениях яды разрушали нервную систему насекомых, массовое сознание цепко держалось за гипотезу о том, что в смерти пчел виноваты эти яды, что и повлекло их запрет. Однако результаты исследований были довольно неоднозначны, а запрет пестицидов обернулся великой трагедией. Насекомые-вредители год за годом атаковали урожай, что привело к нехватке еды. Выяснилось, что без пестицидов сельское хозяйство обречено. Положительные же результаты запрета оказались ничтожны, и пчелы продолжали исчезать. По данным на 2014 год, в Европе исчезло около семи миллиардов пчел. Были и те, кто утверждал, что яд по-прежнему воздействует на пчел. Однако прислушивались к этому мнению лишь единицы, так что по истечении испытательного периода запрет на пестициды сняли.

Впрочем, возлагать вину исключительно на пестициды было бы ошибочным. Существовала и еще одна напасть — варроатоз. Впиваясь в тело пчелы, крошечный паразит под названием «клещ Варроа» высасывал из насекомого лимфатическую жидкость и служил переносчиком вируса, который удалось обнаружить лишь много позже.

Третья причина крылась в резком потеплении. Климат на земном шаре постепенно менялся, а с 2000 года скорость этих изменений резко увеличилась. Лето становилось все более сухим и жарким, цветы быстро засыхали, и пчелы гибли без нектара. Суровые зимние холода тоже убивали пчел. А еще к их гибели приводили дожди. Подобно людям, в дождливую погоду пчелы сидели дома, и дождливое лето означало для пчел медленную смерть.

Роковую роль сыграло и однотипное сельское хозяйство. Для пчел мир превратился в одну огромную зеленую пустыню: засаживая бесчисленные километры земли одной и той же сельскохозяйственной культурой, люди уничтожали природное многообразие. В своем развитии человек семимильными шагами шел вперед. Пчелы за ним не поспевали. И исчезали.

Без пчел тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий обратились в бесплодные земли, цветущие поля не приносили ягод, а на деревьях не вызревали фрукты. Овощи, фрукты и плоды, к которым человечество издавна привыкло, — яблоки, миндаль, апельсины, лук, брокколи, морковь, черника, орехи и кофейные зерна — сделались роскошью.

К 2030 году заметно сократилось и производство мяса, выращивать достаточное количество кормовых культур люди больше не могли. От молока и сыра жителям земного шара тоже пришлось отказаться, так как

скот перестал давать молоко в прежних объемах. Если раньше люди лелеяли мечту заменить нефть биологическим топливом, то теперь об этих планах можно было забыть: производство растительного сырья напрямую зависело от опыления. Это заставило людей вернуться к невозобновляемым источникам энергии, что, в свою очередь, усугубило глобальное потепление.

Примерно в это же время рост населения прекратился. А затем нас стало меньше. Впервые в истории численность человечества сократилась. Наш вид вымирал.

Последствия Синдрома по-разному сказались на разных континентах. Первым рухнуло сельское хозяйство в США. Американцы, в отличие от китайцев, так и не научились опылять растения вручную. Их рабочая сила была недостаточно дешевая, работали американцы мало и выносливостью тоже не отличались. От иммигрантов толку также не было: их требовалось кормить, и хотя по трудолюбию и стойкости они и превосходили американцев, но еды производили лишь немногим больше, чем съедали сами.

Синдром разрушения пчелиных семей в США привел к всемирному продуктовому кризису, и на тот же период пришлось массовая гибель пчел в Европе и Азии.

Последней жертвой кризиса пала Австралия. Я нашла снятый в 2018 году документальный фильм, в котором рассказывалось, что на Австралию возлагал надежды весь мир. Клещ Варроа сюда не добрался, и, судя по всему, местные пчелы легче переносили пестициды, чем где бы то ни было в мире. На пасеках Австралии по-прежнему выводили здоровых пчел, и со временем пчеловодство здесь стало приносить отличную прибыль. Мало того — Австралия стала центром апиологии и исследований в области опыления.

Как это случилось, никто не знал, но в одно весеннее утро 2027 года пасечник из Эйвон-Вэлли заметил, что в его ульях не все ладно. Марк Аркадьев занимался производством экологического меда. В работе он соблюдал все правила: возил пчел на опыление нечасто, и за один раз всего по несколько ульев, действовал осмотрительно и благоразумно, ставил ульи лишь на тех фермах, хозяева которых ручались, что пестицидов не используют. Он заботился о пчелах так, что лучше и не придумаешь, менял донья, когда те пачкались, и постоянно следил за тем, чтобы у пчел было достаточно еды. По словам Аркадьева, это он работал на пчел, а не наоборот. Он был их послушным слугой, они управляли его жизнью, диктуя, во сколько просыпаться и когда ложиться в постель. Ирис, своей

будущей жене, он сделал предложение в тот момент, когда они пытались пересадить отроившихся пчел в новый улей.

И тем не менее именно пасека Аркадьеффа «Пчелиное счастье» первой в Австралии пострадала от клеща Варроа, пусть это и было несправедливо. Он грешил на сестру: та жила в Калифорнии, но незадолго до катастрофы приезжала погостить на две недели и наверняка притащила с собой заразу. Хотя, возможно, виной всему была заказанная в Южной Корее рабочая одежда. Разворачивая совершенно обычную серую бумагу и вытаскивая защитные комбинезоны, похожие на те, что он всегда надевал при работе с пчелами, пасечник и не подозревал об опасности. А может, клеща завезли с органическими удобрениями, доставленными на соседскую ферму из Норвегии?

Марк не знал, и его жена тоже. Они знали лишь, что той весной их пчелы заболели, а обнаружилось это слишком поздно.

Пчеловод водил съемочную группу по пасеке и рассказывал о трагедии. Открывая пустые ульи, на дне которых копошились несколько полудохлых пчел, он даже не пытался скрыть слез.

В мире больше не осталось мест, куда Синдром не добрался бы, и человечество стояло на пороге величайшего кризиса в своей истории. Люди предприняли еще несколько попыток переломить ситуацию. Они нашли способ избавиться от варроатоза. Рядом с сельскохозяйственными культурами стали высаживать цветы. Пестициды вновь попали под запрет. Но тут снова воспрянули духом насекомые-вредители, накинувшиеся на урожай.

Английским биологам удалось вывести генно-модифицированные растения, встроив в их ДНК феромон (E) — β -фарнезен, выделяемый насекомыми, когда те подают сигнал об опасности. Человечество бросилось повсеместно сажать такие растения, причем первыми этот новый стандарт поддержали китайцы, сильнее прочих страдающие от нехватки еды. Утверждалось, будто на пчел эти феромоны воздействия не окажут, что пчелы вообще ничего не заметят. Экологи забили тревогу, заявив, что пчелы реагируют на феромоны так же, как и насекомые-вредители. Но это мнение предпочли пропустить мимо ушей. Называя это решение беспроектным, его создатели обещали, что сельское хозяйство восстановится, а пчелам больше не придется страдать от пестицидов.

Поля в Китае засадили генно-модифицированными растениями, и результаты оказались неплохими. Настолько неплохими, что примеру китайцев последовал весь мир. А разрастались такие растения с удивительной скоростью. И вскоре вытеснили обычные виды. Однако

гибель пчел это не остановило. В 2029 году в Китае умерло сто миллиардов пчел.

Реагировали ли пчелы на феромоны, так и осталось загадкой. В любом случае было уже поздно. Генно-модифицированные растения заполонили мир. Теперь насекомых отпугивала даже обычная трава, растущая по обочинам дорог.

Прежний мир исчез.

Просматривая в библиотеке бесконечные интервью с пасечниками, я наблюдала, как они мало-помалу покорялись судьбе. Некоторые из них стали активистами, кипели праведным гневом и клялись продолжать борьбу, но чем позже было снято интервью, тем очевиднее становилось, что они сломлены. Доведись мне увидеть эти записи раньше, я бы не обратила на них никакого внимания. То были артефакты ушедшей эпохи. Изможденные люди в потрепанной рабочей одежде, грубые лица, потемневшая от солнца кожа, избитые фразы — между нами не было ничего общего. Но сейчас я видела каждого из них, каждый был моей личной маленькой катастрофой, и каждый застрял в моей памяти.

Джордж

Он приехал без предупреждения. Хотя, возможно, это Эмма его попросила. Я подошел к двери и услышал его голос. Я был в мастерской, где обычно надеваю наушники, и уж тогда ни машин не слышу, ни голосов, ни даже если Эмма меня зовет.

Голос взрослого мужчины. Сперва до меня не дошло, кто это. А потом я понял, что это он. Это его голос.

Я рванул к дому. Приехал! Видать, Эмма рассказала ему о нашей напасти. Они небось постоянно болтали, и вот он приехал помочь! С ним мне будет намного проще. С ним мне все по плечу. Я как окопаюсь в мастерской, так и буду сидеть там по двадцать часов в сутки. Буду работать столько, сколько отродясь не работал.

А потом я услышал, о чем он говорит. О том, как подрабатывал летом. Рассказывал с таким жаром. Я остановился возле двери — все не решался зайти.

— Про помидоры написал, — говорил он. — Любая тема интересная, когда больше узнаешь. Я таких здоровенных помидоров никогда раньше и не видел. И фотограф то же самое сказал. А фермер, который победил, — он такой гордый был! И ты представляешь, мой материал прямо на первой странице напечатали! Первая статья — и уже на первой полосе!

Я положил ладонь на ручку двери.

Эмма смеялась и хвалила его, как будто ему было пять лет и он только что научился кататься на велосипеде.

Я нажал на ручку и открыл дверь. Они умолкли.

— Привет, — сказал я. — Не знал, что ты приедешь.

— А вот и ты. — Эмма тревожно смотрела на меня.

— Хотел сделать маме сюрприз, — ответил Том.

— Столько в автобусе трясса, а ведь ему в воскресенье уже назад, — улыбнулась Эмма.

— Ну и что толку? — спросил я.

— Так ведь у мамы день рождения, — сказал Том.

Это напрочь вылетело у меня из головы. Я быстро прикинул и чуть успокоился: день рождения у нее ожидался только завтра.

— И еще я хотел посмотреть, как вы тут, — тихо добавил он.

— Ну и как, посмотрел?

— Джордж! — одернула меня Эмма.

— У нас все в порядке, — сказал я. — Но что ты на день рождения приехал — это хорошо.

* * *

На следующий день Эмма приготовила рыбу. Мы рыбы с его прошлого приезда не ели. Том рассказывал про газету, в которой работал. Напрямую он не хвастался, но, как я понял, редактор его хвалит. Говорит, что Том, мол, «видит суть», что бы это ни значило. Эмма все время смеялась, а ведь я-то почти забыл, как звучит ее смех.

Я успел смотаться в город и купил ей в подарок дорогие чулки и крем для рук.

— Ох, да зачем. В этом году можно было бы и без подарка обойтись, — сказала она, разворачивая сверток.

— Брось, с какой это стати? — возразил я. — К тому же это вещи полезные, без дела пылиться не будут.

Она кивнула и пробормотала «спасибо», но я-то видел, что она вглядывается в наполовину содранный ценник и прикидывает, сколько я потратил денег, с которыми у нас туго.

Том подарил ей толстую книжку, на обложке которой был нарисован деревенский дом, окутанный туманом. Эмма любит, когда книжку можно долго читать.

— Купил на первую зарплату, — улыбнулся он.

Она расплылась в улыбке и рассыпалась в благодарностях. А потом стало вдруг тихо. Том отправил в рот кусочек рыбы и принялся неторопливо жевать. Я поймал на себе его взгляд.

— Папа, расскажи, — внезапно выпалил он.

Это что же, он пчелами заинтересовался? Решил, значит, вежливость проявить.

— Ну слушай. В некотором царстве, в некотором государстве... — начал я.

— Джордж! — перебила меня Эмма.

Том смотрел на меня, широко раскрыв глаза.

— Мы с мамой уже кое-что обсудили, но она говорит, что знаток тут ты и объяснить толком никто, кроме тебя, не сможет.

Он говорил как взрослый. Словно был единственным из нас взрослым. Я заерзал на стуле. Спина затекла, а деревянное сиденье больно давило на задницу.

— Чего это ты вдруг заинтересовался? — спросил я.

Том отложил нож с вилкой и аккуратно вытер салфеткой губы.

— Я довольно много прочел про Синдром разрушения пчелиных семей, но многие гипотезы совершенно безосновательны. И я думал, что так как ты каждый день наблюдаешь за пчелами, возможно, у тебя есть свои соображения, почему...

— Ага, так это к нам журналист пожаловал. Ясненько. Статью хочешь написать, да?

Он заморгал, лицо перекошилось. Я попал в точку.

— Нет, папа. Нет. Я не поэтому спрашиваю.

Том умолк.

Запах рыбы вдруг сделался совсем невыносимым, в носу от него засвербело, невидимой пленкой он оседал на волосах и одежде. Я вскочил:

— У нас еще еда осталась?

— Да, есть еще рыба. — И Эмма положила на стол книгу, которую до сих пор держала в руках.

Не глядя на них, я шагнул к холодильнику.

— А кроме рыбы?

— Скоро будет десерт, — ласково ответила она.

— Десертом особо не наешься. — Я развернулся и перевел взгляд с нее на Тома.

Они смотрели на меня. Сидели за столом и просто смотрели на меня, вроде как по-доброму, но на самом-то деле наверняка считали меня идиотом.

Том повернулся к Эмме:

— Зря ты только ради меня рыбу приготовила. Это же твой день рождения. Сделала бы лучше какое-нибудь свое любимое блюдо.

— Но я очень люблю рыбу. — Она произнесла это громко и внятно, словно книгу вслух читала.

— Завтра приготовь на ужин то, что обычно едите, ладно? — продолжал Том. По-прежнему вежливо, аж до отвращения. Господи, да они что, издеваются?

— А ты разве завтра не уезжаешь? — спросил я.

— Уезжаю, — тихо ответил Том.

— Но если пополдничаем пораньше, то и он успеет с нами поесть, — встряла Эмма. — Верно, Том?

— Да.

— Пораньше — это во сколько? — поинтересовался я. — Мне перед едой еще поработать надо. — По сравнению с их воркованием голос мой

звучал грубо и резко.

— В два — мы ведь так с тобой решили? — спросила Эмма у Тома.

— Может, я чуть попозже уеду, — сказал Том.

Я пропустил его слова мимо ушей.

— В два? Это разве полдник? Это ж обед! — Я смотрел на Эмму.

— Ты из-за меня не суетись, — сказал Том.

— Да о чем речь, просто сядем и поедим все вместе, — не унималась Эмма.

— Как ты, возможно, понял, работы тут непроворот, — сказал я. Пусть хоть один из нас будет честным.

— Хочешь, помогу, пока я здесь? — тут же предложил Том.

— То, что у меня в мастерской будет полдня околачиваться задохлик, который до этого только книжки читал, особо погоды не сделает.

Не удостоив меня ответом, Эмма просюсюкала:

— Помоги папе, сынок.

— Ладно! — рявкнул я.

Никто из них не ответил. Оно и к лучшему. Засюсюкай она опять — и меня бы вывернуло.

Том снова взялся за приборы и вилок сдвинул к краю тарелки рыбы кости и блестящую сероватую кожицу.

— Жаль, что я не могу подольше тут побыть.

«Жаль»... Словно этого уже не изменить. Словно не ему самому решать.

— Может, позвонишь и предупредишь, что приедешь попозже? — предложила Эмма.

— Мама, меня выбрали из тридцати восьми соискателей, — тихо проговорил Том.

Я двинулся к двери. От его оправданий меня тошнило.

Он нагнал меня уже во дворе:

— Папа... подожди!

Не поворачиваясь, я шагнул к мастерской:

— Мне работать надо.

— Можно мне с тобой?

— Там объяснять долго. А у тебя времени нет.

— Но мне хочется. Правда.

Ты глянь-ка. Прежде я за ним такой настойчивости не замечал. Своей цели он добился — к горлу у меня подкатил комок. Неужели Том всерьез? Я обернулся и посмотрел на него.

— Глупости, — сказал я.

— Папа. Это не потому что я в газете работаю. Это потому... потому что я переживаю. Честно. — Он глядел на меня, и обмана в его глазах не было. — Это же и моя пасека тоже.

Он замолчал, явно не собираясь больше ничего говорить. Молча дожидаясь, когда я сдамся. Его взгляд давил на меня. Красивые у него глаза. Сынок мой. Такой взрослый и такой еще ребенок.

Значит, честно.

— Ладно. — Горло снова перехватило, и я кивнул: — Хорошо. — Я прокашлялся, но вроде как все уже сказал, поэтому мы просто зашагали к мастерской.

Уильям

Письмо прибыло с вечерним дилижансом. Окрыленность вчерашнего дня еще не покинула меня — все прошло в точности так, как мне виделось, а то и получше. У меня началась новая жизнь. Во мне по-прежнему жил момент — тот, в котором пространство замкнулось на мне, Рахме и Эдмунде, — момент, в котором мечта воплотилась в реальность, когда Идея момента и сам Момент достигли наивысшего единства.

Увидев печать, я задрожал. Карлсмаркт. Это от него, он признал мое изобретение, иначе зачем бы ему писать? Я отправил ему письмо несколько недель назад, его ответ мог добраться до меня в любой другой день, но пришел именно сегодня — подумать только! Я дрожал в страхе, что не вынесу этого безмерного счастья. А вдруг меня постигнет судьба Икара и мои крылья вспыхнут и сгорят? Нет, то, что я испытываю, — это не гордость, я долго трудился, я заслужил это.

С письмом в руках я поднялся в кабинет, уселся за стол и благоговейно, словно готовясь встретиться со святым Петром, сломал печать.

Карлсмаркт, двадцать девятое августа 1852

Почтеннейший господин Уильям Сэведж!

Я с величайшим интересом ознакомился с Вашим письмом и проделанной Вами работой. Искренне надеюсь, что пчеловоды там, где Вы проживаете, получают возможность воспользоваться сконструированными Вами ульями.

Однако перехожу к сути. Полагаю, что с того момента, как Вы написали мне письмо, многое переменилось и Вы успели ознакомиться с трудами пастора Лоренцо Лангстрота. Возможно, Вас уже уведомили об отказе относительно Вашей заявки на патент? Если изложенное мною уже донесено до Вашего сведения, низжайше прошу простить меня.

Насколько я могу судить, Вы пришли к тем же умозаключениям, что и Ваш единомышленник, проживающий по другую сторону Атлантического океана. Должен признать, что немало удивился, знакомясь с описанием Вашего улья, так как он весьма походит на тот, что был создан пастором. В прошлом

году я имел честь лично вести переписку с пастором Лангстротом, поэтому мне известно, что он является обладателем патента на рамки, чрезвычайно похожие на те, что Вы описали в Вашем письме.

Пастор, подобно Вам, тоже вычислил идеальное расстояние между стенками улья и рамками, а также от одной рамки до другой, хотя, согласно его вычислениям, это расстояние составило четыре десятых дюйма.

Смею питать надежду, что Вы продолжите Ваши в высшей степени плодотворные исследования, так как убежден, что человеческие знания о пчелах пока еще весьма и весьма скудны. Почту за честь ознакомиться с Вашей дальнейшей работой и надеюсь, что нам удастся завязать переписку, свойственную знатокам, посвятившим себя изучению определенной дисциплины.

С глубочайшим уважением,

Ян Дзержсон

Я обеими руками вцепился в листок, но руки все равно дрожали, буквы плясали перед глазами, строчки слились в одну, а в ушах звенел смех.

«Завязать переписку, свойственную знатокам», — повторил я про себя, но слова утратили всякий смысл.

Слишком поздно. Знатоком мне уже не стать.

Меня самого стоило бы посадить в ящик и накрыть крышкой, а потом вести за мной наблюдения. Я чувствовал себя прирученным животным. Меня приручила жизнь.

Я выпустил письмо из рук и встал. Меня тянуло разбить что-нибудь, разрушить, расколошматить на куски. Все что угодно, главное — утихомирить бурю в душе. Руки вдруг взметнулись вверх, и на пол полетели книги, чернильницы и чертежи. Чернила выплеснулись на деревянные доски круглым черным зрачком, которому отныне суждено напоминать мне о моем поражении. Как будто мне нужны еще какие-то напоминания! Моего расплывшегося рыхлого тела было достаточно, чтобы я запомнил.

Книги из шкафа последовали за чернильницей, а затем та же участь постигла и стул. Сорвав со стен схемы и иллюстрации, я разорвал их на

куски, не пощадив даже «морских чудовищ» Сваммердама. Чудеса Господни, что таятся даже в самых мельчайших организмах! Нет, я не желал их больше видеть.

Затем я добрался до обоев. Проклятые желтые обои! Я сдирал их со стен длинными полосками, оставляя огромные проплешины, сквозь которые проглядывала каменная стена.

А потом наконец пришел и их черед. Чертежи улья. Никчемная бумага. Уничтожить их раз и навсегда!

Я напряг мышцы. Смять, разодрать чертежи — вот чего я желал. Но не мог.

Не сумел.

Потому что не вправе был распоряжаться ими. Пусть их уничтожит тот, кому они принадлежат. Только он виноват в случившемся, ему и расхлебывать.

Я выскочил в коридор:

— Эдмунд!

Я ворвался к нему без стука, толкнул дверь, которую он не удосужился запереть, и оказался в комнате.

Он резко сел в кровати. Волосы всклокочены, белки глаз расцвечены красными прожилками. В нос мне ударил запах спирта, и я отвернулся, почти машинально, как и прежде, когда я проделывал то же самое, но обманывал себя и притворялся, будто ничего не чувствую.

Нет. Хватит. Сегодня все будет иначе. И потом тоже. Пора его выпороть. Отходить его ремнем по спине, до крови, до мяса.

Но всему свое время.

— Вот! — Я швырнул чертежи ему на кровать. — Возьми!

— Что это?

— Это ты начал! Они твои! К чему они мне теперь?

— Отец... ты разбудил меня.

— Они ни на что не годятся. Ясно тебе?!

Взгляд его прояснился, он собрался с силами и взял в руки один из чертежей.

— Что это?

— Они не стоят бумаги, на которой начерчены! Мусор!

Эдмунд посмотрел на бессмысленные чернильные пятна.

— А. Это улей, — тихо пробормотал он.

Я старался отдышаться.

— Они твои. Чертежи. Я занялся всем этим по твоему желанию. Распорядись ими, как захочешь.

— По моему желанию? О чем ты?

— Это же была твоя идея. Можешь теперь выбросить их. Сжечь. Разорвать. Поступи с ними так, как сочтешь нужным.

Он медленно встал и отхлебнул воды, держа чашку на удивление твердой рукой.

— Отец, о чем ты толкуешь?

— Это твоя работа. Я создал их для тебя.

— Но почему? — Его взгляд обратился на меня. Когда же в последний раз я вот так, в упор, смотрел на него? Глаза у него заплыли, и выглядел Эдмунд старше своих шестнадцати лет.

— Книга! — выкрикнул я.

— Какая книга? О чем ты?

— Юбер! «Слепой пасечник» Франсуа Юбера!

— Отец. Я не понимаю. — Он глядел на меня как на душевнобольного, словно место мне в лечебнице.

Меня охватило отчаяние. Он обо всем забыл. Забыл о моменте, ставшем для меня самым дорогим.

— Ты оставил у меня на столе книгу... в воскресенье... Когда все остальные ушли в церковь.

Похоже, в памяти его что-то забрезжило.

— Ах да. Весной...

Я кивнул.

— Этого я никогда не забуду. Ведь в тот день ты сам, сам пришел ко мне.

Эдмунд отвел глаза и взмахнул руками, точно хотел ухватиться за что-то, но ничего, кроме кружащихся в воздухе пылинок, перед ним не было.

— Это мама. Она попросила навестить тебя, — сказал наконец он. — Она надеялась, это поможет.

Тильда. Он безоговорочно принадлежал ей. Как прежде. Навеки.

Джордж

Остаток дня мы вместе мастерили улей. Пока не стемнело. От работы Том не отлынивал, и той неохоты, с которой он принимался за работу прежде, в этот раз я в нем не заметил. Сейчас ему действительно этого хотелось. Он все расспрашивал и допытывался, но и схватывал быстро.

Ритмичный стук молотка. Протяжная песня пилы. И время от времени — тишина. Ветер и птицы.

Солнце нагрело крышу, и жара выжимала из нас пот. Чтобы хоть чуток охладиться, Том засовывал голову под кран, а потом отряхивался, совсем как собака, и хохотал. Тысячи капель ледяной воды разбивались о меня, холодили кожу, и я тоже не мог удержаться от смеха.

Воскресенье прошло почти так же. Мы плотничали и болтали про ульи. Ему, похоже, нравилось. Я его таким с детства не видел. И ел он тоже с аппетитом. На обед даже ветчины кусок сжевал.

* * *

Я посмотрел на часы. Мы сидели во дворе и пили кофе. Время близилось к двум, и Тому пора было собираться. Но я молчал. Может, он забыл. Или передумал.

Том тоже посмотрел на часы. А потом снял их и положил в карман.

— Папа, как это было? С первым ульем? — Вдруг посерьезнев, он внимательно смотрел на меня.

— В смысле?

— Первый улей, из которого исчезли пчелы?

— А сам-то как думаешь? Совсем хреново мне было, хуже некуда.

— Но... что именно изменилось? И как?

Я отхлебнул кофе, но во рту его словно стало больше, так что я еле проглотил.

— Да даже и не знаю... Они просто взяли и исчезли. Только несколько штук и осталось. Жуть, одним словом. Только матка осталась и личинки. Одни. — Я отвернулся — не хотел, чтобы Том видел, что у меня глаза на мокром месте. — И все так быстро, знаешь. Сегодня они живы и здоровы, а завтра их уже нет.

— Да, зимой они тоже умирают, но тут другое, — сказал он.

Я кивнул:

— Ни в какое сравнение не идет. Зимой — там хоть ясно почему. Либо от холода, либо от голода, а бывает, что и от того и от другого сразу.

Он помолчал, обхватил кружку ладонями. Задумался. А потом наконец сказал:

— Но зимой пчелы у тебя так и будут умирать.

Я опять кивнул:

— Ясное дело. Зимы тут суровые бывают.

— Сейчас еще ничего, — перебил он, — но климат меняется, скоро шторма и непогода станут обычным делом. (Я бы и рад был вставить слово, но что сказать, не знал.) И летом погода тоже портится, — продолжал он, — летом пчелы тоже будут чаще умирать. Потому что климат изменится, сейчас летом уже намного больше дождей, чем раньше.

— Ну да, — согласился я, — но точно-то мы не знаем.

Но он даже голову не повернул, лишь заговорил чуть громче:

— Этот синдром — лишь начало. Твои пчелы опять исчезнут. — Том почти кричал: — Папа, пчелы умирают! И прекратить это только мы можем!

Я повернулся к нему. Он раньше никогда так не разговаривал, я попытался улыбнуться, но вышла какая-то кривая ухмылка.

— Мы? Ты и я?

Он не улыбнулся, но и не рассердился. Серьезно посмотрел на меня:

— Люди. Мы должны измениться. Мы с тобой в Мэне об этом говорили, помнишь? Нельзя идти на поводу у всех остальных. Надо изменить саму систему, пока еще не поздно.

Я сглотнул. Чего это он вдруг загорелся? Таким я Тома еще не видел. И меня вдруг охватила дикая гордость, я глядел на него и любовался. А он опять уткнулся в чашку.

— Ну что, за работу? — тихо спросил он.

Я кивнул.

* * *

Наступил вечер. А потом ночь.

Мы сидели на веранде, втроем. И небо было таким ясным.

— Помнишь змею? — спросил я.

— И про пчел тоже помню, — ответил Том.

— Что еще за змея? — не поняла Эмма.

Мы с Томом переглянулись и заулыбались.

На следующий день проснулся я поздно, а как глаза открыл, сразу понял, что лежу и улыбаюсь. Потому что меня ждут новые улы.

Я прошлепал в кухню и увидел Эмму — она сидела за столом и читала ту новую толстую книжку.

А перед Эммой стояла одна-единственная тарелка.

Я огляделся:

— А Том где?

Эмма отложила книгу и скорбно поджала губы.

— Ох, Джордж.

— Что?

— Том уехал. Совсем рано, даже завтракать не стал.

— И даже не попрощался?

— Он сказал, что не хочет тебя будить.

— Но я думал...

— Да. Знаю. — Она схватилась за книгу, словно искала поддержки, но больше ничего не сказала.

У меня тоже не осталось сил на разговоры. Я отвернулся.

Господь словно подразнить меня удумал. Вроде как спустил лесенку, а я по ней вскарабкался до самого неба, посмотрел, как ангелы разгуливают по лугам из сахарной ваты, но тут Бог возьми и столкни меня с лестницы — и я полетел вниз. И плюх прямо в грязь, а вокруг все серое и убогое.

Впрочем, на самом деле солнце палило нещадно. Обжигало планету до костей.

Пчел я потерял.

И Тома тоже. Причем давно уже. Просто по тупости своей этого не понимал.

Тао

— Прошу прощения, но мы закрываемся. — Рядом со мной стояла библиотекарьша. В руках у нее позвякивали ключи. — Приходите завтра. Или возьмите что-нибудь на дом.

Я выпрямилась:

— Спасибо.

Передо мной лежала статья о гибели шмелей. Шмели и дикие пчелы исчезли одновременно с пасечными пчелами, однако их гибель заметили не сразу. Исчезновение популяций никого не встревожило, хотя дикие пчелы опыляли примерно треть всех растений в мире. В США эту работу выполняли медоносные пасечные пчелы, а вот на других континентах роль опылителей отводилась преимущественно диким пчелам. В их случае было сложнее отследить постоянное сокращение видов и число насекомых внутри популяции, и тем не менее дикие пчелы тоже пострадали от клеща, вирусов и непогоды. И от пестицидов. Скопившихся в почве ядов уже хватало и на будущие поколения — не только пчел, но и людей.

Люди попытались отыскать замену медоносным пчелам, и первыми кандидатами были, естественно, дикие пчелы, однако тех почти не осталось. Следующими на очереди были мухи-опылители — *Ceriana conopsoides*, *Chrysotoxum octomaculatum* и *Cheilosia reniformis*, но попытки полностью заменить ими пчел успехом не увенчались. К тому времени жизнь на Земле стала почти невыносимой. Таяние льдов и изменение климата повлекли за собой переселение народов, и если прежде развязывать войны человечество заставляла жажда власти, то сейчас воевали из-за нехватки еды.

Описываемая в статье история тоже заканчивалась 2045 годом. Спустя столетие после Второй мировой войны планета в привычном современному человечеству виде утратила возможность кормить миллиарды людей. В 2045 году пчел на земном шаре не осталось.

Я подошла к полкам, где стояли книги о Синдроме, — хотела вернуть на место те, что брала почитать, и взгляд мой вдруг упал на стоявшую чуть поодаль книгу в зеленом переплете. Книга была не особенно толстой и невысокой, но я почему-то не могла оторвать глаз от зеленой полосы. И от желтых букв на ней: «Слепой пасечник».

Ухватившись за корешок, я потянула книгу на себя, но та сопротивлялась — обложка прилипла к соседним книгам; я дернула

посильнее, и книга, словно тихо вздохнув, поддалась.

Я открыла ее, страницы были жесткими, но перелистнулись легко, будто обрадовались мне. В прошлый раз я читала ее, сидя в скромной школьной библиотеке, и тогда мне досталась лишь потрепанная копия. На этот раз я держала в руках совершенно новый экземпляр. Я посмотрела на титульный лист. 2037 год. Первое издание.

Перелистнув еще несколько страниц, до первой главы, я снова увидела иллюстрации. Матка и расплод, личинки в сотах и золотистый мед вокруг. Рамка, облепленная пчелами. Неотличимые друг от друга, они сливались в единый узор. Полосатые тельца, черные глаза, блестящие радужные крылья.

Я листала дальше, добралась до пассажа о знаниях, до фраз, которые помнила с детства и которые сейчас произвели на меня совершенно иное впечатление: «Чтобы жить в природе, с природой, необходимо отстраниться от природы внутри нас... Суть образования в том, чтобы воспрепятствовать природе в тебе самом, действовать наперекор инстинктам...»

Я услышала шаги и подняла голову. Из-за полок показалась дежурная, она подошла ко мне и нарочито громко звякнула ключами, хотя и ничего не сказала.

Я быстро кивнула, давая понять, что уже ухожу.

— Можно мне взять вот эту на дом? — Я показала ей книгу.

Она пожала плечами:

— Да, пожалуйста.

* * *

Я положила книгу на кровать вместе с другими — набрала столько, сколько могла дотащить. Ладно, сейчас сперва в душ, а потом за чтение.

Я быстро разделась, стащив с себя брюки сразу вместе с носками и оставив на полу неприглядную кучу грязноватой одежды. Под душем я стояла, пока не закончилась горячая вода. Я трижды помыла голову, царапая ногтями кожу под волосами, стараясь избавиться от пыли этого мертвого города. Потом долго вытиралась: влага не желала расставаться с моей кожей, воздух в ванной был налит водой. Напоследок я почистила зубы, буквально ощущая, как исчезают налет и бактерии, а потом завернулась в полотенце и прошла в комнату.

Первое, что бросилось мне в глаза, — это пол, откуда кто-то убрал

мою одежду. Я повернулась к кровати. На ней сидела женщина. Моложе меня, с мягкой кожей и ухоженными ногтями. Одежда чистая и выглаженная, ни единой складочки, словно униформа. Гостья едва ли работала когда-нибудь опылителем.

В руках у нее была одна из моих книг, но какая именно, я не разглядела. Женщина подняла голову и посмотрела на меня, спокойно и серьезно. Слова вдруг покинули меня, а мозг словно пытался соединить какие-то разрозненные обрывки. Мы уже встречались с ней?

Она отложила в сторону книгу, поднялась и протянула мне мою одежду, сложенную аккуратной стопкой:

— Вам лучше одеться.

Я не двинулась с места. Незнакомка вела себя так, будто была в полном праве прийти сюда. Впрочем, возможно, так оно и есть. Вглядываясь в ее лицо, я пыталась вытащить хоть какие-то воспоминания. Но ничего не вспоминалось. Я почувствовала, что полотенце вот-вот упадет. И тогда я окажусь перед ней обнаженной и, если такое вообще возможно, еще более уязвимой. Я подтянула полотенце вверх, локтями прижала его к телу и тут же ощутила себя неуклюжей и предсказуемой.

— Как вы вошли? — спросила я и удивилась уверенности в своем голосе.

— Взяла внизу ключ. — Она улыбнулась, словно сказала нечто очевидное.

— Что вам нужно? Кто вы?

— Одевайтесь и пойдете со мной. — Слова прозвучали как приказ.

— Зачем? Кто вы?

— Одевайтесь. — Она снова протянула мне одежду.

— Вам деньги нужны? У меня чуть-чуть осталось. — Я подошла к тумбочке, выдвинула ящик, вытащила жалкие монеты и протянула гостье.

— Меня прислал Комитет, — сказала она. — Одевайтесь и пойдете со мной.

Уильям

Чертежи лежали у меня на коленях, я сидел на скамейке в саду, на порядочном расстоянии от улья. С этого места я мог видеть и слышать пчел, не опасаясь, что им вздумается ужалить меня. Сидел я тихо, словно притаившееся животное, добыча, ожидающая нападения. Однако на меня уже напали. Я больше не добыча. А падаль.

Пчела умирает, когда крылья у нее истертые и потрескавшиеся, разлохматившиеся, словно паруса «Летучего голландца». Она умирает, взлетая, когда тяжесть взятка тянет ее вниз; возможно, в этот раз нектара и пыльцы у нее больше, чем обычно, так много, что крылья не выдерживают. Такая пчела не доберется до улья, а упадет на землю вместе со своей ношей. Обладая она человеческими чувствами, в этот момент ее наверняка переполняло бы счастье, она влетела бы в ворота рая, сознавая, что прожила жизнь во всей ее полноте, претворив идею о самой себе, о Пчеле, как это сформулировал бы Платон. Истертые крылья и сама смерть ее — неоспоримое доказательство того, что она выполнила назначение, с которым была послана на землю, выполнила бессчетное количество дел, особенно учитывая размеры ее крошечного тельца.

Такой смерти я не удостоюсь. Признаков, доказывающих, что я выполнил мое земное предназначение, не существует. Никаких свершений в жизни моей не было. Я состарюсь, высохну и исчезну, не оставив следов, не оставив ничего, кроме, наверное, названия соленого пирога, от которого во рту остается жирная пленка. После меня останется сваммерпай, и ничего больше.

Тогда к чему продолжать все это? Грибы по-прежнему дожидались своего часа, запертые в магазине, в верхнем левом ящичке, ключ от которого имелся только у меня. Действуют такие яды с невероятной быстротой: всего несколько часов — и я почувствую слабость, после чего сознание покинет меня. Доктор решит, что у меня внезапно отказали жизненно важные органы, и никто не узнает, что я совершил это по доброй воле. А меня ждет свобода.

Но я не мог. Не мог встать со скамьи. Моих сил не хватало даже на то, чтобы уничтожить чертежи, руки не желали подниматься, мышечные импульсы замирали в кончиках пальцев, парализуя меня.

Долго ли я просидел там в одиночестве, мне неведомо. Она появилась незаметно, опустилась на скамейку рядом со мной. Совсем неслышно, даже дыхание ее было беззвучным. Своими близко посаженными глазами — моими глазами — она смотрела на летающих вокруг пчел или, возможно, в пространство.

В руке она сжимала письмо Дзержона. Должно быть, отыскала его среди учиненного мною в кабинете хаоса, отыскала и прочла, подобно тому как прежде находила в моих вещах то, что было ей нужно. Потому что это она, все это совершила она — прибранный магазин, книга на письменном столе. Я просто не замечал, *не желал* замечать.

Близость другого человека вылечила мое оцепенение, а может, оно отступило, потому что человеком этим была именно она. Кроме нее у меня никого не осталось.

Я положил чертежи ей на колени.

— Прошу, уничтожь их, — тихо попросил я. — У меня не получается.

Она сидела не шелохнувшись. Я попробовал поймать ее взгляд, но она отвела глаза.

— Помоги же! — взмолился я.

Она положила руку на чертежи.

— Нет, — сказала она наконец.

— Но это ж никчемный мусор, неужели ты не понимаешь? — Голос у меня сорвался, но она медленно покачала головой:

— Ты слишком торопишься, отец. Возможно, они еще пригодятся.

Я вздохнул и заговорил — спокойно, тщательно продумывая слова:

— Они бесполезны. Я прошу тебя уничтожить их, потому что у меня не хватает на это сил. Унеси их куда-нибудь, где я не увижу... и не смогу воспрепятствовать тебе... Сожги их! Брось их в костер, чтобы пламя взметнулось до небес!

Мне хотелось, чтобы мои слова подтолкнули ее, чтобы она вскочила и бросилась выполнять мою просьбу, как прежде воплощала в жизнь все мои пожелания. Но она по-прежнему сидела рядом, перелистывая страницы и водя пальцем по черточкам, — каких же усилий стоило мне вычертить их правильными, сколько стараний ушло на детали.

— Нет, отец. Нет.

— Но я хочу этого! — Грудь сдавило. Я чувствовал руку отца на затылке, слышал его язвительный смех, мои колени были выпачканы

землей, а дома ждал ремень. Теперь она взрослая, а я ребенок, мне снова десять лет, и стыд давит на плечи, потому что я вновь ошибся. — Сожги их... Прощу тебя.

Лишь сейчас я заметил в глазах у нее слезы. Когда она в последний раз плакала? Не зимой, когда часами просиживала у моей постели. И не в тот вечер, когда притащила мертвецки пьяного Эдмунда. И, обнаружив меня в лесу, она тоже не плакала.

И тогда я понял. Эти чертежи принадлежали и ей тоже. Они были и ее творением. Она всегда была рядом, но я видел лишь себя. Мои исследования, мои чертежи, мои пчелы. Только сейчас я в полной мере осознал, что с самого первого дня нас было двое. Она тоже владела ими. Это были и ее пчелы тоже.

— Шарлотта. — Я сглотнул. — Ох, Шарлотта. Кем же ты считаешь меня?

Она изумленно посмотрела на меня:

— О чем ты, отец?

— О том, что... ты достойна... большего.

Шарлотта провела рукой по лбу, изумление сменилось недоумением:

— Большого? Нет...

Мне столько хотелось сказать ей. Что она заслуживает лучшего отца, такого, который будет думать о ней. Что я был идиотом, занятым лишь собой, и что она всегда, в любых моих начинаниях поддерживала меня. Но слова вдруг стали такими огромными, что произнести их я не сумел.

Меняхватило лишь на то, чтобы взять ее за руку. Этому она не препятствовала, но быстро положила другую руку на чертежи, чтобы те не унесло ветром.

Мы сидели в молчании.

Она несколько раз громко вздыхала, словно собираясь что-то сказать, но так и не решилась.

— Так думать нельзя, — наконец проговорила она, повернувшись и глядя на меня ясными серыми глазами. — Я получила то, о чем ни одна девушка и мечтать не смеет. Ни одна из знакомых мне девушек. Все, что ты показывал, о чем рассказывал, что позволил увидеть... Время, которое мы провели вместе, наши разговоры, то, чему ты учил меня... Ты для меня... Я... — Она запнулась, помолчала, а потом сказала: — Ты лучше любого другого отца.

Я всхлипнул, глядя перед собой, стараясь отыскать точку, на которой мог бы сосредоточиться, и силясь проглотить слезы.

Мы так и сидели на скамье, время шло, природа наполняла мир

своими звуками — птичьим пением, шелестом листьев, кваканьем лягушек. И еще рядом были пчелы. Их приглушенное жужжание успокаивало меня.

Шарлотта осторожно высвободила руку и сказала:

— Ты их больше не увидишь.

Она встала и, держа чертежи обеими руками, словно те не утратили своей ценности, направилась к дому.

Я глубоко вздохнул, переполненный благодарностью и облегчением. И осознанием того, что теперь все, все это осталось позади.

Я долго сидел там и смотрел на пчел. Движимые усердием, они улетали и вновь возвращались. Назад и вперед.

Без устали.

Пока не изотрутся крылья.

Джордж

Мне опять не спалось. Хотя вроде как ничего не мешало. В спальне было прохладно и тихо. И темно. А почему, кстати, тут так темно-то? Раньше светлее было. Я вспомнил про фонарь. У меня так и не дошли руки его починить. Из стены по-прежнему торчали провода, похожие на червяков с головой из изоленды. Я проходил мимо каждый день, каждый день смотрел на них, и у меня сразу же портилось настроение. Одно из множества дел, которых я не сделал. Фонарь — это пустяк, и я это понимал. Свет возле двери мне не нужен, да он никому из нас не нужен. И Эмма про фонарь тоже ни словом не обмолвилась. По-моему, она вообще про него забыла. Но торчащие из стены провода напоминали мне, что все идет не так, как должно бы, что-то не работает.

Чтобы выспаться, мне нужно семь часов. По меньшей мере семь. Я всегда завидовал тем, кто мало спит и высыпается. Тем, кто приляжет на пять часов, а проснувшись, снова рвется в бой. Я слышал, именно такие и добиваются в жизни всего, о чем только мечтать можно.

Я повернулся и посмотрел на будильник: 00:32. Когда я лег, было восемь минут двенадцатого. Эмма заснула сразу же, я тоже сперва задремал, но вскоре проснулся — сон как рукой сняло. И никак не мог найти себе места, словно матрас был утыкан иголками. Как бы я ни лег, все мне что-то мешало и кололо.

Надо заснуть. Если сейчас не усну, то завтра весь день насмарку. Может, выпить чуток?

Ничего крепкого у нас не было. Да и некрепкого тоже. Однако в холодильнике я отыскал пиво, а в буфете — стакан. Дело за открывашкой. На обычном месте — четвертом справа крючке над мойкой, между ножницами и деревянной лопаткой, — я ее не нашел. Куда же она запропастилась? Я выдвинул ящик для столовых приборов, наткнулся на штопор для вина и несколько полусгнивших аптечных резинок, но открывашки не увидел. Выдвинул следующий ящик. Эмма что, разложила тут все по-новому? Кстати, не в первый раз.

Я открывал ящик за ящиком, даже пиво в сторону отставил, обеими руками орудовал, про тишину и думать забыл. Если уж Эмме вздумалось тут все поменять, пусть потерпит! И на хрена ей столько ящиков, как только она умудрилась так забить их всяким барахлом?! И это все вроде как нужно? Пылесборники — вот что это такое! Яйцеварка, электрическая

мельница для перца, даже особое приспособление, чтобы нарезать тонкими ломтиками яйца, — вещи скапливались годами, полжизни ушло, чтобы собрать их тут. Это Эмме они в свое время зачем-то понадобились. Меня так и тянуло взять мешок для мусора, свалить туда все это дерьмо и раз и навсегда избавиться от него. Выкинуть на помойку.

Но тут открывашка обнаружилась. Валялась в большом ящике вместе с шумовками, половниками и железными венчиками, в самой глубине. Да, похоже, Эмма нашла ей новое место. Я быстро открыл пиво. Больше всего мне хотелось пойти и разбудить ее. Сказать, чтобы не смела больше перекладывать вещи. Но я сдержался и отхлебнул пива. Глотку обожгло холодом.

В животе заурчало, но шарить по кухне в поисках еды было неохота. Сил не было. Ничего, пиво тоже питательное. Усталости я не ощущал, только беспокойство. Я прошелся по кухне, вышел в гостиную, схватил пульт от телевизора. Но тут взгляд мой наткнулся на стену в столовой, и я замер.

Пройдя в столовую, я остановился перед ними. Перед чертежами. Стандартный улей Уильяма Сэведжа. Который, строго говоря, остался стандартным только для семейства Сэведж. Они висели на стене, куда солнечные лучи не доставали. Оправленные в широкие полированные рамы, на которых благодаря Эмминым стараниям не было ни пылинки. Черные линии на пожелтевшей бумаге. Цифры. Размеры. Простые описания. И ничего больше. Но история, скрывающаяся за этими чертежами, началась в момент их создания, в 1852-м. Уильям Сэведж считал стандартный улей своим величайшим изобретением, которому суждено было увековечить его имя в истории. Однако тут его обошел один американец, Лоренцо Лангстрот. Американец снял сливки — разработал мерки, положенные впоследствии в основу стандартного улья. Сэведж просто-напросто опоздал. Оно и неудивительно: ни телефона, ни мейла, ни факса у них не было, и каждый из них сидел на своем континенте, ломая голову над одной и той же задачей.

За каждым великим изобретателем плетется дюжина неудачников, и Сэведж был одним из них. Так что ни денег, ни славы он так и не дождался, да и семья его тоже.

К счастью, его женушке удалось сбегать замуж почти всех дочек. А вот с сыном, Эдмундом, дело обстояло намного хуже. С ним вообще одни проблемы были: смутьян и выпендрежник, он смолоду пристрастился к бутылке и закончил свои дни в лондонских трущобах.

Но одна дочь замуж так и не вышла. Шарлотта, самая сообразительная

из всех. Та, от которой пошел наш род. Она купила билет в один конец и перебралась за океан. На чердаке у нас до сих пор стоит ее сундук — с этим сундуком она и приехала. Она и младенец. Про отца ребенка ничего не известно. В Америку они прибыли вдвоем. И сундук привезли, со всеми своими пожитками. Когда его открываешь, пахнет сыростью и старостью. Нам сундук не нужен, но выбросить его у меня рука не поднимается. Шарлотта всю жизнь свою уложила в этот сундук. И отцовские чертежи тоже.

Тогда это все и началось. Шарлотта занялась пчеловодством. Не то чтобы серьезно, потому что она вообще-то была директрисой в школе и преподавала там же. Она завела всего три улья, но этих трех ульев оказалось достаточно, чтобы мальчишка ее вошел во вкус и, когда подрос, построил еще несколько ульев. А потом и его сын. И сын его сына. И наконец, мой дед, который основал настоящую пасеку, кормившую семью.

Проклятые чертежи!

Я что было сил засадил кулаком по стеклу. Руку пронзила боль, тотчас же растекшаяся по всему телу. Чертеж покачнулся, но остался висеть.

Убрать их отсюда. Все шесть.

Я снял их с крючков и вытащил в прихожую. Вытащил из шкафа тяжелые зимние ботинки с толстой подошвой. Натянул ботинки и выскочил во двор.

Я собирался избавиться от чертежей, попрыгать на них, хорошенько потоптаться, но тут вспомнил про Эмму. От такого шума она наверняка проснется. Я поднял голову и посмотрел на окно спальни. Темно. Значит, спит.

Я потащил чертежи дальше, открыл дверь в мастерскую и бросил их на пол. Естественно, я мог просто вынуть стекло и извлечь чертежи, но мне хотелось услышать, как трещат осколки под тяжелыми башмаками.

Я вдавил ботинок в стекло. А потом и другой. И принялся прыгать. Стекло треснуло, рамки сломались. Прямо как я себе представлял.

Затем я выковырял из осколков чертежи, надеясь, что осколки разрезали их, прорвали насквозь, но они оказались живучими. Бумага была на удивление плотной и жесткой. Я уложил их друг на дружку, стопкой. И призадумался. Сжечь их, что ли? Поднести спичку — и пусть это семейное изобретение горит синим пламенем. Нет.

Я швырнул всю стопку на верстак и уставился на нее. Беспрокие бумажки. Никакой пользы от них. И судьба у них пусть будет такая же убогая. Огонь — это им слишком жирно будет, не заслужили они его. Нет, надо еще что-нибудь придумать.

И я придумал.

Поудобнее схватившись за листы бумаги, принялся рвать их. Сперва руки у меня вроде как сопротивлялись, но я себя пересилил. Мне хотелось, чтобы полоски выходили одинаково ровными, но стопка была слишком толстой, и бумага не слушалась. Я разделил стопку на две — по три чертежа в каждой. Но так выходило слишком быстро, а я рассчитывал, что смогу как следует отвести душу. Поэтому я решил разорвать их каждый по отдельности.

Звук получился потрясающий. Бумага словно верещала: «Пощади! Пощади!»

Это было не просто приятно — это было восхитительно. Наконец-то я нашел куда себя деть. Я бы с радостью всю ночь так просидел.

Но пришлось остановиться. Если обрывки получатся чересчур маленькими, ими нельзя будет воспользоваться.

Я сгреб обрывки в охапку, оставив на полу осколки и рамы. Подождут до завтра. Захлопнув дверь, я протопал по двору, поднялся на крыльцо и открыл дверь.

Сделав несколько шагов по коридору, я распахнул первую дверь с правой стороны. Еще два шага, в полной темноте. Судя по тихому журчанию, бачок опять вышел из строя. Пора его, похоже, менять. Включать свет было неохота, поэтому я просто бросил обрывки на пол. Пускай ждут своего часа. Им самое место тут. В сортире.

Тао

Мы сидели в старомодном электромобиле, какие выпускались в двадцатые годы, когда начался бум солнечных батарей. Помню, в детстве, когда родители привезли меня сюда, на улицах полно было таких машин, в основном старых и видавших виды. Машина была просторная, черная и сверкающая, сохранилась лучше большинства. Такие автомобили редко принадлежат частным лицам и используются преимущественно теми, кто занимает какой-нибудь государственный пост. В нашем городке машины имелись только у полицейских и у медработников — например, та «скорая помощь», что увезла Вей-Веня. Эти автомобили представляли собой незамысловатые коробки на колесах, сконструированные так, чтобы тратить как можно меньше энергии. Наша же машина была больше и роскошнее. У нас в городишке подобная машина была редким гостем, и когда она важно скользила по улицам, мы разевали рты и недоумевали, что ее привело в наше захолустье.

Внутри подобной машины прежде я не бывала. Я провела рукой по сиденью, обтянутому кожзаменителем, на котором время начертило сеточку трещин. Машина была старой. Чтобы это понять, достаточно было взглянуть на обшивку, вдохнуть поселившийся в салоне запах ветхости, не выводимый никакими чистящими средствами.

Усадив меня на заднее сиденье, женщина села вперед и назвала ни о чем мне не говоривший адрес. Автопилот сохранил адрес, и машина тронулась. Я видела лишь затылок женщины. Она молчала. Мне хотелось попросить ее остановить машину, и тогда я бы выскочила и сбежала, однако я осознавала бессмысленность этой идеи. Женщина не оставила мне выбора. По ее взгляду я поняла: непослушание обойдется мне дорого.

К тому же... Возможно, она везет меня к Вей-Веню. А разве есть для меня что-то важнее?

Мы ехали почти час. В центре нам встретилось несколько машин, но затем по совершенно пустой дороге. Светофоры не работали, и автомобиль мчался без остановок. Судя по дорожным указателям, мы двигались в сторону Шуньи. В этом районе я не бывала, но дома вокруг явно принадлежали в свое время людям состоятельным. Большие, но невысокие строения, двух- или трехэтажные, прятались в огромных садах. Когда-то выглядело все это внушительно, но сейчас здания обветшали, а сады заросли. Показался пустырь, бывший когда-то полем для гольфа. Теперь

его заполнили сорняки, хотя один из углов был вспахан. Почва тут наверняка хорошая, плодородная, и я удивилась, почему в этих краях ничего не выращивают. Наверное, все уехали, решила я, и заниматься этим некому.

Машина наконец остановилась. Открыв дверцу, моя спутница вышла и жестом велела следовать за ней.

Я стояла на площади с некогда роскошным фонтаном посередине. В чаше лежала каменная птица — кажется, журавль. Возможно, она упала от старости, а может, ее сломали вандалы. Рядом не было ни единой машины, только ветер свистел в разбитых окнах — так посвистывает сама земля, медленно и уверенно избавляющаяся от человеческой цивилизации.

Сверху слышались голоса, и я подняла голову. На крыше высокого здания стояли двое — я видела их силуэты и слышала голоса, но слов не разобрала. В руках они что-то держали, а потом выпустили, и по воздуху проплыли два темных пятна, они удалялись в сторону центра. Я читала о летающих аппаратах на дистанционном управлении. В прежние времена их называли дронами. Значит, это они? И за кем они будут следить? Я поехала: а вдруг я, ни о чем не подозревая, тоже была объектом слежки? Тогда обо мне уже немало известно.

— Сюда, — сказала женщина.

Таблички на двери не было, и о назначении здания ничто не сообщало. Женщина приложила руку к стеклянной пластине на стене, так чтобы каждый из пяти пальцев коснулся определенной точки, и две высокие двери раздвинулись в стороны. Они работали на электричестве, хотя у меня и сложилось впечатление, будто этот район давно отключен от станции.

Шагнув за ней, я вздрогнула, едва не натолкнувшись на молодого охранника. Потом заметила еще нескольких охранников, тоже в форме. Они коротко поприветствовали мою спутницу, та кивнула в ответ и быстро двинулась дальше.

Мы пересекли просторный холл и оказались в большом офисе. Люди тут были повсюду — после нескольких недель, проведенных в пустынном городе, они казались мне ненастоящими. И все походило на молодого охранника у входа — ухоженные, аккуратные, не измученные физической работой и солнцем. Люди были погружены в работу: одни сидели перед гигантскими мониторами, другие что-то тихо обсуждали, расположившись в креслах или вокруг столов.

Здесь все было на виду. Стеклянные стены ничего не прятали, помещение просматривалось насквозь, но звуков я почти не слышала, их приглушали толстые ковры и громоздкая мебель. Несколько раз я едва не

упала, споткнувшись о небольшие круглые пылесосы, ползающие по полу и втягивающие невидимую пыль.

Сюда разруха не добралась, я будто попала в прошлое. Женщина наконец остановилась. Мы уперлись в стену — первую настоящую стену, сделанную не из стекла, а из темного полированного дерева. Посреди стены была дверь, будто вырезанная. Моя спутница постучала. Прошло несколько секунд, затем раздалось тихое жужжание и дверь открылась.

Вей-Вень. Он здесь? Меня затрясло.

— Пожалуйста, проходите. — Женщина кивнула на открытую дверь.

Я нерешительно переступила порог.

За спиной послышалось жужжание и щелчок. Дверь закрылась. Я оказалась взаперти.

Комната была большой и светлой, но без окон. На полу здесь тоже лежал ворсистый ковер, стены закрывали тяжелые портьеры, до самого пола. За ними и впрямь стены? Или это декорации и там еще одна комната, а в ней — люди? Почудилось — или справа какое-то движение? Я быстро повернулась. Но нет, портьера висела неподвижно. По сравнению с тишиной в этой комнате приглушенный гул там, в офисе, казался теперь ужасающим шумом. Может, так и задумано, чтобы никакие звуки сюда не проникали? И никто не слышал тех, кто находится внутри... От этой мысли сердце мое заколотилось быстрее.

Портьеры справа зашуршали и отодвинулись в сторону, а из-за них вышла пожилая женщина. Она приветливо улыбнулась мне. В ней было что-то невероятно знакомое — посадка головы, узкий воротник-стойка, сеточка морщин вокруг глаз. Я много раз ее видела, но так близко — никогда.

Передо мной стояла Ли Сьяра, руководитель Комитета, единственного в нашей стране органа власти.

Я отшатнулась, но она улыбалась.

— Мне жаль, что нам довелось встретиться таким образом, — тихо заговорила она, — но нам давно пора побеседовать с вами. — Она положила руку на спинку кресла. — Пожалуйста, присаживайтесь. — Не дожидаясь меня, она опустилась в кресло напротив. — Знаю, у вас много вопросов. Приношу свои извинения, что не смогла сама приехать за вами. И надеюсь, что нам удастся разобраться во всем. — Она говорила мягко и размеренно, как по писаному.

Наши лица находились вровень, я не могла отвести от нее глаз. Сейчас, без медиафильтров, ее лицо выглядело таким беззащитным, близким и настоящим.

Дыхание у меня перехватило. Эта женщина... За какие решения она несет ответственность? Что у нее на совести? Вымершие города? Судьба паренька из ресторана? Обреченные на смерть старики? Похожие на призраков полу-дети, которых отчаяние вынуждает охотиться на людей?

Моя собственная мама?

Нет. Нельзя об этом думать, надо гнать эти вопросы, ей известно больше моего, как я могу судить.

— Я была бы признательна, если бы вы рассказали, почему я здесь. — Я изо всех сил попыталась скопировать ее манеру говорить.

Она задумчиво смотрела на меня:

— Сперва вы немало докучали нам.

— Но...

— Особенно когда приехали в Пекин. — Ли Сьяра на секунду умолкла. — Но потом... Мы действительно собирались связаться с вами, нам не хотелось, чтобы вы, вы оба, так долго пребывали в неведении. Но сперва нам требовалось убедиться.

— В чем убедиться?

Она подалась вперед, словно желая стать ближе ко мне:

— И теперь сомнений у нас не осталось. (Я молчала. От ее спокойного тона во мне пробудилась ярость, но мои вопросы явно бесполезны.) И возможно, все обернулось к лучшему. Хорошо, что вы сами отыскиали ответ.

Стараясь сохранить спокойствие, я вздохнула и проговорила:

— Я не понимаю, о чем вы.

— Мы стоим на пороге новой эпохи, и в ней вам уготована особая роль. Мы надеемся, что вы от нее не откажетесь.

— Да о чем вы толкуете?

— Об этом вам еще предстоит услышать. Для начала я попросила бы вас рассказать, что, по вашему мнению, произошло с вашим сыном. К чему вы пришли?

Невероятным усилием я взяла себя в руки. Это был приказ, и я могла лишь повиноваться ему. А если откажусь — что тогда?

— То, что случилось с Вей-Венем, будет иметь последствия не только для меня, — медленно проговорила я, — и не только для него.

Она кивнула:

— Еще что-то?

— Думаю, что именно поэтому вы и забрали его. То, что с ним случилось... после этого многое может измениться. (Ли Сьяра молчала.) Где он? — взмолилась я. — Больше мне ничего неизвестно!

Она безучастно глядела в пустоту и не отвечала.

Внутри у меня будто что-то взорвалось, я больше не могла выносить ни молчания, ни спокойного назидательного тона, ни игры в угадайку, ни невозмутимого взгляда, ни полуулыбок, которые у меня не получалось истолковать.

— Я больше ничего не знаю! — Один прыжок — и я оказалась подле нее.

Она сжалась.

Я схватила ее за плечи, и впервые за все время выражение лица у нее изменилось: сквозь толстый кокон равнодушия проступил страх.

— Где Вей-Вень? — кричала я. — Где он? Что с ним? — Я пыталась вытащить ее из кресла. — Я больше так не могу! Ясно вам? Это мой ребенок!

Мое тело, привыкшее к физическому труду, было крепким и выносливым, вырваться она не сумела бы, я встряхнула ее за плечи и швырнула на дверь. Раздался глухой удар, ее лицо скривилось, я наконец-то пробудила в ней что-то, но остановиться уже не могла и не переставая кричала:

— Где Вей-Вень?! Куда вы его дели?!

В комнату ворвались охранники, набросились на меня сзади, оттащили меня от нее, швырнули на пол, не давая подняться. Я разрыдалась.

— Вей-Вень... Вей-Вень... Вей-Вень...

Ли Сьяра стояла рядом, вновь невозмутимая и спокойная. Она поправила одежду и отдышалась.

— Отпустите ее.

Охранники неохотно ослабили хватку, но я осталась сидеть на полу, скрючившись. У меня не осталось сил. У меня ничего не осталось. Ли Сьяра медленно склонилась надо мной, положила руку мне на затылок, медленно провела ладонью по моей щеке и, взяв за подбородок, заставила меня поднять голову. Наши взгляды встретились.

А потом она кивнула.

* * *

Он лежал на белой простыне в залитой электрическим светом палате. Он спал. Укрытый одеялом, так что видна была лишь голова. Личико было пухлым, и все же он слегка осунулся. Под глазами залегли глубокие тени. Я подошла ближе и увидела, что с одной стороны голова у него обрита. Я сделала еще шаг и поняла почему. Кожа за ухом, почти по линии роста

волос, покраснела. Вокруг места укуса. Я подавила в себе желание броситься к нему. Кроме меня, тут никого не было, но я знала, что они наблюдают. Они всегда наблюдали за мной. Однако на месте я осталась не поэтому.

Пока меня отделяли от него два метра, можно было по-прежнему думать, что он спит.

Я могла считать его спящим и не замечать кристаллов льда, подбирающихся к ножкам его кровати.

Я могла считать его спящим и не замечать облачка пара, появлявшегося передо мной каждый раз, когда теплый воздух покидал мои легкие.

Я могла считать его спящим и не замечать, что возле губ Вей-Веня такого облачка не было, что над его кроватью, над белой простыней, воздух, холодный и чистый, застыл, как стекло.

Джордж

ОТИМ-ХИЛЛ, ОГАЙО, США

2007

Возле дома Гарета пахло паленым. По двору полз сладковатый запах горячего меда и бензина, ударивший мне в нос, едва я открыл дверцу машины. Гарет стоял, повернувшись ко мне спиной и глядя на большой костер. Пламя взмывало на несколько метров вверх. Он побросал ульи как попало, даже друг на друга не поставил. Огонь гудел, трещал и пощелкивал. Я вдруг подумал, что огонь радуется. Он словно живет своей жизнью. И ему нравится уничтожать дело чьей-то жизни. Гарет сжимал в безвольно висящей руке канистру из-под бензина. Может, он вообще про нее забыл?

Он обернулся и увидел меня, но, похоже, не удивился.

— Сколько? — спросил я, кивнув на костер.

— Девяносто процентов.

Не ульи, не семьи, а проценты. Как будто речь шла о бухгалтерии. Вот только глаза его говорили другое.

Он отошел в сторону и поставил было на землю канистру, но тут же вновь схватил ее — видать, понял, что не дело оставлять ее посреди двора.

Лицо у него покраснелось, кожа так высохла, что готова была вот-вот растрескаться, а шею обметало сыпью.

— У тебя как? — Он поднял голову.

— Почти все.

Он кивнул.

— Ты их сжег?

— Не знаю, стоит ли.

— Использовать их нельзя, ты чего. Они теперь насквозь провоняли.

Гарет был прав, от ульев пахло смертью.

— Я думал, эта зараза сюда не доберется, — сказал он.

— А я думал, это от плохого ухода, — сказал я.

Гарет растянул губы в подобие улыбки:

— И я.

Глядя на него, я вспомнил, как мальчишкой он стоял на школьном дворе, перед ним валялся его выпотрошенный рюкзак, а рядом — порванные учебники и сломанные карандаши, втоптаные в грязь, изгвазданные. Но он тогда не сдался — не заревел даже, просто на корточки присел, собрал книжки, вытер рукавом, сгреб карандаши и сунул все в рюкзак, как проделывал сто раз до этого.

Уж и сам не знаю почему, но я вдруг сжал его руку чуть выше локтя.

И он наклонил голову, лицо словно раскисло.

Из груди у него вырвались три громких всхлипа.

Тело затряслось, напряжилось, будто готовое взорваться. Я крепко держал его, но Гарет взял себя в руки.

Три всхлипа — и все.

Потом он выпрямился и, не глядя на меня, провел тыльной стороной ладони по глазам. В эту самую секунду налетел ветер, дым от костра повалил прямо на нас, и слезам уже ничто не мешало.

— Вот сучий дымище, — сказал я.

— Угу, — поддакнул он, — сучий дымище.

Мы немного постояли молча, Гарет мало-помалу пришел в себя, и на лице его заиграла обычная ухмылка.

— Ну так чего, Джордж, зачем пожаловал?

* * *

Гарет не соврал. Ульи приехали быстро. Элисон, и глазом не моргнув, подтвердила мне кредит, и всего через два дня на двор въехал серый грузовик, из которого вылез хмурый тип, спросивший, куда ставить ульи.

Я и спохватиться не успел, как он выгрузил их и молча протянул мне листок бумаги для подписи.

И вот они стоят на лугу — жесткие и такие же серые, как доставивший их грузовик. И пахнут краской. Их полным-полно. И друг от друга не отличаются. Меня передернуло, и я отвернулся.

Только бы пчелы не заметили разницы.

Хотя они, ясное дело, заметят.

Они все замечают.

Tao

Парнишка поставил передо мной тарелку с жареным рисом. В прошлый раз в нем попадались кусочки овощей и омлета, но сегодня рис был лишь слегка сдобрен искусственным соевым соусом. От запаха в носу засвербело, и я отшатнулась, иначе меня вырвало бы. Последние дни я почти не ела, хотя денег Сьяра дала мне достаточно. Больше, чем достаточно. Но ничего, кроме сухих галет, проглотить я не могла. Каждая клетка моего тела пылала огнем, во рту пересохло, кожа на руках потрескалась. Я страдала от обезвоживания — возможно, потому, что пила недостаточно воды, а может, из-за постоянных слез. Я выплакала их все, больше не осталось, выплакала себя досуха, под аккомпанемент голоса Сьяры. Она навещала меня каждый день, говорила и говорила, объясняла и убеждала. Время шло, и постепенно ее слова начали обретать смысл. Я хваталась за них почти с жадностью, возможно *желая* уловить их смысл, желая следовать за ней и положить конец собственным мыслям.

— Вы слишком любили его, — сказала она.

— Разве можно любить слишком?

— Вы были такой же, как и все остальные родители. Хотели, чтобы у вашего ребенка было все.

— Да. Я хотела, чтобы у него было все.

— А это слишком много.

В какой-то миг, на секунду, мне могло почудиться, будто я понимаю. Но потом все превращалось в бессмыслицу, она произносила лишь слова, а мысли мои занимал Вей-Вень. Вей-Вень. Мой малыш.

Вчера она приходила в последний раз. Она сказала, что эта беседа — последняя. Мне пора возвращаться домой и забыть о собственной скорби. Передо мной стояли другие задачи. Сьяра хотела, чтобы я говорила. Рассказывала о Вей-Вене. О том, что пчелы вернулись. О нашей цели — моей и ее, о том, что мы начнем разводить их, культивировать, создадим все условия для того, чтобы все поскорее стало как прежде. Вей-Вень станет символом, сказала она. А я — скорбящей матерью, у которой хватило сил поднять голову и пожертвовать собственной скорбью ради других. *Посмотрите: я потеряла все, и я иду вперед. Значит, у вас тоже получится.* Она не оставила мне выбора, и я отчасти понимала почему. Я понимала, что она действует так, как должна. Как, по ее мнению, должна действовать. Сама же я сомневалась, сумею ли, получится ли у меня то,

чего она требует.

Потому что кроме него ничто не имеет смысла. Его лицо. Наши лица — мое и Куаня, а между нами — Вей-Вень. Он смотрит на нас. *Еще! Еще! Раз, два, три — прыг!* И красный шарф, которым играет ветер.

Завтра я уеду. А Вей-Веня оставят здесь. Возможно, позже мне разрешат похоронить его. Но это уже неважно. Маленькое холодное тело, укрытое холодным одеялом, — это не он. Не таким было его лицо, которое я непрестанно пыталась вспомнить.

Я пододвинула тарелку пареньку:

— Вот, поешь.

Он с недоумением посмотрел на меня:

— А вы? Вообще есть не хотите?

— Нет. Я заказала это для тебя. (Парнишка нерешительно переступил с ноги на ногу.) Садись. — В моем голосе прозвучала мольба.

Он быстро выдвинул стул, подтянул к себе тарелку и, окинув ее почти счастливым взглядом, принялся жадно поедать рис. На него было приятно смотреть. Он жив — и я радовалась этому. Я сидела и глядела, как он, почти не жуя, глотает рис и тут же набивает рот снова. Утолив самый острый голод, парнишка чуть успокоился и, словно вспомнив о правилах приличия, стал есть медленней.

— Спасибо, — тихо поблагодарил он.

Я улыбнулась.

— Вы решили что-нибудь? — спросила я, дождавшись, когда он расправится с едой.

— Что именно?

— Как поступите дальше. Останетесь здесь?

— Не знаю. — Он уставился в поверхность стола. — Я знаю только, что папа каждый день раскаивается, что остался. Мы думали, что здесь с нами ничего плохого не случится, что наше место именно тут, но потом все изменилось. Сейчас вся наша жизнь — сплошное расстройство.

— Может, вам стоит переехать?

— Куда? Денег у нас нет, и ехать тоже некуда.

Меня вновь накрыло бессилие. И тут я тоже не в силах ничего изменить.

Хотя нет. Здесь еще не все потеряно. Кое-что предпринять я все же могу и, возможно, сумею кому-то помочь.

Я подняла голову:

— Поехали со мной.

— О чем вы? — Он недоверчиво смотрел на меня.

— Я уезжаю. Поехали со мной.
— Вы возвращаетесь домой?
— Да. Я еду домой.
— Но... нам же нельзя — они не позволят. И работа... Там найдется для нас работа?
— Я помогу вам, обещаю.
— А с едой там как?
— Лучше, чем здесь.
— Вон оно что... — Он отложил палочки. На тарелке лежало одинокое рисовое зернышко. Заметив его, паренек взялся было за палочки, но перехватил мой взгляд и быстро вернул их на место.
— У вас нет выбора, — тихо сказала я. — Здесь вы умрете.
— Да какая разница? — Он отвел глаза, в голосе его я услышала отчаянье.
— Что ты такое говоришь? — выдавила я. Нет, только не он, нельзя, он еще совсем молодой.
— Какая разница, что с нами будет? — пробормотал он, не глядя на меня. — Со мной, с отцом... Какая разница, где мы живем? Здесь, вместе. Или поодиночке. Все это неважно. — Голос у него вдруг сел. Парнишка откашлялся. — Все это уже неважно. Неужели вы и сами не понимаете?
Ответ не придумывался. Он говорил то же, что и Ли Сьяра, но смысл выворачивался наизнанку. *Каждый по отдельности, мы не имеем никакого значения.* Но если она говорила о единстве, то он — об одиночестве.
Я встала. Хрупкая надежда, за которую я хваталась, грозила вот-вот разбиться. Стараясь не смотреть на парнишку, шагнула к двери.
— Собирайтесь, — тихо сказала я, — завтра уезжаем.

* * *

Я вытащила из шкафа сумку. Времени на сборы понадобилось совсем чуть-чуть. Одежда, туалетные принадлежности, вторая пара обуви. Я прошла по комнате — убедиться, что ничего не забыла. И наткнулась на них. Книги. Они целую неделю здесь лежали, но я их не замечала, они превратились в часть комнаты. Книги громоздились стопкой на столе, и я не прикасалась к ним с того вечера, когда меня увезли в Комитет, я так и не открыла ни одной из них, зная, что слова, как и все прочее, теперь лишились смысла.

Надо вернуть их. Возможно, еще успею в библиотеку. Но ноги словно

вросли в пол, я прижимала стопку книг к себе, ощущая липкую гладкость нижней обложки.

Положив книги на кровать, я взяла в руки ту, что лежала снизу. «Слепой пасечник». В детстве мне так и не довелось дочитать ее до конца. И я открыла ее.

Джордж

У Эммы опять глаза на мокром месте. Она картошку чистила, повернулась ко мне спиной, а слезы у нее из глаз прямо градом хлынули, но Эмма даже не пыталась их унять и только тихонько всхлипывала время от времени. Она вообще в последние дни то и дело ревела, как на похоронах. Чем бы ни занималась — полы мыла, еду готовила или зубы чистила, — в любой момент могла расплакаться. И каждый раз мне хотелось убраться оттуда подальше, так что я находил оправдания и смывался.

К счастью, дома я торчал мало, с утра до вечера вкалывал. Рик с Джимми теперь на меня тоже целыми днями работали. Деньги, те, что я в кредит взял, таяли на глазах. Я уже и счет проверять перестал — сил не было смотреть, как мы беднеем. Работа нас спасет. И только работа. Не попотеешь — не заработаешь. Что-то еще можно было сохранить и вырученными деньгами расплатиться с банком, хотя бы отчасти.

Я худел, терял граммы, которые складывались в килограммы. День за днем. И ночь за ночью, потому что спал я скверно. Эмма все пеклась обо мне, вкусно готовила, украшала еду узорами из огурцов и морковки, но толку от этого было мало. Вкуса я не чувствовал, еда вставала в глотке опилочным комом, ел я просто потому, что деваться было некуда, иначе я просто выдохся бы. Я знал, что Эмма хотела бы каждый день подавать к ужину мясо, но она сэкономила. Мы ведь оба видели, как потихоньку беднеем, хоть и помалкивали об этом.

В последнее время мы вообще почти не разговаривали. И творилось с нами что-то не то. Я скучал по Эмме, и она вроде как была рядом, но, с другой стороны, совсем от меня отдалилась. Хотя, может, это я находился где-то не здесь.

Эмма шмыгнула. Мне захотелось обнять ее, как прежде, но что-то мне мешало. Ее слезы превратились в гигантский водопад, и теперь мы с ней стояли по разные его стороны.

Я попытлся, надеялся, что выскользну за дверь, а она и не заметит.

Но она вдруг обернулась:

— Ты же видишь, что я плачу! (Я не ответил — не нашелся.) Иди сюда, — тихо позвала она.

Она впервые меня об этом попросила. Но я не двинулся с места.

Эмма ждала, зажав в одной руке картофелечистку, а в другой — картошку. Я тоже ждал. Надеялся, что пережду и она сама успокоится. Но

на этот раз вышло иначе.

Она тихо всхлипнула:

— Тебе плевать.

— Что за чушь. Разумеется, нет, — возразил я, но глаза отвел. Она протянула ко мне руки. — Чего реветь-то? Легче от этого все равно не станет.

— Но если мы не будем друг друга утешать, то станет еще тяжелее. — Она, по своему обыкновению, перевернула мои слова с ног на голову.

— Оттого что я сейчас начну тебя утешать, ульев у нас не прибавится, и пчел тоже, и маток. И меда.

Она уронила руки и отвернулась.

— Иди работай. (Но я стоял на месте.) Иди работай! — повторила она.

Я сделал шаг к ней. И еще один. Отсюда я вполне дотянулся бы до ее плеча. Запросто. И это помогло бы. Нам обоим.

Я протянул руку, но Эмма этого не заметила — она уже выудила из раковины с грязной водой следующую картофелину и, привычно орудуя картофелечисткой, соскабливала кожуру, как сотни раз прежде.

Вытянув руку, я стоял посреди кухни, еще немного — и я бы дотянулся до Эммы.

И тут зазвонил телефон.

Рука у меня опустилась, я вышел в коридор и снял трубку.

Молодой женский голос поинтересовался, нельзя ли поговорить со мной. Я ответил, что она уже со мной разговаривает.

— Это Ли посоветовал к вам обратиться, — сказала она, — а с ним мы вместе в школу ходили.

— Ясно.

Значит, голос меня обманул и она вовсе не такая молодая.

Говорила она быстро, и язык у нее был подвешен хорошо. Сказала, что работает на телевидении и что они снимают фильм.

— О СРПС.

— И что?

— О Синдроме разрушения пчелиных семей. — Она проговорила это медленно и четко.

— Я в курсе, что такое СРПС.

— Мы работаем над документальным фильмом, в котором рассказываем о гибели пчел и о том, к каким последствиям это может привести. А вам ситуация знакома не понаслышке.

— Это вам Ли рассказал?

— Мы хотим положить в основу фильма личные истории.

— Личные истории? А-а, понятно.

— Мы могли бы как-нибудь приехать к вам, чтобы вы показали нам пасеку и рассказали о том, что чувствуете?

— Рассказать, что чувствую? Да особо и рассказывать нечего.

— Нечего? Ну как же! Наша цель — это как раз показать, как катастрофа влияет на каждого из нас, как она разрушила дело всей вашей жизни. Ведь с вами именно это и произошло, верно? И что вы теперь ощущаете?

— Дело всей моей жизни? Да все с ним в порядке! — выпалил вдруг я. Ее тон мне отчего-то не понравился. Она словно с увечной собакой разговаривала.

— Вот как? А я так поняла, вы потеряли всех ваших пчел, разве нет?

— Это верно, но я уже новых завел.

— Ах вот как... — Она умолкла.

— Летом рабочие пчелы живут всего несколько недель, — сказал я. — Новые ульи завести — дело нехитрое.

— Понятно. Значит, сейчас у вас уже появились новые ульи?

— Так и есть.

— Отлично! — обрадовалась она.

— Это почему?

— Вы нам пригодитесь. Просто чудесно! Вас устроит, если мы приедем на следующей неделе?

* * *

Я повесил трубку. Ладонь вспотела. Меня покажут по телевизору. Я им «пригожусь». Отвертеться не вышло. Я, конечно, попытался, но она меня уболтала. Спорить с ней оказалось даже хуже, чем с Эммой.

Государственный телеканал. Вся Америка увидит. Боже ж ты мой.

На пороге появилась Эмма с полотенцем в руках. Глаза у нее были красные, но, к счастью, сухие.

— Кто звонил?

Я объяснил, с кем говорил и чего они хотели.

— Интервью? Про пчел? Почему мы должны им что-то рассказывать?

— Не мы. Они хотят поговорить только со мной.

— А почему ты согласился?

— Потому что таким образом мы можем изменить ситуацию. И возможно, власти предпримут определенные меры. — Я осекся, поняв, что

заговорил точь-в-точь как та журналистка.

— Но почему мы?

— Не мы. Я, — резко бросил я и отвернулся.

Вопросы, слезы, переживания — хватит с меня всего этого.

На меня вдруг опять навалилась усталость. Впервые за несколько месяцев. Впервые с тех пор, как Том приезжал сюда зимой. Меня вновь накрыло. Будь моя воля — я улегся бы прямо там, на полу в коридоре, и уснул. Деревянные доски так и манили. Я вспомнил про термометр с медвежатами, про смешной писк, который он издавал. Вот бы у меня сейчас температура подскочила! Тогда я залег бы в постель, уткнулся в подушку и накрылся теплым одеялом. А температура бы держалась и никак не сбивалась.

Но лечь нельзя. Да и садиться тоже.

Потому что там, на лугу, меня ждали улы. Пустые и серые. И слишком легкие. Пора их заселять. Кроме меня с этим никому не справиться. Скоро меня покажут по телевизору. Значит, надо, чтобы все увидели — я в порядке. И никакой Синдром меня не сломил.

Комбинезон висел на крючке, на своем обычном месте, на полке лежали шляпа и сетка. Под комбинезоном стояли сапоги, и со стороны все это напоминало тощее, вжавшееся в стенку привидение. Я снял с крючка комбинезон и стал переодеваться — застегнул молнию, проверил, чтобы нигде не осталось просветов и зазоров.

— Да ведь обед почти готов! — сказала Эмма. Опустив руки, она смотрела на меня.

— Попозже поем.

— Но я пудинг приготовила. С мясом.

— У нас микроволновка есть.

Нижняя губа у нее задрожала, но Эмма сдержалась и лишь смотрела, как я надеваю шляпу и цепляю к ней сетку.

* * *

Я поехал на луг в Алабаст-Ривер, где и провел остаток дня. Сперва работал. Погода была до омерзения хорошая. Меня даже досада взяла. Солнце медленно ползло на запад, прямо передо мной раскинулся цветущий луг. Ни дать ни взять картинка для календаря.

Но мне что-то стало совсем тошно. Руки словно парализовало, усталость никак не отпускала. Сил хватало только на то, чтобы нарезать

круги у новых ульев. Пустых. Серых. Составленных в здоровенную башню.

Я бродил, пока не заметил возвращающихся домой пчел. Природа затихала.

Лишь тогда я направился на другую сторону луга. Ноги сами меня туда понесли. К старым, выкрашенным в леденцовые цвета ульям. К тем, в которых по-прежнему теплилась жизнь.

Почему именно эти семьи выжили? Кто решил, что жизни достойны именно эти?

Запахавшись, я остановился возле желтого улья. Каждый раз, когда я проверял улей, внутри у меня все сжималось. Я боялся, что это повторится. Представлял себе пустой улей, в котором только матка и несколько совсем молодых пчел.

С этим ульем тоже что-то было не так. Уж слишком тихо. Я посмотрел на леток. Всего пара пчел. Мало.

Силы мне отказали.

Но выбирать не приходилось.

Закрыв глаза, я ухватился за крышку. И потянул ее наверх. Жужжание едва не сбilo меня с ног. Почему же я его не слышал? Почему не понял, что с пчелами все хорошо? Что жизнь в улье идет на сто процентов так, как должна? Пчелы занимались своими обычными делами. Некоторые даже танцевали. Я высмотрел ярко-бирюзовую точку на спине одной из них. Матка. Посмотрел на расплод. На прозрачный золотистый мед. Они работали. Они жили. И они никуда не делись.

В глазах потемнело. Усталость меня доконала, и я осел на траву. Земля была теплая, а трава мягкая. Глаза закрылись сами собой.

Но я не уснул. Грудь вдруг сдавило. Похоже, Эммин водопад добрался и до меня. Вода поднималась. Она уже плескалась возле самых моих ног.

Я сглатывал комок, но вдохнуть не получалось. Я тонул. Но сдаваться не желал. Поэтому поднялся на ноги и уставился на копошащихся в улье пчел. Они вели свою обычную борьбу за потомство, за пыльцу, за мед.

Эти тоже умрут. Что бы я теперь ни делал — все умрет. Каждый раз, открывая улей, я буду испытывать то же чувство, независимо от того, живы пчелы или нет. Тогда какой во всем этом смысл?

Какой тогда смысл?!

Мышцы напряжились. И, вложив всю силу в одну ногу, я ударил.

Улей повалился на землю, и пчелиный рой взмыл вверх.

Я встряхнул улей, пластины упали на землю. Теперь пчелы были повсюду, злые и до смерти перепуганные. Им хотелось расквитаться со мной, а я топтал ногами расплод, уничтожал их потомство. Но звук

выходил глухой, я едва слышал его. Не то что на стекле прыгать. Впрочем, это меня не остановило. Уничтожить их. Растоптать. Оторвать крылья. Как они уничтожили меня.

А потом до меня вдруг дошло. Это же так просто!

Нам ничего не стоит уничтожить друг друга.

Вокруг меня вился рой разъяренных пчел. Которые только и ждали, как бы изжалить меня.

Проще и не придумаешь.

Я поднял руку к сетке на лице.

Надо только снять ее.

Потом сбросить шляпу.

Стянуть перчатки.

Дернуть вниз молнию и выскочить из комбинезона. Разуться.

А дальше уж дело за пчелами.

Защищаясь, они примутся жалить, отдавая свою жизнь в обмен на мою. И на этот раз отца рядом нет. Некому схватить меня в охапку, помчаться через весь луг к реке, а там занырнуть вместе со мной под воду и дожждаться, когда пчелы утихомируются.

На этот раз я упаду. И уже не встану. Яд попадет в кровь, но они все будут жалить, а если вдруг перестанут, то я начну дрыгать ногами, провоцировать их, пока сил хватит.

Я дам им возможность расквитаться. Они ее заслужили.

И тогда все закончится.

Так и сделаю.

Прямо сейчас.

Я ухватился за сетку. Сквозь грубые перчатки ее тонкий материал почти не прощупывался.

Я потянул сетку наверх.

Ну же!

Вот только...

Какое-то движение позади меня, на лугу. И чьи-то крики.

Ко мне кто-то шел.

Сначала медленно, потом быстрее. И кричали громче. Белый рабочий комбинезон. Шляпа с сеткой. Оделся как на работу... Опять явился без предупреждения. Хотя, может, Эмма и знала.

Приехал. Неужто навсегда?

Он уже бежал. Заметил меня и понял, что я задумал?

Его крики будто протыкали плотный вечерний воздух:

— Папа?! Папа!

Tao

Я вставила ключ в замочную скважину и распахнула дверь, меня встретила сумрачная вечерняя пустота. За моей спиной стояли отец с сыном. Куртки Куаня на вешалке не было. Ботинок тоже.

Я приоткрыла дверь в ванную.

Его полка над раковиной опустела. Лишь белые потеки там, где прежде лежала бритва.

Он уехал, ни слова не сказав. Потому что сам захотел? Или думал, что этого хочется мне? Потому что я напоминала ему о Вей-Вене, подобно тому как все в нем самом напоминало о Вей-Вене мне?

Потому что считал меня виноватой?

Еще один человек, исчезнувший из моей жизни. Но на этот раз искать его мне нельзя. Нельзя расспрашивать о нем или пытаться связаться с ним. Это его выбор, и у меня нет никакого права задавать вопросы. Потому что виновата по-прежнему я.

Отец с сыном стояли в коридоре и вопросительно смотрели на меня. Надо что-то сказать им.

— Можете занять спальню.

Поставив в сторону сумку, я постелила себе в гостиной, прислушиваясь к голосу паренька. Он обсуждал детали, дальнейшую жизнь, и это давало ему силы. Он снова обрел будущее. Тьма у него внутри рассеялась. Или, возможно, я чересчур много попыталась вложить в сказанные ему слова. Попыталась вложить в них все то, что принадлежало мне самой.

Я подошла к окну. Ограда никуда не делась. В воздухе кружил вертолет. Пчелы были взаперти, словно в коконе, чтобы ни одна не вылетела, пока их не станет больше, намного больше, пока люди не научатся контролировать их. Так задумала Сьяра.

Она надеялась одомашнить их. Надеялась, что они спасут нас. Ей хотелось приручить их, подобно тому как она приручила меня. И я не противилась. Так было проще. Повиноваться ей и не думать.

Паренек засмеялся. Я впервые слышала его смех, такой молодой и радостный. Значит, мне удалось отдать им что-то, ему и его отцу. Смех звучал все громче, и мне вдруг стало легче дышать. Когда эти стены в последний раз слышали смех?

Я оглянулась на дорожную сумку, внутри лежала книга, которую я так

и не сдала в библиотеку и прочла до конца, от корки до корки. Теперь все эти слова навсегда со мной, но что с ними делать, я не знаю. Это настолько больше меня, что у меня не хватает сил.

* * *

Они приводили в порядок площадь, расчищали место, строили сцену, устанавливали камеры. Там работали сразу несколько бригад, а речь мою будут транслировать по всему миру. Энергичная женщина-администратор, заправлявшая работой, велела поставить на сцене огромные корзины с только что собранными грушами. Все эти символы казались мне чересчур тяжелыми, но, возможно, именно так и нужно было.

Мне подобрали гардероб — ко мне явилась женщина с целым ворохом одежды. Ничего особенно роскошного, но все совершенно новое. Простые крой и ткань, немного похоже на прежнюю форму Партии. Слово для того, чтобы напомнить зрителям, что я — одна из них, из народа. Ткань производила впечатление тяжелой, однако оказалась мягкой.

— Это хлопок, — сказала женщина, — переработанный хлопок.

Одежду из хлопка я не носила никогда в жизни. Чтобы купить метр такой ткани, мне нужно месяц работать. Я выбрала синий костюм. Ткань дышала, я почти не ощущала ее. Я оделась и посмотрела в зеркало. Костюм мне шел. Теперь я выглядела как одна из них. Как она, Ли Сьяра, и уж никак не походила на работницу из фруктового сада. На ту, кем я должна была оставаться всю жизнь.

Костюм преобразил меня, превратил в ту, чьей помощи ждала Сьяра. Я повернулась и посмотрела в зеркало через плечо. Пиджак прекрасно сидел, брюки были как раз впору. Я потянула за рукав — ровно той длины, какая и нужна.

Я перехватила свой взгляд. Мои глаза... Как же они похожи на его глаза. И кто я такая? Я отвернулась. У Вей-Веня не было одежды из хлопка. Никогда. У него не было одежды из хлопка, и его маленькая жизнь ничего не значила.

Я заставила себя поднять голову и снова посмотреть в зеркало. На меня смотрела полезная дурочка.

Нет.

Воротник вдруг сдавил мне горло. Я сбросила пиджак, стянула с себя брюки, оставив их лежать на полу.

Я не хочу, чтобы все это было впустую. И я знаю, что надо делать.

Надела свои старые свитер и брюки, обулась.

Затем схватила стоявшую на полу сумку, открыла дверь и вышла на улицу. Отыскав администратора, я остановила ее и спросила:

— Где Ли Сьяра? Мне надо поговорить с ней.

* * *

Я нашла ее в здании городской администрации, где ей отвели самый просторный кабинет. При моем появлении охранник выпроводил троих мужчин, хотя совещаться они, судя по всему, еще не закончили.

Сьяра поспешно встала и двинулась мне навстречу. Ее губы сложились в знакомую приветливую улыбку, но на меня она больше не действовала.

— Вот, держите. — Я протянула книгу.

Она взяла, но открывать не стала, даже не взглянула на нее.

— Тао, я жду не дожусь твоего выступления!

— Вы должны ее прочесть.

— Хочешь, мы еще раз отрепетируем речь? Каждое слово. Возможно, некоторые формулировки лучше изменить...

— Я хочу, чтобы вы ее прочли, — повторила я.

Она наконец посмотрела на книгу и провела пальцем по буквам на обложке.

— «Слепой пасечник»?

Я кивнула.

— Пока вы ее не прочтете, я не буду выступать.

Она испуганно уставилась на меня:

— Что ты такое говоришь?

— Вы все делаете неправильно.

Она прищурилась:

— Мы делаем все, что в наших силах.

Не сводя с нее взгляда, я подалась вперед и тихо проговорила:

— Они умрут. Пчелы опять умрут.

Сьяра смотрела на меня. Я ждала ответа, но она молчала. Она размышляет над моими словами? Пытается осмыслить их? Имеют ли мои слова хоть какое-то значение для нее? Во мне вскипела злость. Почему она молчит?

Оставаться там было невыносимо, я развернулась и шагнула к двери. Сьяра наконец опомнилась:

— Подожди!

Она открыла книгу и перелистнула страницу.
— Томас Сэведж, — прочла она. — Американец?
— Это его единственная книга, — быстро ответила я. — Но для нас важнее книги не найти.
Сьяра подняла голову и опять посмотрела на меня.
А затем кивнула:
— Садись. И рассказывай.

* * *

Сначала я спешила, рассказывала сбивчиво, путала хронологию, но вскоре поняла, что Сьяра не торопит меня. В дверь несколько раз стучали, интересовались, когда она освободится, но она всех просила подождать, и я мало-помалу успокоилась.

Я рассказала об авторе, Томасе Сэведже. В основу книги легла его собственная история, события, им пережитые. Сэведжи были потомственными пасечниками, их семья занималась пчеловодством на протяжении многих поколений. Отец Сэведжа одним из первых пострадал в результате Синдрома, но бросил пчеловодство одним из последних. Томас Сэведж работал вместе с отцом до самого конца. Они очень быстро переключились на органическое пчеловодство, этого потребовал Томас Сэведж, — перестали вывозить пчел для опыления в другие регионы и меда забирали ровно столько, сколько было необходимо, чтобы выжить. И тем не менее это их не спасло. Пчелы умирали. Снова и снова. В конце концов пришлось продать ферму и все хозяйство. Лишь тогда Сэведж, уже пятидесятилетний, написал книгу, в которой увековечил весь свой опыт и поделился соображениями о будущем человечества. «Слепой пасечник» оказалась книгой пророческой, но повествование при этом было очень ясным и четким, так как основывалось на опыте самого писателя.

Книга вышла в 2037 году, всего за восемь лет до Коллапса. В книге Сэведж предсказал в числе прочего и гибель человечества. Помимо интересных сведений, там содержались советы тем, кто попытается возродить человеческий род.

Когда я закончила рассказ, Сьяра долго молчала. Она неподвижно сидела, положив руки на книгу, и задумчиво смотрела на меня.

— Можешь идти.

Все-таки решила меня выпроводить? И если я заартачусь, вызовет охрану и прикажет отвести меня домой и запереть там до нужного

момента? А потом потребует, чтобы я выступила с речью, и еще с одной, и опять, и снова, и я против моей воли буду исполнять ее приказы.

Но Сьяра поступила иначе. Она открыла книгу и углубилась в чтение.

Я встала, она скользнула по мне взглядом, кивнула на дверь:

— Пожалуйста, оставь меня.

— Но...

Она положила ладонь на раскрытую книгу, словно желая защитить ее, и тихо сказала:

— У меня тоже есть дети.

Уильям

Со стен свисали полосы обоев, по-прежнему невыносимых в своей желтизне. И я услышал пение — она взмахивала метлой и пела, как и прежде, как и каждый день, тихо и мелодично. Я лежал, повернувшись лицом к окну, наблюдая за трепещущими на ветру бурыми листьями.

Она замела мусор на совок, поставила его возле двери и повернулась ко мне:

— Вытряхнуть тебе одеяло?

Не дожидаясь ответа, сдернула с меня одеяло и понесла его к окну. Я чувствовал себя обнаженным, ведь ничего, кроме ночной сорочки, на мне не было, однако Шарлотта не смотрела на меня.

Она открыла окно, и в комнате потянуло холодом. Со вчерашнего дня заметно похолодало. Ноги покрылись гусиной кожей, и я поджал их.

Перебросив одеяло через подоконник, она принялась трясти его, высоко взмахивая руками. Одеяло парусом взмывало к небу и тут же опадало, но повиснуть Шарлотта ему не позволяла, и одеяло опять взлетало кверху.

Вытряхнув одеяло, она набросила его на меня, холодное, как воздух за окном, придвинула к кровати стул и положила руку на его спинку.

— Хочешь, я тебе почитаю?

Ответа она дожидаться не стала. Она никогда не дожидалась ответа, а сразу направлялась к книжному шкафу. Вот и сейчас она подошла к тщательно расставленным книгам, на минуту задумалась, провела пальцем по корешкам. Выбрав книгу, она вытащила ее с полки.

— Почитаем вот эту.

Названия я не разглядел, а она понимала, насколько это несущественно, и зачитывать его не стала. Что именно она читала, не имело никакого значения, важен был сам ритуал.

— Шарлотта. — Голос дрожал, был по-стариковски скрипучим, чужим. — Шарлотта...

Она посмотрела на меня и качнула головой. Не нужно было, я не должен был этого говорить, ведь я повторял это непрестанно, бесконечное множество раз, и она прекрасно знала об этом. Я просил ее уйти. Уехать. Оставить меня и позаботиться о себе. Жить, но не ради меня, а ради себя самой.

Ее ответ не менялся, и все же я не отступал, повторял свои слова снова

и снова, не мог остановиться. Я задолжал ей эти слова, ведь она не пожалела для меня всей своей жизни. Но никакие речи не могли прогнать ее отсюда, так же как и удержать ее.

Она хотела находиться рядом со мной.

Комнату заполнили ее голос и осенняя прохлада. Но мне не было холодно. Голос дочери обволакивал меня. Читала Шарлотта подолгу, никогда не позволяя себе отвлекаться.

Я протянул руку, зная, что она сожмет ее своей ладонью.

Сегодня, как и во все прочие дни, она сидела подле меня, держала за руку и насыщала тишину словами. Она тратила на меня свое время, да что там время, жизнь свою. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы встать с постели. Но силы меня покинули. Желания, страсть — все отняли у меня. Впрочем, нет, не отняли, я сам их упустил.

С первого этажа донесся какой-то непривычный звук. Звук, которого мне уже много лет не доводилось слышать. Там плакал младенец. Младенец? Уж точно не мой. У нас гости? Хотя это маловероятно. Вот уже много месяцев в этом доме никого, кроме семьи, не бывало.

Шарлотта запнулась и умолкла. Невероятно, но она прервала чтение и даже чуть склонилась вперед, словно готовясь вскочить.

Там, внизу, кто-то укачивал ребенка. Тильда?

Ребенок еще немного поплакал, но потом успокоился. Шарлотта откинулась на спинку стула, снова взялась за книгу и продолжила чтение.

Я закрыл глаза, чувствуя, как мне передается тепло ее руки, как слова заполняют воздух между нами. Минуты шли. Она читала, а я молча слушал, преисполненный величайшей благодарности.

Однако вскоре младенец внизу вновь захныкал. На этот раз громче. Шарлотта замолчала.

Она выпустила мою руку.

Плач становился все громче, отчаяннее, казалось, этот плач раздвигает стены.

Шарлотта встала, отложила книгу и шагнула к двери:

— Я прошу меня простить, отец.

Она открыла дверь, и плач едва не оглушил меня.

— Младенец... — сказал я.

Шарлотта замерла, а я старался подобрать слова:

— У нас гости?

Она резко качнула головой:

— Нет... Я... Это наш младенец.

— Но... откуда?..

— Его мать умерла при родах. А отец... он не имеет возможности позаботиться о ребенке.

— Кто он? — спросил я. — Он здесь?

— Нет, он... — Она осеклась. — Он в Лондоне.

Внезапно меня осенила догадка. Я резко сел в постели и, напустив на себя строгость, посмотрел на Шарлотту:

— Это его ребенок, верно? Эдмунда?

Шарлотта быстро заморгала и не ответила, однако в ответе я уже не нуждался.

— Мне очень жаль... — проговорила она, после чего скрылась в коридоре.

Дверь она не притворила, и я слышал ее торопливые шаги — сперва на лестнице, а потом внизу.

— Я здесь. — Шаги стихли. — Позволь мне... — Она заговорила тише: — Вот так... Тихо, тихо... Чш-ш-ш...

А затем она запела, тихо и мелодично.

На этот раз она пела не для меня.

Шарлотта наконец-то пела не для меня, а для младенца, которого нежно баюкала в объятиях.

Джордж

Дикая дрожь. Она никак не оставляла меня в покое. Целыми днями изводила. Утром, вечером, ночью — круглые сутки. Я даже вилку с ножом толком не мог в руках удерживать. Эмма это видела, но ничего не говорила. Инструменты тоже меня не слушались — отвертка то и дело падала на пол, а пила норовила дернуться в сторону.

Каждое утро я просыпался от того, что сердце колотилось точно бешеное.

Проснувшись, я спускался вниз и здоровался с ним. Он поднимал голову, смотрел на меня, кивал и опять погружался в книгу.

Но меня все устраивало.

Потому что у *него* руки не тряслись.

И он не мямлил и не мешкал. Даже книгу он листал уверенно и спокойно и, поднося кофейную чашку ко рту, умудрялся ни капли не расплескать, а шаги у него, когда он направлялся к ульям, были решительными и ровными.

А я шел за ним следом. И трясся.

Я смотрел, как он шагает по лугу, как поднимает ульи — не спиной, а ногами, наклонялся, поднимал, ставил, снова и снова. Я наблюдал за его движениями, и со временем дрожь унялась. С каждым днем вилка в руках плясала все меньше.

И однажды, когда мы собирали мед, а прохладное мягкое солнце низко висело посреди неба, золотистое, как застывшие на рамках капли, я вдруг заметил это. Она прекратилась. Дрожь прекратилась.

Мои движения были спокойными и уверенными. Совсем как у него. Мы работали бок о бок.

И я не отставал.

Тао

Улей охранялся, однако ограду убрали, и теперь каждый мог видеть стоящий на опушке леса пчелиный дом. Люди собирались в кучки и смотрели на него издалека, просто стояли и смотрели. Пчел никто не боялся, опасности они не представляли, случившееся с Вей-Венем было исключением из правил. Вокруг нас со всех сторон пестрели цветы, красные, розовые, оранжевые, — сказочный мир, который я видела в шатре, разросся, стал почти бескрайним, потому что фруктовые деревья вырубili, а их место заняли другие растения.

Военные покинули наш город, заграждений больше не было, как и шатра. Кокон разорвался, и улей жил среди нас. Пчелы летали, где им хотелось, и никто им не мешал.

Улей стоял метрах в десяти от меня, в тени деревьев, через листву пробивалось солнце — неподалеку от того места, где обнаружили первое гнездо диких пчел, неподалеку от того места, где пчела ужалила Вей-Веня. Стандартный улей Сэведжа — в точности такой, каким Томас Сэведж изобразил его в книге «Слепой пасечник», улей, не покидавший род Сэведжей с 1852 года. Самые первые чертежи история не пощадила, но мерки и внешний вид конструкции Томас Сэведж запомнил и восстановил. Создатель улья задался целью упростить наблюдение за пчелами и сбор меда, благодаря этому своему изобретению он собирался приручить пчел.

Но пчел невозможно приручить. О них можно лишь заботиться. И хотя свою изначальную цель улей не выполнял, пчелам в нем жилось хорошо. Здесь ничто не мешает им давать расплод и трудиться. И мед никто не собирается отнимать у них, никогда, — он будет выполнять функцию, предназначенную ему природой, будет служить пищей молодым пчелам.

Звук, который они издавали, был не похож ни на какой другой. Пчелы вылетали из улья и возвращались обратно, с нектаром и пыльцой для расплода, для потомства. Но не для собственных детей, нет, — каждая рабочая пчела трудилась ради своей семьи, суперорганизма, элементом которого являлась.

Казалось, что жужжание заставляет воздух дрожать, а вместе с воздухом дрожала и я. Этот звук успокаивал меня, дышать становилось легче.

Я замерла, стараясь проследить взглядом за вылетающими из улья пчелами, увидеть путь, который они проделывают, добираясь от дома до

цветов, а потом возвращаясь обратно. Но они быстро пропадали из виду. Их было чересчур много, а логики их передвижений я не понимала.

Я оставила эту затею и стала просто наблюдать за ульем, за жизнью вокруг, за жизнью, о которой он заботился.

Сзади слышались шаги. Я повернулась. Чуть поодаль остановился Куань. Вытянув шею, он разглядывал улей и лишь спустя несколько секунд заметил меня.

— Тао...

Он приблизился незнакомой тяжелой походкой, походкой старика.

И встал, глядя на меня, не отводя, как прежде, взгляда. Глаза у него ввалились, он побледнел и осунулся.

Мне не хватало его. Я скучала по нему прежнему, по его радости и легкости, по любви к ребенку, который у него был. И к ребенку, который, возможно, появится. Мне захотелось сказать что-нибудь такое, что вернуло бы ему эту радость, но я не находила слов.

Мы повернулись к улью, наши руки оказались совсем рядом, но коснуться друг друга мы не осмеливались, робея, словно подростки.

Теплота между нами — она вернулась.

Всего в метре от нас зависла вдруг пчела, затем она резко свернула вправо — на первый взгляд ее маршрут выглядел совершенно бессмысленным, — а потом пролетела между нами, так близко, что я ощутила колебания воздуха, и скрылась в цветах.

И тогда он взял меня за руку.

Я быстро вздохнула. На этот раз он оказался смелее. Куань наконец решился ко мне прикоснуться. Моя рука, спрятавшаяся в его руке, была такой маленькой. Он делил со мной свое тепло.

Мы стояли там, держались за руки и смотрели на улей. А потом Куань заговорил.

Я слышала слова, жить без которых не получалось. Он говорил тихо, медленно и с несвойственной ему серьезностью. Говорил не то, что должен, а то, что думал:

— Тао, ты не виновата. Не виновата.

* * *

Позже, попрощавшись с ним, я шла по дороге, вдоль колеи, прислушиваясь к жужжанию пчел в моих воспоминаниях. Его слова разбудили другие слова, во мне самой.

Я двигалась все медленнее и медленнее, пока наконец не остановилась. Вокруг были лишь фруктовые деревья — ни заборов, ни охраны, все совершенно так, как год назад. Ветки роняли желтые листья, укрывавшие землю. Еще немного — и деревья оголятся совсем. Груши уже давно собрали, каждую осторожно сняли, завернули в бумагу и унесли. Золотые груши.

Я подняла голову. Кое-что все-таки изменилось. Возле самого горизонта бесконечные ряды фруктовых деревьев заканчивались. Рабочие выкапывали деревья и отвозили их в другие места. Мечты Томаса Сэведжа наконец-то стали явью. Мы отказались от контроля и разрешили лесу расти там, где ему захочется. И еще мы засадили огромные территории дикорастущими растениями.

Да. Теперь мне самой хотелось именно этого. Выступить с речью, как она просит. Сейчас это и мое желание — рассказать о Вей-Вене. Я расскажу о том, кем он для всех нас стал и кем ему еще предстоит стать. Его фотографии появятся на площади, на развешенных по стенам плакатах, на баннерах при входе в государственные учреждения.

Они выбрали одну из немногих фотографий Вей-Веня, нечеткую, размытую, — просто его лицо на нейтральном сером фоне, однако на плакатах цвета были сочными, контуры резкими, а глаза — такими блестящими. Весь мир видел именно этот яркий четкий снимок, и именно о нем мне предстояло говорить. А настоящего Вей-Веня, моего, они не получают и ничего о нем не узнают. Не узнают, каким он был жизнелюбивым, упрямым и непоседливым. Не узнают, что порой он просыпался и сразу загорался какой-нибудь идеей, а порой и капризничал. Не узнают о его вечном насморке, которым страдают все трехлетки, о мокрых штанишках, о ледяных ногах и о его теплом сонном тельце, прижимавшемся ко мне по ночам. Об этом они никогда не узнают. А значит, это не имеет значения. Значит, тот, кем он *был*, уже не имеет значения. Жизнь одного человека, его плоть, кровь, все то, что выделяет его тело, его рефлексy, мысли, страхи и мечты ничего не значат. Как и мои воспоминания о нем — те, в которых я не могла найти чего-то важного для всех нас.

Однако Вей-Вень обретет новый смысл. Его фотография. Мальчик в красном шарфе, его лицо — вместе с ним наступит новая эпоха. Его круглые щеки, его большие блестящие глаза пробудят в миллионах людей одно-единственное общее чувство. Надежду.

Благодарности

Я благодарю всех тех, кто нашел время прочесть мою рукопись и ответить на вопросы, — историков Рагнхильд Хатчисон и Юханне Нюгрен, китаиста Туне Хелене Орвик, зоолога Петтера Бёкмана, врача Сири Сетерэльв, старшего советника Ассоциации пчеловодов Норвегии Бьорна Дале, специального советника общества городских пчеловодов «Городская пчела» Рагну Рибе Йоргенсен, автора-апиолога Руара Ри Киркеволда, пчеловодов Ингар Таллакстад Ли и Пера Сигмунда Бёэ, а также Айзека Барнса, владельца пасеки «Ханиран фарм» в Огайо.

Я также благодарна всем тем энтузиастам, которые читали и комментировали рукопись и поддерживали меня во время работы над ней: Хильде Рёд-Ларсен, Юакима Боттена, Маттиса Эйбё, Хильде Эстбю, Катрине Муволд, Гюнн Эстгорд и Стейнара Стурлёккена.

Я хотела бы выразить бесконечное признание моему мудрому редактору Норе Кампбелл и всем ее потрясающим коллегам из издательства «Аскехауг», которые с самого первого дня относились к «Истории пчел» с величайшим энтузиазмом. Работая над этим романом, я прибегала к различным источникам, основными из которых были научные труды: «Улей» Би Уилсона, «Пчеловодство» Руара Ри Киркеволда, «Пчела и улей» Лоренцо Лангстрота, «Мир без пчел» Эллисон Бенджамин и Брайана Мак-Каллума и «Новый Китай» Хеннинга Кристофферсена, а также документальные фильмы «Гибель пчел» (*Vanishing of the Bees*), «Больше, чем мед» (*More than Honey*), «Кто убил медоносную пчелу» (*Who Killed the Honey Bee*), «Молчание пчел» (*Silence of the Bees*) и «Королева солнца» (*Queen of the Sun*).

Осло, май 2015 года

Майя Лунде

СНОСКИ

«Новые наблюдения за естественным развитием пчел» (*англ.*).

Хождение в Каноссу — эпизод из истории средневековой Европы, связанный с борьбой римских пап с императорами Священной Римской империи. В 1077 г. Генрих IV, отлученный от церкви, пешком преодолел путь от Шпейера до Каноссы, чтобы попросить прощения у Папы Римского. По легенде, он шел во власянице и босой.

Взято́к — количество меда, которое обитатели улья добывают за день.